

*НОВЫЙ
Журнал*

101

*THE NEW
REVIEW*

**STATEMENT OF OWNERSHIP, MANAGEMENT
AND CIRCULATION**

(Act of October 23, 1962: Section 4369, Title 39, United States Code)

1. Date of Filing—Oct. 1, 1970.
2. Title of Publication—The New Review.
3. Frequency of issue—4 issues yearly (March, June, September, December).
4. Location of known office of publication—2700 Broadway, New York, N. Y. 10025.
5. Location of the headquarters of general business offices of the publishers—2700 Broadway, New York, N. Y. 10025.
6. Names and addresses of Publisher, Editor and Managing Editor—Roman Goul, 506 West 113 Street, N.Y.C. 10025.
 Publisher, New Review, Inc., 2700 Broadway, New York, N. Y. 10025; Editor, Roman B. Goul, 506 West 113th St., New York, N. Y. 10025; Managing Editor, Roman B. Goul, 506 West 113th St., New York, N. Y. 10025.
7. Owner (If owned by a corporation, its name and address must be stated and also immediately thereunder the names and addresses of stockholders owning or holding 1 percent or more of total amount of stock. If not owned by a corporation, the names and addresses of the individual owners must be given. If owned by a partnership or other unincorporated firm, its name and address, as well as that of each individual must be given).
 New Review, Inc. No stocks. 2700 Broadway, New York, N. Y. 10025; President, Alexis Goldenweiser, 523 West 112th St., New York, N. Y. 10025; Secretary, Prof. Zoya Yurieff, 46-04 196th St., Flushing, N. Y. 11358; Treasurer, David Shub, 355 8th Avenue, New York, N. Y. 10001.
8. Known bondholders, mortgagees, and other security holders owning or holding 1 percent or more of total amount of bonds, mortgages, or other securities (If there are none, so state).—None.
9. For completion by nonprofit organizations authorized to mail at special rates (Section 132.122, Postal Manual). Not applicable.
10. Extent and nature of circulation.

	<i>Average No. copies each issue during preced- ing 12 months</i>	<i>Single issue nearest to filing date</i>
A. Total No. copies printed	1600	1600
B. Paid circulation		
1. Sales through dealers and carriers, street vendors and counter sales	400	360
2. Mail subscriptions	1151	1179
C. Total paid circulation		
D. Free distribution/including samples/by mail, carrier or other means	1551	1539
E. Total distribution/sum of C and D/	30	30
F. Office use, left-over, unaccounted spoiled after printing	1581	1569
G. Total/sum of E & F—should equal net press run shown in A/	19	31
	1600	1600

I certify that the statements made by me above are correct and complete.
 Roman Goul, Managing Editor

**THE
NEW REVIEW
Новый Журнал**

Основатели — М. Алданов и М. Цетлин — 1942

С 1946 по 1959 редактор М. Карнович

С 1959 по 1966 редакция: Р. Гуль, Ю. Дениже, Н. Тимашев

Двадцать девятый год издания

Редактор: РОМАН ГУЛЬ
Секретарь Редакции: ЗОЯ ЮРЬЕВА

NEW REVIEW, December 1970
Quarterly, No. 101
2700 Broadway, New York, N.Y. 10025
Subscription Price \$15. — for one year
Publisher: New Review, Inc.
Second Class Mail postage paid
at New York, N.Y.

О Г Л А В Л Е Н И Е

	Стр.
<i>Вячеслав Иванов</i> — Неизвестные стихи	5
<i>В. Шаламов</i> — Графит. Утка	6
<i>Б. Поплавский</i> — Стихи	14
<i>Г. Кузнецова</i> — Художник	16
<i>О. Анстей</i> — Стихи	47
<i>Г. Газданов</i> — Эвелина и ее друзья	49
<i>Л. Алексеева</i> — Стихи	67
<i>Андрей Белый</i> — Предисловие к «Котику Летаеву»	69
<i>И. Елагин</i> — Стихи	72
<i>Михаил Чехов</i> — Театр умер! Да здравствует театр! (Публикация Г. Струве)	73
<i>И. Одоевцева</i> — Стихи	79
<i>А. Коджак</i> — Шифр Пушкина	80
<i>Д. Кленовский</i> — Стихи	95
<i>А. Небольсин</i> — «Поэзия пошлости»	97
<i>Д. Андреев</i> — Хлебников, стихотворение	107
<i>И. Смирнов</i> — Жан Поль и Гоголь	109
ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ:	
<i>Два письма К. И. Чуковского</i> (публикация Г. Струве)	121
<i>Н. Туров</i> — С. Орджоникидзе и замдиректора Краматорского комбината	128
<i>И. Гапанович</i> — В революцию — на фронте	140
<i>В. Поздняков</i> — Советская агентура в лагерях военнопленных в Германии	156
<i>Из истории партии с.-р.</i>	172
<i>Д. Шуб</i> — Из давних лет	198
ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА:	
<i>А. Авторханов</i> — ЦК против плана Ленина о восстании	208
<i>Ч. Декстер</i> — Вероятное перерождение капитализма по взглядам Б. Ижболдина и Дж. Галбрайта	221
<i>Игумен Геннадий (Эйкалович)</i> — Метapolитика народов	230
<i>Р. Гуль</i> — М. Е. Вейнбаум (к 80-летию)	243
СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ:	
<i>И. Русин</i> — Христианство в СССР	245
<i>К 65-летию Л. Д. Ржевского</i>	249
<i>Приветственные телеграммы к выходу 100-й книги «Нового Журнала»</i>	250

БИБЛИОГРАФИЯ:

- З. Юрьева — Л. Ржевский. Прочтение творческого слова.
Ю. Сречинский — Half a Century of Russian Serials (1917-1968).
О. Ильинский — A. Balakian. The Symbolist Movement.
С. Крыжицкий — А. Дынный. А. И. Куприн. Л. Ржевский — О новой книге Н. И. Ульянова. Н. Натова — О новом издании «Преступления и наказания». С. Крыжицкий — А. Осоргина. Пушкин и его творчество. Роман Гуль — Автокефалия Русской Православной Церкви Америки (Митрополии). Татьяна Фесенко — Igor Качуровский. Стрoфика. Р. Г. — Вестник РСХД № 95-96. Неверные сведения. Книги для отзыва . . . 252
Указатель содержания 101-й книги «Нового Журнала» с 1942 г. по 1970 год 277

ВВИДУ ЧРЕЗВЫЧАЙНО ВОЗРОСШИХ ТИПОГРАФСКИХ И ДРУГИХ РАСХОДОВ РЕДАКЦИЯ «НОВОГО ЖУРНАЛА», К СОЖАЛЕНИЮ, ВЫНУЖДЕНА В 1971 ГОДУ (НАЧИНАЯ С 102-й КНИГИ) ПОВЫСИТЬ ПОДПИСНУЮ ГОДОВУЮ ПЛАТУ ДО 15 ДОЛЛАРОВ ЗА 4 КНИГИ В ГОД И РОЗНИЧНУЮ ЦЕНУ — 4 ДОЛЛАРА ЗА КНИГУ.





Неуловимый поцелуй
Чела коснулся. Дол кромешный
Раздвинулся... Благовестуй
В тюрьме унылой, дух утешный.

Звезда ль, плывя во мгле слепой,
Иль предносимая лампада
Меня ведет по стогнам Ада?
Иду бесчувственной стопой...

Москва, 21 ноября 1917.



Дрёмоты с явью зыбкой
В немеющем боренье,
Нечаянной улыбкой,
Святая, озаренье
Сонливцу ты даруешь
И с лепетом надежды
В чело меня целуешь
И в сомкнутые вежды:

«Чу, — шепчешь, — где-то пенье?...
Чу, праздник, слышишь, где-то?...
Там — встреча, тут — усенье...
Гостины в куцах Света....»

И робко сердцу мнится:
Та встреча — нам потреба,
И в ней с землей мирится
Прогневанное Небо.

Вячеслав Иванов, Москва, 30 ноября 1917.

Эти стихотворения Вячеслава Иванова публикуются впервые. Мы получили их из архива поэта от Л. В. и Д. В. Ивановых и О. А. Шор, за что приносим им нашу благодарность. РЕД.

ГРАФИТ

Чем подписывают смертные приговоры: химическими чернилами, паспортной тушью, чернилами шариковых ручек, алizarином? Можно ручаться, что ни один смертный приговор не подписан простым карандашом.

В тайге нам не нужны чернила. Дождь, слезы, кровь растворят любые чернила, любой химический карандаш. Химические карандаши нельзя посылать в посылках, их отбирают при обысках. Этому две причины. Заключение может подделать документ. Такой карандаш — типографская краска для изготовления воровских карт, «стирок», а стало быть... Допущен только черный карандаш, простой графит. Ответственность графита на Колыме необычайна.

Поговорили с небом картографы, взгляды в звездное небо, в солнце, укрепили точку опоры на нашей земле. Над этой точкой опоры, врезанной в камень мраморной доской, на вершине горы, на вершине скалы — укрепили треногу, бревенчатый сигнал. Эта тренога указывает точно место на карте и от нее, от горы, от треноги по распадкам и падам сквозь прогалины, пустыри и редины болот тянется невидимая нить, незримая сеть меридианов и параллелей. В густой тайге прорубают просеки — каждый затес, каждая метка поймана в крест нитей нивеллира, теодолита. Земля измерена, тайга измерена и мы ходим, встречая на свежих затесах след картографа, топографа, измерителя земли — черный простой графит.

Колымская тайга исчерчена просеками топографов. И все же просеки есть не везде, а только в лесах, окружающих поселки, «производство». Пустыри, прогалины, редины лесо-

Эти два рассказа В. Т. Шаламова получены нами с оказией из Совсоюза без ведома и согласия автора. Мы печатаем их без его разрешения, за что приносим ему наши извинения. РЕД.

тундры и голые сопки исчерчены только воздушными, воображаемыми линиями. В них нет ни одного дерева, чтобы обозначить привязку, нет надежных реперов. Реперы ставятся на скалах, по руслам рек, на вершинах гор-гольцов. И от этих надежных, библейских опор тянется измерение тайги, измерение Колымы, измерение тюрьмы. Затесы на деревьях — сетка просек, из которых в трубу теодолита в «крест нитей» увидена и сосчитана тайга.

Да, для затесов годится только черный простой карандаш. Не химический. Химический карандаш расплывется, растворится соком дерева, смоеся дождем, росой, туманом, снегом. Искусственный карандаш, химический, не годится для записей о вечности, о бессмертии. Но графит, углерод, сжатый под высочайшим давлением в течение миллионов лет, и превращенный, если не в каменный уголь, то в бриллиант, или в то, что дороже бриллианта — в карандаш, в графит, который может записать все, что знал и видел... Бóльшее чудо, чем алмаз, хотя химическая природа и графита и алмаза — одна.

Инструкция топографам запрещает пользоваться химическим карандашом не только при метках на затесах. Любая легенда или черновик к легенде при глазомерной съемке требует графита для бессмертия. Графит это природа, графит участвует в круговороте земном, подчас сопротивляясь времени лучше, чем камень. Разрушаются известняковые горы под дождями, ударами ветра, речных волн, а молодая лиственница — ей всего двести лет, ей еще надо жить — хранит на своем затесе цифру-метку о связи библейской тайны с современностью.

Цифра, условная метка выводится на свежем затесе, на источающей сок свежей ране дерева, дерева, источающего смолу как слезы.

Только графитом можно писать в тайге. У топографов в карманах телогреек, душегреек, гимнастерок, брюк, полушубков всегда огрызки, обломки графитных карандашей.

Бумага, записная книжка, планшет, тетрадка — и дерево с затесом.

Бумага — одна из личин, одно из превращений дерева в алмаз и графит. Графит — это вечность. Высшая твердость,

перешедшая в высшую мягкость. Вечен след, оставленный в тайге графитным карандашом.

Затёс вырубается осторожно. В стволе лиственницы, на уровне пояса делается два пропила и углом топора отламывается еще живое дерево, чтоб оставить для записи. Образуется крыша, домик, чистая доска с навесом от дождя, готовая хранить запись вечно, — практически вечно до конца шестисотлетней жизни лиственницы.

Раненое тело лиственницы подобно явленной иконе — Богородицы Чукотской, Девы-Марии Колымской, ожидающей чуда, являющей чудо.

И легкий, тончайший запах смолы, запах лиственного сока, запах крови, развороченной человеческим топором вдыхается как дальний запах детства, запах росного ладана.

Цифра поставлена и раненая лиственница, обжигаемая ветром и солнцем, хранит эту «привязку», ведущую в большой мир из таежной глуши — через просеку к ближайшей треноге, к картографической треноге на вершине горы, где под треногой камнями завалена яма, скрывающая мраморную доску, на которой выцарапана истинная долгота и широта. Эта запись сделана вовсе не графитным карандашом. И по тысяче нитей, которые тянутся от этой треноги, по тысячам линий от затеса до затеса, мы возвращаемся в наш мир, чтобы вечно помнить о жизни. Топографическая служба — это служба жизни.

Но на Колыме не только топограф обязан пользоваться графитным карандашом. Кроме службы жизни тут есть еще служба смерти, где тоже запрещен химический карандаш. Инструкция «архива № 3» — так называемый отдел учета смертей заключенных в лагере — сказала: на левую голень мертвеца должна быть привязана бирка, фанерная бирка с номером личного дела. Номер личного дела должен быть написан простым графитным карандашом — не химическим. Искусственный карандаш и тут мешает бессмертию.

Казалось, к чему этот расчет на эксгумацию? На бессмертие? На воскресение? На перенесение праха? Мало ли безымянных братских могил на Колыме — куда валили вовсе без бирок.

Но инструкция есть инструкция. Теоретически говоря — все гости вечной мерзлоты бессмертны и готовы вернуться к нам, чтобы мы сняли бирки с их левых голеней, разобрались в знакомстве и родстве.

Лишь бы на бирке поставили номер простым черным карандашом. Номер личного дела не смоят ни дожди, ни подземные ключи, ни вешние воды не трогают лед вечной мерзлоты, иногда уступающий летнему теплу и выдающий свои подземные тайны — только часть, только часть этих тайн.

Личное дело, формуляр — это паспорт заключенного, снабженный фотокарточками в фас и профиль, отпечатками десяти пальцев обеих рук, описанием особых примет. Работник учета, сотрудник «архива № 3» должен составить акт о смерти заключенного в пяти экземплярах с оттиском всех пальцев и с указанием, выломаны ли золотые зубы. На золотые зубы составляется особый акт. Так было всегда в лагерях испокон века и сообщения по поводу выломанных зубов в Германии никого на Колыме не удивляли.

Некоторые государства не хотят терять золото мертвецов. Акты о выбитых золотых зубах составлялись испокон века в учреждениях тюремных и лагерных. Тридцать седьмой год принес следствию и лагерям много людей с золотыми зубами. У тех, что умерли в забоях Колымы — недолго они там прожили — их золотые зубы, выломанные после смерти, были единственным золотом, которое они дали государству в золотых забоях Колымы. По весу в протезах золота было больше, чем эти люди нарыли, нагребли, накайлили в забоях колымских за недолгую свою жизнь.

Пальцы мертвеца должны быть окрашены типографской краской и запас этой краски, расход ее очень велик, хранится у каждого работника «учета». Потому отрубают руки у убитых беглецов, чтобы для опознания не возить тела — две человеческие ладони в военной сумке гораздо удобней возить, чем тела, трупы.

Бирка на ноге — это признак культуры. У Андрея Боголюбского не было такой бирки — пришлось узнавать по костям, вспоминать расчеты Бертильона.

Мы верим в дактилоскопию — эта штука нас никогда не подводила, как ни уродовали уголовники кончики своих пальцев, обжигая огнем, кислотой, нанося раны ножом. Дактилоскопия не подводила — пальцев то десять — отжечь все десять не решался никто из блатарей.

Мы не верим Бертильону — шефу французского уголовного розыска, отцу антропологического принципа в криминологии, где подлинность устанавливается серией обмеров, соотношением частей тела. Открытия Бертильона годятся разве что для художников, для живописцев — расстояния от кончика носа до мочки уха нам ничего не открывали.

Мы верим в дактилоскопию. Печатать пальцы, «играть на рояли» умеют все. В тридцать седьмом, когда заматали всех меченых ранее, каждый привычным движением вставлял свои привычные пальцы в привычные руки сотрудника тюрьмы.

Этот оттиск хранится вечно в личном деле. Бирка с номером личного дела хранит не только место смерти, но и тайну смерти. Этот номер на бирке написан графитом.

Картограф, пролагатель новых путей на земле, новых дорог для людей, и могильщик, следящий за правильностью похорон, законов о мертвых, обязаны пользоваться одним и тем же — черным графитным карандашом.

В. Шаламов

УТКА

Горный ручей был уже схвачен льдом, а на перекатах ручья льда вовсе не было. Ручей вымерзал с перекатов и через месяц от летней, грозной, гремящей воды не оставалось ничего, даже лед был вытоптан, измельчен, раздавлен копытами, шинами, валенками. Но ручей был еще жив, вода в нем еще дышала — белый пар поднимался над полыньями, над проталинами.

Обессилевшая утка-нырок шлёпнулась в воду. Стая давно пролетела на юг, утка осталась. Было еще светло, снежно-особенно светло из-за снега, покрывшего весь голый лес, все до горизонта. Утка хотела отдохнуть, немного отдохнуть, потом подняться и лететь — туда, вслед стае.

У нее не было сил лететь. Стопудовая тяжесть крыльев гнула ее к земле, но на воде она нашла опору, спасенье — вода на полыньях показалась ей живой рекой.

Но не успела утка оглядеться, как тонкий ее слух уловил звук опасности. Даже не звук — грохот. Сверху, со снежной горы, обрываясь на мерзлых, еще застывающих к вечеру кочках бегом спускался человек. Он увидел утку давно и следил за ней с тайной надеждой, и вот надежда сбылась — утка опустилась на лед.

Человек подкрадывался к ней, но оступился, утка заметила его, и тогда человек побежал, не таясь, а утка не могла лететь — устала. Ей нужно было только подняться вверх и ничто бы ей не угрожало. Но чтоб подняться в небо, нужны силы в крыльях, а утка устала. Она сумела только нырнуть, исчезла в воде, и человек, вооруженный тяжелым каким-то суком, остановился у полыньи, куда нырнула утка, и ждал ее возвращения: ведь надо же будет утке дышать.

В двадцати метрах тоже была такая же полынья, и чело-

век, ругаясь, увидел, что утка проплыла подо льдом и вылезла в другую полынью. Но летать она и там не могла, и секунды тратила только на отдых.

Человек попробовал обломать, раздавить лед, но обувь его из тряпок для этого не годилась. Он бил палкой по синему льду — лед чуть крошился, но не ломался. Человек обессилел и, тяжело дыша, сел на лед.

Утка плавала в полынье. Человек встал, побежал, ругаясь и бросая камнями в утку. Утка опять нырнула и появилась в первой полынье.

Так они бегали — человек и утка, пока не стемнело.

Надо было уже возвращаться в барак с неудачной, случайной охоты. Человек пожалел, что потратил силы на это преследование. Голод не давал подумать как следует, как составить надежный план обмануть утку, нетерпение голода подсказывало неверный путь. Утка осталась на льду, в полынье. Человек должен был возвращаться в барак. Он ловил утку не затем, чтобы сварить мясо и съесть. Сварить в жестяном котелке или еще лучше — закопать в золу костра. Обмазать утку глиной и зарыть ее в горящую лиловую золу или просто бросить в костер. Костер прогорит и глиняная оболочка утки лопнет. Внутри будет горячий скользкий жир. Жир потечет на руки, будет стынуть на губах. Нет, не для этого ловил человек утку. Смутно, туманно в его мозгу вставали, строились другие, зыбкие планы. Отнести эту утку в подарок десятнику и тогда десятник вычеркнет его из зловещего списка, который составлялся ночью. Об этом списке знал весь барак и человек старался не думать о невозможном, «как бы избавиться от этапа», как бы остаться здесь. Здешний голод можно было еще терпеть...

Но утка осталась в полынье. Человека не учили погоне за уткой. Оттого и движения его были беспомощны, неумелы. Его не учили такой охоте. Его учили жить, когда собственного решения не надо, когда чужая воля, чья-то воля управляет. Трудно вмешаться в собственную судьбу. Может быть, к лучшему — утка умирает в полынье, человек в бараке.

Замерзшие, поцарапанные о лед пальцы с трудом согревались за пазухой — человек обе ладони засунул за пазуху,

вздрагивая от ноющей боли отмороженных навек пальцев. В голодном теле было мало тепла и человек вернулся в барак, протискался к печке, но все же не мог согреться. Тело неостановимо дрожало крупной дрожью.

В дверь барака заглянул десятник. Он тоже видел утку и видел охоту мертвеца за умирающей уткой. Десятнику тоже не хотелось уезжать из этого поселка — кто знает, что его ждет на новом месте. Десятник рассчитывал щедрым подарком — живая утка да «вольные» брюки умилостивить прораба, который еще спал. Прораб мог вычеркнуть десятника из списка — не того работягу, который поймал утку, а его, десятника.

Прораб привычными пальцами разминал папиросу «Ракета». В окно он тоже видел начало охоты. Если утку поймают — плотник сделает клетку и прораб отвезет утку большому начальнику, вернее его жене, Агнии Петровне.

Но утка осталась умирать в полынье. И все пошло так, как будто утка и не залетала в эти края.

В. Шаламов

ИСПОВЕДЬ

Посвящается Б.

Я прохожу. Тщеславен я и сир
Как нищие на набережной с чашкой.
Стоит городской как кирасир,
что норовит врага ударить шашкой.

И я хотел спросить его: Увы!
Что сделал я на небольшом пути?
Но снявши шляпу кротко с головы
Сказал я: Как мне до дворца пройти?

И он, взмахнув по воздуху плащом
(Священник так вздымал епитрахиль)
Сказал: Направо, через мост. Потом
как будто отпустил мои грехи.

И стало мне легко от этих слов
Хоть понял я: дитя городской!
Ведь про дворец я спрашивал другой
И мост искал не вздохов и не снов.

В несколько иной версии это стихотворение записано в тетради Б. Поплавского 1924 г., где оно помечено «Париж, зима 1923 г., ноябрь?» Печатается по сохранившейся в архиве поэта позднейшей рукописи, где в вариант тетради 1924 г. внесены поправки и переработана заново последняя строфа.

Мы получили два ненапечатанных стихотворения Б. Поплавского от проф. С. Карлинского, из парижского архива поэта. РЕД.

А. С. Присмановой.

Кто любит небо пусть поднимет руку
Ему помашет радостно в ответ
Кто любит море пусть пришлет привет
Узнает голос дорогой по звуку,

Кто сдался воин в невозможный плен
Пусть слово скажет он свободен снова
И кто железом жарким ослеплен
Увидит снова небеса от слова

И даже тот, кто умерши в грехах,
Сойдет в огонь и из огня попросит
Восхищен будет в сад на облаках
Рукой что все свергает и возносит

И даже тот, кто сам покинул твердь
Для быстрых снов и медленной работы
Узрит как дочь безропотная Лота
Спокойный сон обилие и смерть.

Париж, лето 1924 г.

Борис Поплавский

ХУДОЖНИК

Собрание русских поэтов должно было состояться в кафе Ля Боле, в 9 часов вечера, на рю д'Ирондель — так значилось в газете. Ирина с трудом нашла маленькую темную щель, ведущую с пляс Сен-Мишель куда-то в темноту. Сбоку, в грязной стене, была дверь, за которой оказалась голая высокая комната со стойкой. Стены были расписаны пестрыми рисунками. На ее вопрос черный человек, наливавший из бутылки ядовито-зеленую жидкость очередному клиенту, молча ткнул пальцем в глубину. Она спустилась по двум ступенькам куда-то вниз и очутилась в тесной узкой комнате, почти подвале. По стенам стояли деревянные лавки, перед ними два длинных стола без скатертей. На стенах крупно, углем и красками, были написаны имена Верлена и Бодлера. На лавках сидело уже довольно много народа, другие стояли у входа группой и разговаривали. Никто не обратил на нее внимания. Она села в углу, рассматривая присутствующих. Никого она здесь не знала, но скоро отметила двух, державшихся более уверенно, как главные. Один был довольно высокий, костлявый, похожий на директора гимназии, с совершенно голым блестящим черепом и худыми руками, выходившими из блестящих манжет. Его окружали и говорили с ним какие-то девушки и юноши, довольно небрежно одетые. Другой был худенький, хрупкий, весь как будто ушедший в себя, с ореховым лицом, молчаливый, изящный и независимый. Рядом с ним сидела и все время любопытно озиралась светловолосая молодая женщина, одетая, как девочка в шотландскую складчатую юбку и белую блузу. Она быстро оглядывалась, смотрела на всех и на все, зеленые глаза ее перебежали с одного лица на другое, тонко напудренное, с нежными желтыми веснушками лицо было миловидно и пылливо. Дойдя глазами до Ирины она довольно долго рассматривала ее, потом внезапно быстро отвернулась.

«Рита Мезенцева», — сказал кто-то рядом, шепотом. Ирина посмотрела на нее внимательнее. Это имя она слышала еще

в Праге, откуда недавно приехала, встречала его в газетах и журналах. Мезенцева была уже довольно известной поэтессой, в талантливости ей отказать было нельзя.

В половине десятого — подвал был уже так полон, что оставалась пустой только его середина, и черный человек из первой комнаты разнес всем стаканы желтого пива и какой-то красной жидкости в тонких рюмках — человек с голым черепом, сидевший в центре стола, оглянувшись, вопросительно сказал: «Я думаю, можно начинать?» и, не дожидаясь ответа, постучал карандашом по столу. Все выжидательно затихли. Человек с голым черепом начал говорить медленным скрипучим голосом, перебегая глазами с одного лица на другое и все же как будто никого не видя. Он говорил о том, что хотя в Париже и много русских поэтов, но все они рассеяны, неорганизованы и принуждены жить в одиночестве, не общаясь с себе подобными и, таким образом, лишая себя самого важного — среды, которая так нужна пишущим. Он говорил, что здесь собрались люди, уже владеющие большой стихотворной культурой, бывшей в петербургских и московских кружках поэтов, и присутствие таких поэтов необычайно важно и полезно для совсем еще неопытных молодых, которые только что вступают на этот путь. Чтобы научиться стихотворному ремеслу (а это ремесло, как всякое другое — подчеркнул он) — нужно общение с более культурными, чтение друг другу своих стихов, самая беспристрастная и строгая критика, на которую никто не должен обижаться... Всякий, пришедший сюда поэт, должен читать свои стихи, иначе присутствие его будет неоправдано. Сегодня первый вечер их встречи, и он предлагает начать чтение сейчас же по очереди, как сидят.

Началось чтение стихов. Первым читал высокий худой, смуглый юноша, с сильно выдающимися скулами и густой, насквозь завитой шевелюрой пышных черных волос. Он читал без всякого смущения, качающимся медлительным голосом, почти пел, глядя прямо перед собой, опершись руками на стол. Стихи его были непонятны и изысканны. После него читала маленькая коренастая девушка лет 16-ти с добрым совестливым личиком и гладкими песчаного цвета волосами. Она прочла коротенькое стихотворение, кончавшееся замысловатой строчкой, вызвавшей одобрение слушателей. Девушку, видимо, здесь знали и любили. Читавшие после нее слились для Ирины в вереницу

мало понятных и плохо запоминавшихся стихов, что было для нее всегда плохим признаком, но она заметила, что почти все читавшие были гораздо более опытны чем она. Ее собственные стихи, порой дававшие ей такую радость, казавшиеся ей такими подлинными, теперь в свете этих устремленных на каждого читающего глаз, казались неумелыми, наивными, почти детскими. Как она будет читать их этим людям? Критика каждого следующего стихотворения казалась ей строгой, насмешливой. Только двух-трех приняли с одобрительным молчанием. Когда очередь дошла до нее, она, сама не зная как, начала читать стихотворение, которое прежде не ценила, но считала наиболее законченным:

Застежки в стертом серебре —
Ворота в сон, который прерван...

Голос ее показался ей самой чужим от внутреннего волнения. Теперь большинство глаз было устремлено на нее, кое-кто сидел с опущенной головой, но все внимательно слушали и судили ее — она это знала.

Но постепенно мелодия стихотворения увлекла ее и она закончила уже горячим от тайной дрожи голосом. Наступило короткое молчание. Опустив глаза, она чувствовала на себе насмешливый, как ей казалось, взгляд Мезенцевой. Потом хрупкий человек с ореховым личиком вдруг заговорил, глядя куда-то себе в переносицу, ни к кому не обращаясь, не заботясь о том, слушают его или нет, порой делая долгие паузы, ища слов. Через несколько секунд ошеломленная Ирина поняла, что он говорит об отрицательном свойстве некоторых поэтов, особенно поэтесс, писать легкие эффектные стихи, звучащие красиво, но ничего не рождающие в душе слушателя. Предпочтительнее было бы если бы поэты писали косноязычные, трудно выходящие слова, за которыми больше чувства и художественная правда...

Кончив так же внезапно, как начал, он откинулся назад и ушел вглубь скамьи, уронив голову, точно умер. Никто больше не прибавил ни слова. Рядом с Ириной читал уже следующий, а она сидела, еще неостывшая от волнения и в то же время напряженная от стыда. Эта первая критика казалась ей такой безличной, такой незаслуженно жестокой...

Еле переводя дыхание, вся розовая от волнения, она

украдкой взглянула вокруг. Никто не смотрел на нее. Теперь читал какой-то черноволосый толстяк. Слова «В двухспальный гроб с тобою вместе ляжем...» дошла до ее слуха, показались ей дикими, но все продолжали слушать с такими же серьезными лицами, и она сказала себе, что здесь, вероятно, она никогда не будет ничего понимать и чувствовать как все...

Однако, уходя, она заметила несколько любопытных и даже как будто дружелюбных взглядов, брошенных на нее, а у самых дверей ее нагнал юноша с черной негритянской шевелюрой, читавший первым. Он наскоро представился ей: «Туринцев» — и спросил в какую сторону она идет. Услыхав, что по бульвару Сен-Мишель, оживился:

— Ах, значит, нам по дороге! Вы ничего не будете иметь против, если я пройду с вами вместе? Я хотел сказать вам два слова...

Они вышли. Ночь была светлая от полной круглой луны, стоявшей в чуть затуманенном облачной дымкой небе. Терасы кафе как-то темно светились вдоль бульвара. Они шли по уже сильно опустевшей панели широкого тротуара. Туринцев говорил, почти не умолкая:

— Вы в первый раз на таком собрании? Ну, тогда вам все должно казаться странным. Потом привыкнете. Не надо обращать особого внимания на то, что говорится. Здесь ведь кружковщина, как везде и всюду. Этот Ланской — тот, что говорил о вас, впрочем, человек знающий и талантливый, только уж очень избалован. Он из петербургского «Цеха поэтов». Слышали о таком? Они там все ужасно формальные и требовательные, но культура у них, несомненно, большая.

— А эта блондинка, Мезенцева, жена его?

— Нет, она жена его друга, тоже поэта. Такой длиннолицый, черный, он сидел рядом с Мусатовым, с тем, с голым черепом. Этот — эстет и собственно здесь чужой, гость.

— А вы давно пишете?

— Я? Чуть ли не с семи лет. У нас в доме был культ стихов. Но поговорим лучше о вас. Вы просто еще не в курсе дела, так сказать... А способности у вас несомненно есть... и большие.

— Вы думаете? Этот Ланской, однако, меня не пощадил.

— О! Вы, значит, не знаете, как принято «чистить» на чтениях друг друга — особенно новых, с которыми можно не

считаться. Это уж такое правило. Я лично считаю с мнением двух-трех людей, которых ценю и которым верю. А прочие...

— Но ведь не смеялись же они над «двухспальным гробом», а мне это показалось ужасным.

— Не очень удачно, правда. Но это пустяки. Бывает и хуже. А вы кого из поэтов читаете, кого любите?

Между ними завязался оживленный разговор. Ирина с удивлением узнала, что есть поэты, о которых она никогда не думала и, правду сказать, никогда внимательно их не читала. Туринцев с жаром говорил об Осипе Мандельштаме, Анненском, Пастернаке. Последний особенно восхищал его. Узнав, что Ирина совсем не знает его, он обещал принести ей книгу его стихов.

Они простились перед дверью дома Ирины уже как знакомые. Туринцев попросил разрешения зайти как-нибудь на днях.



Через три дня он принес ей небольшую книжечку в лиловой гляцевитой обложке.

— Вот Пастернак, — сказал он. — Может быть вам с непривычки покажется немного непонятно, но это всегда так бывает. А ритмы и неудержимость напора у него удивительные. Посмотрите, как это звучит...

Он открыл книгу и начал с увлечением читать. Ирина слушала, в сущности почти не понимая о чем идет речь, но все же чувствуя, что в основном Туринцев прав: как он говорил, напор и неожиданность сочетаний слов были необычайны.

— Может быть вы и правы, что к этой манере писать надо привыкнуть, — сказала она, прослушав несколько стихотворений. — Во всяком случае талант у него, конечно, есть.

Туринцев необыкновенно оживился:

— Я был уверен, что вы поймете! Я люблю и Мандельштама. Вот послушайте.

Он вынул из кармана другую тонкую книжечку, раскрыл на заложённой странице и начал читать своим странным качающимся голосом:

Сестры тяжесть и нежность, одинаковы ваши приметы.
 Медуницы и осы тяжелую розу сосут,
 Человек умирает, песок остывает согретый,
 И вчерашнее солнце на черных носилках несут...

— Это мне гораздо больше нравится, — искренно сказала Ирина, когда он кончил. — Вы не сердитесь, но это все-таки мне как-то ближе.

— Ах, я сам очень люблю Мандельштама. У него есть удивительно удачные строфы. Но Пастернак гораздо крупнее, значительнее. Вы еще не привыкли к его манере — потом вы поймете!

Они стали часто видеться. Туринцев жил на мансарде высокого голого дома, неподалеку от Пантеона. Он очень нуждался, зарабатывал немного тем, что клеил какие-то конверты в большом французском издательстве, но это не мешало ему тратить почти все свои деньги на книги. Иногда, по его собственному признанию, им овладевала тоска, и он садился на велосипед, взятый на прокат, и ехал куда глаза глядят на день, на два. Но, вообще, он любил Париж и знал его лучше Ирины, и с ним она обошла многие места, о которых прежде и понятия не имела. Они встречались каждые два-три дня, делали большие прогулки по берегам Сены, ездили в Версаль, в Фонтенебло, историю которого он тут же вкратце рассказывал ей.

На одном из следующих собраний — она теперь ходила на них с Туринцевым, но стихов больше не читала — к ней неожиданно подошел Мусатов, человек с голым черепом, председательствовавший на первом собрании.

— Мне кажется, я встречал вас в Праге... — растягивая слова, с непринужденным видом, сказал он. — Во всяком случае ваше лицо очень запомнилось мне. Вы давно пишете?

— Я печаталась в пражском Студенческом журнале.

— Под каким именем? Троянова? Ах, как же, помню! Там было одно стихотворение, которое мне даже очень понравилось. Я еще подумал, что никогда не смог бы сделать такой музыкальный перебой в ритме, как вы, молодые, это теперь делаете...

Он некоторое время говорил о стихах, потом спросил, не хочет ли она дать что-нибудь в журнал, который он будет редактировать.

— Я бы хотел посмотреть, что вы за это время сделали, — сказал он, улыбаясь. — Может быть вы принесли бы мне тетрадь с вашими стихами? Мы могли бы встретиться где-нибудь днем в кафе... Ну, хоть в Ротонде.

— Старый Рейнеке Лис чуёт талант... особенно у молодых поэтов, — сказал Туринцев, когда Ирина передала ему этот разговор. — У него было уже две жены и обе красивые.

— Ну, до этого, надеюсь, не дойдет, — спокойно сказала Ирина.

Туринцев повел головой.

— О, в вас то я уверен, — сказал он. — Но за него поручиться не могу...

В назначенный день Ирина сидела против Мусатова за одним из столов Ротонды, почти пустой в послеобеденный час. Мусатов держал в руках ее тетрадь. Черепаховое пенснэ, которое он то снимал, то надевал, мерно постукивало о мрамор столика.

— У вас несомненное дарование, — говорил он, закинув свою неприятно костлявую голову и глядя Ирине в лицо своими маслинообразными глазами. — Вас надо только отшлифовать... маленькие погрешности в стиле... Но в последнее время заметно как-будто чье-то влияние. Вы оставите мне тетрадь, чтобы я мог повнимательнее просмотреть ее дома и выбрать чтонибудь для журнала?

Он как бы мимоходом задал ей несколько вопросов о ее семейном положении, о том, думает ли она остаться в Париже? Его желтоватая кожа, костлявость рук и черепа были неприятны ей, но она чувствовала невольное уважение к тонкости его суждений и знаниям и это затмевало все остальное.



Август этого года Ирина провела на юге.

Юг освежил и встряхнул все ее существо. Она поселилась в небольшом, едва начинавшем входить в моду поселке с прекрасным песчаным пляжем и романтической пиниевой рощей, спускавшейся к воде. Вилла, в которой она жила, стояла неподалеку от моря. В небольшой комнате, середину которой занимала кровать под белым мустикером, день и ночь были открыты на балкон двери, и крупные шершавые, темно-зеленые листья фигового дерева заглядывали в них, делая свет в комнате мутно зеленым. Ночью, правда, было непривычно душно даже от прозрачного мустикера, тонкое пенье москитов не давало спать, тревожное дыхание моря входило из сада, но все это было ничто в сравнении с радостью утра. Каждый день приносил что-нибудь новое, были ли это красные паруса, стоявшие в море, пестрота и щедрость южного базара, раскинутого на каменных плитах маленькой площади перед мэрией, под ветвями старых

платанов, пятнистая кора которых напоминала пифонов; темноглазые, темноволосые, смуглые ниццарки в соломенных шляпах и бархатках на шее, почти оперная живописность ниццкого кладбища на холме, вздымавшего к небу белые утесы своих мраморов, казавшихся еще белее от черноты кипарисов. Она съездила в Монте-Карло и Монако, где больше всего поразил ее парк на скале, с гранитных стен которого свисали ползучие ветви странных растений, мясистых и колючих одновременно, а внизу, на страшной глубине — необычайно чистое, тяжелое, прозрачное — двигалось, шипело, закипало хрустальными пузырьками, заливая черные камни, какое-то особенно дикое, чудесно-вольное, зелено-голубое море... Стоя наверху, оживая под дуновением этого мощного, резвого, несущегося из девственной водной пустыни ветра, Ирина чувствовала себя счастливой. Она загорела и посвежела, волосы ее заблестели каштаново-шелковым блеском, она сама себя не узнавала в этом новом, казалось только что родившемся существе.



Вернувшись в Париж, чтобы не дать себе времени опомниться и пасть духом, она тотчас стала искать какую-нибудь работу — пражской стипендии на жизнь еле хватало. Попробовала она стать манекеном, но после нескольких неудачных попыток поступить в какой-нибудь модный дом, отказалась от этой мысли — ей казалось смешным и недостойным тратить время на вечные переодевания и выходы к клиенткам. Кто-то из знакомых предложил ей попробовать позировать скульптору французу для статуи ангела, и она больше из любопытства согласилась. Ей пришлось несколько часов в день стоять на высоких подмостках, держа в руках воображаемый венок. Ателье помещалось в глубине грязного скучного двора, в нем было пронзительно холодно и сыро. Скульптор был очень внимателен к ней, платил довольно щедро, но уже на третий день ей внезапно сделалось дурно на ее вышке, и она почувствовала, что все это ни к чему — и эта статуя, которая будет стоять на чьей-то чужой могиле, и это ателье, и ее ежедневные поездки на другой конец города.

Как раз в это время она увлеклась концертами. В этом увлечении неожиданно оказался у нее ментор — Мусатов, как-то встретившийся с ней на Бетховенском квартете и предложив-

ший ей быть ее гидом в музыке. Приблизительно раз в неделю она получала «пневматичку» с извещением, что у него есть билеты на концерт или оперный спектакль. Иногда они обедали вместе перед тем в студенческом ресторане на бульваре Сен-Мишель, и Ирина с удовольствием слушала меткие, резкие характеристики Мусатова. Он умел в нескольких словах отметить, указать на особенности того или другого композитора, дирижера, музыканта. Ирина слушала, боясь спугнуть, почти не веря в это неожиданное счастье. Музыка с детства была для нее чем-то особенным, принадлежащим к миру волшебных стихий, владевших ею. Она жадно стремилась к ней и не знала, кто может повести ее по правильному пути. Еще в юности у нее была такая мечта: у нее есть друг, гениальный музыкант. Она время от времени приходит к нему, и он часами играет для нее в огромной полупустой студии с темным занавесом, скрывающим стеклянную стену-окно. Они ни о чем не говорят, она его ни о чем не спрашивает, даже хорошо не знает какое у него лицо, но часы, которые они проводят вместе, принадлежат к чему-то самому высокому, самому прекрасному, что бывает на земле... На яву эта мечта, конечно, не сбылась, но музыка — настоящая музыка — навсегда оставалась для нее чем-то священным. И, порой, сидя рядом с Мусатовым в глубине галереи, откуда почти ничего не было видно, было только слышно, она оглядывалась и, видя вокруг молодые и старые лица, напряженно склоненные над партитурой Мейстерзингеров, чувствовала как сердце у нее начинает горячо биться, и чувство принадлежности к этому особенному миру заливает ее небесной радостью... «Вас приятно посвящать в тайну музыки», — говорил ей иногда Мусатов. — «Вы, почти ничего не зная, инстинктивно чувствуете, что хорошо, что плохо...»



Может быть под влиянием музыки или просто подчиняясь каким-то таинственным законам своего существа она опять начала писать стихи. Когда в первый раз — это было в ее темноватой, неуютной, с одним окном, выходящим на узенькую тихую улицу, комнате — она забылась над тетрадью и, очнувшись, с удивлением увидела, что уже смеркается — целый день прошел, а она не заметила его — она почувствовала ту блаженную усталость, которую хорошо знала и любила.

Это была усталость некоего творческого осуществления, усталость, в которой был залог новых рождений и вместе с тем блаженное нетерпение, досада на немощность тела, требовавшего отдыха. Если бы можно было без конца жить в этом! — страстно говорила она себе. Длинные дни жизни, мелкие частички чувств, картин, впечатлений возникали в неких цельных формах, облекались в мерные строки, приобретали ясность и смысл. Она с радостью видела как страницы ее почти год пустовавшей тетради заполняются новыми и новыми стихами, и сама не могла поверить в то, что еще недавно были дни, когда она чувствовала себя бессильной, неспособной преодолеть собственное слабодушие.

Что это был, вообще, за дар — этот уход из трезвой жизни, погружение в некую первичную стихию, в которой надо было только чутко слушать, ловить таинственное направление? Она подростком осознала его в себе и стала подчиняться ему, но в сущности он всегда жил в ней в скрытой форме, и она во всем находила его таинственное присутствие. Он был в синеватом освещении зимнего вечера в одном из переулков ее родного города, в какой-то особенной, запомнившейся ей утренней рождественской метели, когда на перекрестках трепало и шелкало длинными полотнищами трехцветных флагов, и вдоль тротуаров, тонко завиваясь, несло сухими белыми вихрями... Он был в таинственном мерцании рубиновой лампы перед древним образом в Лавре, в восковой чаше, царственно раскрывавшейся посреди клеенчатой листвы водяной лилии, которую старалась она сорвать, наклонясь с лодки; в чьем-нибудь лице, в бровях, в очертании губ, в томном молчании светящихся из-под ресниц глаз — и она рано познала сладкую муку погони за чем-то волшебным, скользящим, падающим, внезапно возникающим для нее в только что чужом, безразличном существе. Жизнь была ценна для нее именно этими мгновениями очарования, открывания повсюду таинственных заветных примет... чего? она не знала, знала только, что именно в них была для нее красота и смысл, без которых все остальное было ненужно и пресно. Этот особенный дар отличал ее от других и, порой, она ощущала его в себе как некую боль и странность, отчуждавшую ее от более простых и цельных натур.

Но сейчас она была только счастлива. Сидя у окна в ста-

ром глубокоом кресле, склоняясь над тетрадь, она напряженно записывала, едва успевая смотреть вглубь себя, слушать, ловить что-то точное, единственно-правильное. Незаметно рождалась фраза, за ней другая, третья. Ирина слушала, судила, одно отбрасывала, другое принимала как несомненное. Слова рождались уже сами собой, все более точные, все более радовавшие ее. Время летело, очнувшись она с удивлением замечала, что прошло-два-три часа, что уже смеркается...

Как-то после одного из таких блаженных дней Мусатов зашел за ней и пригласил ее пройтись по бульварам и зайти в кафе. Она, обычно отказывавшаяся от таких предложений, вдруг согласилась. Душа ее еще была полна звуков, ей не хотелось оставаться в тесноте и тишине ее комнаты.

Кафе де ля Пэ было почти полно, как всегда по вечерам: туда все прибывала и прибывала публика. Мусатову, бывшему здесь, видимо, не совсем неизвестным, удалось получить столик в глубине. Они сели на узкий малиновый диванчик и лакей принес им по рюмке портвейна.

— Хотел бы я знать, что будет с вами лет через пять, — задумчиво сказал Мусатов, протирая большим белым платком неизменное пенснэ в черепаховой оправе. — В вас заложены большие возможности. Но вы еще не определились. Кто-то должен разбудить вас и разбудить прежде всего страданием...

— Знаете, что меня мучило и мучит больше всего? Полное отсутствие так называемых «крупных» людей вокруг... Все, что я видела до сих пор — это такая мелкота...

— Мерси. Впрочем, принимаю ваши слова за нечто уже выделяющее меня из этой, как вы говорите, мелкоты. Но до какой-то степени вы правы. У вашего поколения несчастливая звезда. Вы, не успевши ничего увидеть, были выброшены из России и предоставлены самим себе.

Мимо проходила только что вошедшая группа русских. Отделившись от нее невысокий худощавый человек в мягкой широкополой шляпе на секунду остановился перед их столиком и насмешливо сказал, бесцеремонно рассматривая Ирину:

— А вы и здесь занимаетесь выискиванием молоденьких — центавр вы этакий!

— Дайте же и нам когда-нибудь пожить, — не все вам, — с неприятно-недружелюбной усмешкой в голосе ответил Мусатов.

— Кто это? — спросила Ирина, когда незнакомый прошел.

— Не знаете? Шатилов.

— Как? Тот самый? Знаменитый?

— Тот самый. Знаменитым он, положим, стал только здесь, в эмиграции. В России его картины обращали на себя внимание немногих.

— Говорят, он замечательный портретист?

— У него есть и замечательные пейзажи. Таланта его не признать нельзя, но, вообще, мы никогда не любили друг друга...

— Отчего?

— Как вам сказать... Мы всегда были в разных станах. Я много писал в свое время о живописи, считался символистом и не очень жаловал его трезвые, натуралистические с моей точки зрения картины. Потом между нами встала женщина...

— Она предпочла его вам?

— Представьте, наоборот. Надо отдать ему справедливость, он вел себя благородно и тотчас отступился от нее, но между нами это все-таки как-то осталось... Потом он женился.

— А что он делает теперь?

— Теперь каждая его картина — событие. Пишет он, правда, довольно мало. Но все, что выставляет — тотчас заставляет всех говорить о нем.

В этот вечер, уже почти засыпая, Ирина вдруг увидела перед собой насмешливый взгляд Шатилова, его римский профиль и надменно закинутую голову. «Что за самоуверенное лицо!» — подумала она. — «Как он, видимо, знает себе цену!»

В октябре вышла книжка редактируемого Мусатовым журнала, в котором были и ее стихи. Хотя они и прошли незамеченными, Ирина почувствовала себя возрожденной. Что-то вдруг точно сдвинулось в ее жизни. Она стала необыкновенно деятельна, общительна и на Новый год с особенным чувством согласилась поехать на бал прессы. Платье из сиреневой тафты с фиалками у пояса очень шло ей, и стоя перед зеркалом в ожидании Мусатова, который должен был заехать за ней, она должна была признать, что нравится сама себе. На балу, в пестроте, движении, качании толпы, в казавшемся тесным от множества пар, горяче-душном зале, она много танцевала и возвращаясь к столику, где ждал ее Мусатов, чувствовала себя нерассуждающе счастливой, легкой, совсем иной, чем обычно до-

ма. После 12-ти Мусатов предложил ей пройти к стойке с лотереей. Пробираясь через густую толпу, запрудившую выход, она вдруг издали увидела из всех выделявшуюся своей надменной манерой держаться немного запрокинутую голову Шатилова. Он самоуверенно и холодно рассматривал толпу и главным образом молодых женщин.

— Узнаете? — спросил ее Мусатов.

— Узнаю. И не испытываю ни малейшего желания узнать ближе! — с неожиданной энергией ответила Ирина. — Удивительно неприятная личность!



Судьба, однако, очень скоро свела ее с ним.

Произошло это в литературном салоне г-жи З., богатой образованной дамы, игравшей большую роль в обществе, и одной из крупных пайщиц в местной русской газете. Попастъ в ее салон было нелегко, и Ирина получила приглашение только благодаря Мусатову, с почти отеческой заботливостью относившемуся к ней.

В назначенный вечер они вместе вошли в ее квартиру, находившуюся в одной из улиц Пасси, неподалеку от Булонского леса. На пороге их встретила сама хозяйка — большая статная женщина, поражавшая почти библейской красотой — с нее можно было бы писать Эсфирь — одетая в простое черное платье с ниткой жемчуга на шее. Ее блестящие смоляные волосы были гладко, на прямой пробор, зачесаны назад и уложены на шее в тяжелый, отливающий змеиным глянцем узел.

— Очень рада вас видеть у себя, — рассеянно улыбаясь накрашенным малиновым ртом, голосом, в котором звучали какие-то неожиданные перламутровые переливы, сказала она, пожимая своей белой рукой руку Ирины. — Прошу чувствовать себя здесь, как дома. Виталий Анатольевич посвятит вас во все здешние тайны. Он здесь свой. Не правда ли, Виталий Анатольевич? — с той же рассеянной улыбкой обратилась она к Мусатову.

В полукруглой, освещенной матовым, неизвестно откуда льющим с потолка светом гостиной, где было уже довольно много народу, Ирине прежде всего бросилась в глаза своим блестящим лаком поднятая крышка концертного рояля. Окна были невидимы за длинными до полу тюлевыми занавесками,

раздвигавшимися как на сцене. Стены почти исчезали за книжными полками, блестящими сафьяном и золотом разнообразных переплетов. Над одной из них висел портрет г-жи З. в молодости. Она была изображена в полуоборот к окну, держащей в отведенной руке конец своей длинной косы. Во всей позе, несмотря на некоторую восточную томность ее, было столько молодости и стремительности движения, что Ирина невольно не могла сдержать восторженного восклицания.

— Нравится? Да, правда, недурно, — сказал рядом с ней незнакомый, но как будто уже где-то слышанный голос...

Она быстро обернулась. Рядом с ней, держа руку в кармане смокинга, стоял Шатилов.

— Здравствуйте. Мы с вами уже, в сущности, знакомы. Я с первого раза запомнил вас. Всякий другой на моем месте тотчас же стал бы говорить вам, что вы, как две капли воды похожи на Беатриче Ченчи и прочие пошлости... Но это не в моем духе. Я вижу вас такой, какая вы есть, и так бы и стал писать вас, полудевочкой-полуженщиной...

— Что такое? Александр Андреич нашел себе модель? — с деланным ужасом, в котором, однако, звучало и что-то ревнивое, проговорил рядом картавый голос.

Оба обернулись. Ирина тотчас узнала Риту Мезенцеву, поэтессу, встреченную недавно в кафе поэтов на чтении стихов. Ее светлые тонкие волосы были распущены вокруг тонко напудренного, нежно-желтоватого от слившихся веснушек лица. Зеленые глаза смотрели любопытно и остро. На ней было какое-то удивительное, воздушное платье, представлявшее из себя сложную смесь карминового и голубого.

— Познакомьте же и меня с новым членом нашей литературной семьи, — своим легким веселым голосом сказала она.

— Я еще, собственно, и сам не имею этой чести, как принято говорить в таких случаях, — шутливо, в тон, ответил Шатилов. — Мусатов по обыкновению жадничает...

— Ну, так мы сами... Я — Мезенцева, — обратилась она к Ирине: — Мы уже, кажется, встречались. Вы тоже сегодня читаете?

Весь этот вечер слился для Ирины в ощущение сплошного радостного волнения. Ей все было ново, все удавалось — она, с неожиданной для себя свободой и силой, прочла несколько стихотворений, ей все улыбались, спрашивали, давно ли она

в Париже, сколько времени печатается и почему ее стихи до сих пор не появлялись в местном толстом журнале... и сам редактор этого журнала тут же любезно сказал, что охотно напечатает что-нибудь из только что прочитанного... После концертного отделения — пела известная французская певица и Николай Орлов играл Шопена — все перешли в столовую, отделяющуюся от салона только рамой широко раздвинутых дверей.

За столом, хотя Шатилов и не был соседом Ирины, он несколько раз через стол обращался к ней, всякий раз смущая ее этим. Впрочем, здесь все чувствовали себя свободно. Проще и естественнее всех держал себя сосед Ирины — плотный, средних лет человек с черными курчавыми волосами и живыми умными глазами, которого здесь все, видимо, хорошо знали и любили. К нему то и дело обращались вновь входившие (до сих пор в передней раздавались звонки и входили опоздавшие), здороваясь, останавливались за его стулом, называли его просто «Боренька», и он оборачивался, улыбаясь светлой радостной улыбкой, часто во время разговора удерживал в своей руке руку собеседника, глядя ему в лицо и слушая его так, как будто они были одни в комнате. На немой вопрос Ирины, сидевший с ней Мусатов шепнул: «друг дома, известный революционер и оратор, Бахарев...» Но и кроме него здесь было много известных людей: актеров, профессоров, писателей, так что у нее глаза разбегались и она не могла уследить за всем и за всеми, обращавшими на себя ее внимание.

После ужина, когда часть присутствующих вышла из-за стола — многие остались допивать вино и ликеры — и разбрелась по комнатам и Ирина подошла к накрытой персидским ковром тахте в кабинете, пытаясь рассмотреть названия книг на полке над тахтой, кто-то тихо взял ее под локоть сзади и голос Шатилова сказал ей почти на ухо:

— Так, как же будет с вашим портретом?

Она, ничего не отвечая ему, с вдруг забившимся сердцем смотрела перед собой.

— Знаете, что я предложу вам? Я еду в феврале на юг, там у меня тоже есть студия. Было бы чудесно если бы вы согласились приехать туда недели на три-четыре. Я, думаю, мне бы удалось сделать что-нибудь порядочное... Разумеется, я вас приглашаю.

Она быстро испуганно взглянула на него и опустила глаза.

— Нет, не могу, — сказала она.

— Почему?

— Так. Просто не могу...

— Осмелюсь возразить, что не каждый день случается, чтобы Шатилов предлагал кому-нибудь писать его портрет. Обычно его просят!

Не зная, что сказать, она стояла с внезапно вспыхнувшими щеками, продолжая молча смотреть на книги, не видя их. Что-то в этом человеке начинало странно действовать на нее, и она всем существом сопротивлялась этому.

— Нет, право, не могу. Сейчас не могу, — наконец все же выговорила она.

К ним подошла хозяйка. Ирина с живостью обернулась к ней, радуясь, что таким образом может оборвать этот разговор. Впрочем, Шатилов больше не возобновлял его. Он почти тотчас же отошел и весь остаток вечера Ирина чувствовала, что он старается не смотреть в ее сторону. Но в общем этот вечер слился для нее в одно ощущение большой многообещающей удачи, и все вокруг только что-то прибавляло к этому ощущению.

Позже, когда они с Мусатовым вышли, и сырой воздух ночи приятно повеял в их разгоряченные лица, она сказала, что хочет немного пройтись. Они вышли на набережную и пошли вдоль смутно белевшего в полутьме гранитного парапета. Внизу, черной смолой, поблескивала Сена. За черными деревьями стояло мутно-красное зарево бульваров. Круглый циферблат часов над вокзалом Кэ д'Орсэ желто светился вверх. Было тепло и сыро. В воздухе уже чувствовалось веяние близкой весны.

— Как я люблю Париж! Какой это совсем особенный город! — с неожиданным порывом восторженного умиления воскликнула Ирина. — Виталий Анатольевич, правда?

Мусатов, не отвечая, сумрачно шел рядом.



В толстом журнале были напечатаны ее стихи, и критик, обычно не достаивавший ее внимания, похвалил их, назвав некоторые строки «очаровательно найденными». Потом ее

пригласила к себе Мезенцева, и когда она пришла в банально-убранную, но новую для нее парижскую гарсоньерку, где Мезенцева жила с мужем, они приняли ее с необыкновенной любезностью и Мезенцева тотчас объявила, что должна помочь ей и посвятить в «тайны ремесла», как она говорила. Она вообще была добрая женщина, шутливая и веселая и, когда хотела, умела заставить людей чувствовать себя с нею легко и просто.

Как-то раз она пригласила к себе Ирину «пневматичкой», и когда Ирина вошла к ней, навстречу из-за накрытого чайного стола поднялась небольшая суховатая фигура Шатилова.

— Не пугайтесь. Мне ничего больше не оставалось, как прибегнуть к маленькой хитрости. Я упросил Риту...

— Не без труда, прибавьте, — вставила Мезенцева, доставая из шкафа бутылку портвейна. — В сущности, так не делают.

— Вы должны простить нас обоих. Мне непременно нужно было поговорить с вами. Я не мог этого так оставить.

— Даю вам десять минут для ваших таинственных переговоров, пока я буду готовить чай, — сказала уходя за шелковую малиновую занавеску Мезенцева.

— Послушайте, я не буду говорить вам о том, что я серьезно обижен! Но, право же, это неразумно! — с внезапной серьезностью, наклоняясь к Ирине через стол, сказал Шатилов. — Подумайте, могла бы получиться прекрасная вещь... Неужели вы не хотите этого? Из-за пустых предрассудков, из-за каких-то принципов... Я могу вам не нравиться — согласен. Но мои картины...

— Я еще девочкой восхищалась ими! — с неожиданной горячностью вырвалось у Ирины. — Я помню, как отец повез меня на выставку, где были и ваши картины. Мне было лет четырнадцать, не больше, но я все смотрела, смотрела и не могла насмотреться... Сколько в них было силы и правды и еще чего-то, что на меня всегда действует!

— Слава Богу, что хоть это я заслужил! Ведь вы могли бы предпочесть мне и Котарбинского... Кажется, они вместе с Бальмонтом, были властителями дум тогда. Но, с другой стороны, грустно сознавать, что я уже так стар... Ну, впрочем, не беда. Так как же? Решаетесь?

— Вы уезжаете, а я не могу сейчас уехать отсюда.

— Почему?

— У меня есть работа. Я не могу отказаться.

— Ну, хорошо. Скажем, я немного отложу свой отъезд и сделаю здесь два-три наброска... Приедете ли вы потом... в июне, например?

— Может быть... Постараюсь. Но не могу обещать на-верное.

— Экая вы! Ну хорошо, хорошо. Но пока...



Ирина никогда потом не могла понять, когда началось их сближение.

По своему складу он был ей чужд, был на много лет старше ее, был, вообще, из совсем другого века, как ей потом часто казалось. Резкая нетерпимость и определенность его взглядов, по началу, пугала и почти ошеломляла ее, хотя в то же время это и странно нравилось ей. Все в нем было крупно, ярко, определенно — тут не было места неуверенности, колебаниям. На все у него были уже резко определившиеся суждения, которые, казалось, ничто не могло изменить. Особенно вначале он смущал ее своими насмешками над тем, что она любила с детства и считала прекрасным.

— Невелик ваш бог! — с едкой иронией усмехнулся он, когда она сказала, что любит Врубеля и что ей особенно нравится его Демон. — Этакая лубочная Андрогина!

В студии он оказался совсем новым для нее. Он как будто перестал видеть в ней женщину, но на своем лице, руках, теле, она все время чувствовала его зоркие, как будто что-то ищущие взгляды. Он был резок, почти неумолим, не замечал, что она устала, и в то же время она чувствовала, что готова без конца сидеть так перед ним с раскрытой книгой на коленях, которую он дал ей, чтобы пока «занять руки и дать выражение фигуре», как он говорил. Как он будет писать ее она не знала, он не говорил ей этого и не показывал начатого рисунка, но сидя перед ним и смотря как он, постаревший, суровый, стоит у мольберта и что-то как бы снимает с ее лица и глаз — переноса это затем на полотно скупым, почти незаметным движением руки, она проникалась невольным трепетом.

Вначале она только ездила к нему в студию, неподалеку от авеню Клебер, потом они мало по малу начали бывать вместе

в городе. Иногда он приглашал ее выпить с ним чаю у Румпельмейера или в одном из небольших Ти-рум в окрестностях Мадлэн или рю де Риволи. Случалось, он просил ее приехать туда, когда его задерживало что-нибудь в городе, и она, входя, тотчас находила его взглядом за укромным столиком в углу, пристально, через пенснэ, рассматривающего атласную карточку маленького преysкуранта. Его бархатная широкополая шляпа, кашне, палка с серебряным набалдашником, лежащие тут же на стуле, все было уже хорошо знакомо, привычно ей.

Она любила эти часы с ним в теплой, пахнущей горячим шоколадом и тостами комнате, с затянутыми тисненым, бледно зеленым шелком стенами с круглыми медальонами, изображавшими маркиз и маркизов, с голыми черными деревьями и высокой решеткой Тюльерийского сада за окнами. Время летело, и она сама дивилась тому, как много и горячо говорит, и как он жадно, ненасытно слушает ее. Иногда он начинал рассказывать о себе, и она сама не знала, когда смутные картины его жизни начали входить в тот общий мир представлений, который всегда жил в ней.

— Как странно, вы уезжали с вашей женой в свадебное путешествие, а я в это время была маленькой девочкой... и ничего не знала о вас... — как-то задумчиво сказала она, после того как он рассказал ей историю своей первой женитьбы, кончившейся очень скоро разводом.

Он зорко взглянул на нее.

— Да... странно... очень странно... А страннее всего то, что я и не заметил как привык к вам так что уже не представляю себе, как это я буду жить без вас.

Но и ей это было уже странно; она знала, что очень скоро он должен уехать, что его ждут в Лондоне, где он должен был писать портрет какой-то герцогини и нечего было и думать, что можно отменить или отложить это, но в то же время ей уже казалось непонятным куда она будет девать время без него, как начнет день, в который ей не нужно будет ехать к нему на сеанс или видаться с ним в городе.

Внешний облик его, незаметно для нее, тоже изменился. Когда начало проступать из этого чужого немолодого лица с сильно седеющими, легкими, на косой пробор расчесанными волосами, какое-то другое, родное, близкое, лицо? С какой минуты она вдруг начала за что-то нежно жалеть его.

Теперь уже они оба инстинктивно стали избегать людей, которые могли бы говорить о них, и в то же время Ирина чувствовала, что о них говорят и о встречах их знают.

Но больше всего поразил Ирину один вечер уже перед самым отъездом Шатилова.

Они должны были ехать вместе в оперу — он хотел показать ей декорации Бакста к Орфею, которого изображала Ида Рубинштейн. Ирина в первый раз ждала его у себя в комнате. Когда он, в смокинге, с белым шелковым кашнэ, распущенным по груди, вошел и она обернулась к нему от зеркала в своем длинном сиренево-серебристом платье с орхидеей у плеча, он вдруг остановился и, отстраняя ее от себя и любуясь ею, сказал, за шутливостью стараясь скрыть волнение:

— Я почти готов остаться с вами дома! Ведь все будут видеть вас такой!

После спектакля, глубоко взволновавшего ее, как патетической красотой музыки, так и изнеженной аттической прелестью декораций, он уговорил ее выпить с ним стакан вина. Они вошли в отделанную черным с золотом камнем нижнюю залу ресторана, пахнувшего морем и нежной оранжерейной сиренью, большие букеты которой стояли тут же на стойке, и стали подниматься по устланной ковром лестнице в верхний этаж. Навстречу, в соболях, с жемчужинами в ушах, блестя черным гляncем непокрытой головы, спускалась под руку с господином дама. Когда они поровнялись Ирина узнала г-жу З. Они сдержанно раскланялись и по какому-то особенному молчанию Шатилова Ирина почувствовала, что эта встреча чем-то неприятна ему.

— Что с вами? — тихо спросила она.

— Ничего. Главное, что вы здесь, со мной, и что сейчас мы будем с вами ужинать и пить мое любимое вино...

Отвозя ее домой на автомобиле, он вместе с ней вышел и, прощаясь вдруг с неожиданной стремительной страстностью обнял ее и поцеловал в губы.

Она онемела и не ответила.



Вилла стояла в маленьком уютном саду, окруженном густой зеленой изгородью. После обеда Ирина обычно лежала в раскидном кресле под большим олеандровым кустом. В поселке

у нее не было знакомых кроме Мусатова, нашедшего для нее эту комнату. Каждый день они виделись с ним на пляже или ходили вместе гулять.

Но больше всего она любила купаться рано утром, одна. Вскочив с постели и накинув на себя мохнатый плащ, она выходила на пустую набережную. Море — чистое, утреннее, нежно голубое, как поле цветущего льна, дышало свежестью. Голубые горы Эстереля, закрывавшие горизонт справа, были видны с необычайной четкостью, так что можно было рассмотреть острые утесы, похожие на каменный лес на самом мысу. В больших камнях набережной, в самой голубизне воды было что-то нежное, светлое, невинное. Она сбрасывала с себя плащ и входила в воду. Чуть-чуть прохладная тихая влага принимала ее тело. Дойдя по песчаному, всему видимому в этот час, сладостно твердому и мягкому одновременно дну до более глубокого места, она тихо ложилась на воду. Отплыв подальше от берега она перевертывалась, ложилась на спину и застывала, вытянувшись, глядя в голубую пустоту над собой. Вода, тихо покачивая, несла ее, баюкала, усыпляла...

После купанья, напившись кофе, она отправлялась в соседний городок за фруктами. Ее привлекала пестрота и шум южного базара, раскинутого на площади, под светлыми гладкими платанами с короткими обрубками ветвей, мягкие круглые плетенки, с царской щедростью пересыпавшиеся через край смугло розовым, желтым, синим виноградом, лопающимся от изобилия густого сладкого сока; спелые, необыкновенно нежные фиги, которые смуглые черноволосые торговки итальянки заботливо раскладывали на виноградных листьях, наподобие маленьких темнолиловых сердец, острая и манящая вонь рыбных рядов, где серо-розовые рыбы еще раскрывали растягивающиеся гармонией рты на мокрых прилавках и грязно-коричневые крабы сердито шуршали в глубоких ивовых корзинках. Она выходила с базара за круглые каменные ворота к морю, садилась на горячие камни и завтракала кистью винограда и румяным продолговатым хлебцем, бросая крошки рыбам, выжидательно-неподвижно стоявшим в мутной солнечной воде. Потом возвращалась по горячему пыльному шоссе, над серой лентой которого густо розовели букеты цветущих олеандровых кустов, то и дело обгоняемая автомобилями, обдавшими ее облаками белой пыли.

По вечерам за ней обыкновенно заходил Мусатов. Она бра-

ла в руки легкую тросточку, он перекидывал на руку свой клетчатый плед и они выходили. Выйдя на набережную, они шли над слабо белеющей полосой пляжа, прочь от поселка, постепенно превращавшегося позади них в пригоршню больших и малых огней, рассыпанных на берегу и золотым, дрожащим венком, опрокинутых в теплое летнее море. То и дело навстречу им загорались из мягкого голубого сумрака огни идущего по берегу автомобиля, стремительно налетали, освещали струей голубого светящегося дыма их и дорогу впереди, погружая все остальное в мгновенную тьму и, яростно сверкнув в глаза, пролетали мимо. Справа густой тучей чернели вершины пиниевой рощи и теплый ветер приносил с жасминовых плантаций волну сладкого аромата. Они сходили на берег, по камням перебирались на мол и шли до самого конца, где у выхода в море, посреди залива, тускло светился аметистовый фонарик пловучего маяка. Там Мусатов расстилал свой плед и садился, а Ирина ложилась на еще теплые камни. Взошла луна, море начинало поблескивать, — то там, то здесь загорался и вспыхивал яркой искрой на туманной воде крупный серебряный червонец...

— О чем вы думаете? — спрашивала после короткого молчания Ирина.

— О том, что когда-то вдоль этих берегов плавал на своей яхте Мопассан. Была такая же ночь и ветер приносил с берега обрывки музыки и запах цветов... А теперь от него ничего не осталось, а мы с вами сидим на этих камнях и наслаждаемся, а очень скоро и нас тоже не будет.

— Я еще об этом как-то по настоящему не думаю.

— Еще бы! А чего бы вы больше всего хотели?

— Не знаю. Увидеть всю землю... Поселиться на берегу южного моря. Прожить долгую счастливую жизнь с друзьями, с книгами, с музыкой...

— О любви вы ничего не говорите, но подождите. И вас не минует чаша сия...

— Меня? Нет, не думаю. Я в сущности такая ленивая...

Ей казалось, что она говорит искренно. Эта южная жизнь сладко расслабляла ее. Ей казалось, что она может месяцами жить так ни о чем не думая, растопляясь в голубом горячем воздухе, следя за тем как все больше покрывается загаром ее молодое сильное тело.

Но бывали у нее и другие состояния. Что-то глубоко вну-

три томило ее. Особенно она почувствовала это однажды в Антибе.

Она, как всегда, пришла туда за фруктами, но оттого ли, что в тот день у нее как-будто болела голова или просто солнце жгло слишком сильно, ей захотелось в тень. Оглянувшись она увидела перед собой портал католической церкви с завешанным темным кожаным занавесом входом. Она подняла занавес и вошла. Было полутемно, тихо, горели три свечи в медном шандале, поставленном прямо на полу. Пол был закапан воском. Пахло чем-то душным. У нее кружилась голова, ей было необъяснимо тяжело и легко сразу. Она долго пробыла в таком состоянии, не шевелясь. Голова у нее кружилась все сильнее. Она не знала, что было с ней, но когда подняла голову, щеки у нее были мокры от слез.



Пляж пустел. С горячего, слепившего глаза своей белизной песка поднимались то одни, то другие купальщики, собирали свои соломенные корзиночки, яркие кретоновые зонтики, закутывались в халаты и уходили. Полуденное море горело острым сине-серебряным блеском, из него медленно надвигался высокий серый косяк паруса — возвращался с ежедневной утренней прогулки коричневый англичанин, похожий на голую обезьяну с трубкой во рту.

Вскоре на берегу остались только Ирина со своей новой знакомой, шведкой. Лежа ничком и пряча лицо в сложенных руках, они прислушивались к тому как солнце печет им спины. Подняв голову, шведка вдруг сказала:

— Вон идет молодой человек с вашейвиллы...

Ирина тоже подняла голову. По берегу, в развевающемся синем халате, небрежно накинутом на голое коричневое плечо, быстро шел шестнадцатилетний сын ее соседки по комнате, Кирилл. Рядом с ним шел еще кто-то, чуть пониже, в белом костюме.

— Ирина Александровна, к вам гости! — издали крикнул Кирилл.

Ирина с изумлением взглянула на подходившего. Господин в белом, спрыгнув с набережной, шел к ней, увязая в глубоком песке. Прежде чем он дошел до нее она узнала Шатилова.

— Наконец-то я нашел вас! — сказал он. — Ну и запрягались же вы!

Этот день остался в памяти Ирины как какая-то сверкающая мозаика: то она видела белую, туго накрахмаленную скатерть столика в Казино, куда он увел ее завтракать, то желтый парусиновый навес, спущенный над террасой, за которым ярко горело полуденное море, то свою собственную коричневую от загара руку, держащую стебель тонкого хрустального бокала. Перед ней было море и красные цветы герани в ящиках на краю террасы, позади взмывала из зала музыка джаза. Шатилов говорил, голос его странно звучал в ушах Ирины. Его рассказы так же не походили на ее жизнь, как этот завтрак с лакеями, дорогим вином и негритянской музыкой на ее пастушеские завтраки за воротами Антиба. Она смутно слушала, перед ней мелькали английские пейзажи, знатные лэди, которых писал Шатилов, сеансы во дворце, образ молоденькой герцогини, подавляемой этикетом и все же старавшейся освободиться из-под его ярма. Шатилов говорил, и она украдкой рассматривала его. Он был гладко выбрит — от этого лицо его стало моложе, вся его фигура дышала стремительной, почти юношеской легкостью. Все, что он говорил, было так определенно, так полно уверенности в себе, что она временами терялась, чувствовала себя почти девочкой. Она не понимала, что влекло его к ней и от этого еще больше смущалась. Но одно она понимала: в жизнь ее входило что-то, от чего ей уже было не уйти, и чувство это было так сильно, что она невольно отводила от него глаза, чтобы он не мог прочесть ее мысли в ее взгляде...



Она была уже достаточно подготовлена к тому, что ждало ее, своим долгим летним одиночеством, но эта новая встреча далась ей не без борьбы. Опять, как в Париже, ей приходилось как будто переступать через какие-то внутренние преграды между ними. Все в нем снова казалось резким, необычным, порой даже враждебным. Он не мог, да и не хотел сдерживать себя, и она то и дело слышала из его уст резкую критику ее вкусов, ее склонностей. Она смущалась и замыкалась, но стоило ему уехать — опять начинала ждать его и не знала чем наполнить дни. Когда они была вместе — часы летели с го-

ловокружительной быстротой, и сама его взрослость, определенность придавали очарования и захватывали ее. Она так долго, сама того не зная, жаждала чего-то крупного, яркого, пусть даже отрицательного, но личности! Правда, все в эти дни не так ясно чувствовалось ею. Она просто жила, наслаждалась полнотой каждого часа, не успевала прийти в себя после каждого поражения им.

После первой же встречи (они расстались только вечером) он сказал ей, что поселился в Вансе у Бахарева, который снимал там виллу, и что ездить к ней ему сложно и далеко. Она, не понимая, смотрела на него. «Зачем он говорит мне это? Ведь я не спрашиваю его ни о чем, не прошу приехать», — думала она. Но он, очевидно, и не думал о ней, он просто отвечал сам себе на какие-то свои внутренние вопросы. Они расстались, но уже через день он входил в калитку ее сада.

Она просто, но в то же время с невольным смущением встретила его. «Я должен был сегодня съездить в Канны по делам...», — как будто объясняя что-то, сказал он. И тотчас решительно добавил: «Вы должны приехать ко мне туда. Мне это гораздо легче. Мы скоро начнем работать. Я просто еще хочу несколько дней отдохнуть».

Эти «несколько дней» растянулись в недели. Он приезжал сначала через день-два, потом каждый день перед завтраком. Она переодевалась у себя, набрасывала на купальный костюм халат и выходила с ним на пляж. В первый раз, по привычке, одна войдя в воду, она вдруг вспомнила о нем, обернулась и со смущенной улыбкой протянула ему руку. «Как все в вас прелестно», с неожиданным жаром вырвалось у него. Она вообще постоянно видела в нем признаки этого восхищения, но не смела им верить. — «Что он мог найти во мне?» — спрашивала она себя. «Столько уже переживший, столько видевший на своем веку...» Когда он брал ее за руку или говорил ей что-нибудь ласковое, со своей чуть-чуть смущенной, как бы над самим собой усмешкой, она терялась и не знала верить или нет. Теперь он приезжал в самое неожиданное время, видимо, пользуясь разными предложениями, чтобы заехать к ней. Ей почему-то особенно запомнился один день, когда они после обеда сидели под высокой сосной, где-то неподалеку от железнодорожной насыпи. Он разостлал свое пальто, рядом лежали его соломенное канотье и маленький желтый чемоданчик,

который он обычно возил с собой — там хранились все нужные ему вещи: купальный костюм, полотенце, спички, книжечка железнодорожного расписания, часто фляжка с коньяком. Она не могла забыть потом этого дня, этого солнца, одинокого острова, зеленой хвои на теплом голубом небе над ними, линии железнодорожной насыпи позади... Он говорил и голос его странно сливался с этим миром, с этим солнечным синим миром, в котором они были, казалось, одни. «Запомните — существует только самое главное: солнце, эта трава, вы, ваше тело... все остальное неважно..., — говорил он. — Только природа, только красота, это то главное, ради чего люди живут и ради чего стоит жить...» Она слушала, не вдумываясь, не зная подлинно ли это истина, смущенная, потрясенная тем, что происходит.

В этот день она пошла провожать его на вокзал. Сначала они сидели на дальней скамейке в конце платформы, похожей на аллею южного сада, с клумбами и кустами олеандров, потом, когда пришел поезд и он уже сидел в купэ, она стояла перед окном темно-синего вагона и смотрела на него снизу вверх. Вечернее солнце сбоку, ярко желтым светом освещала его лицо, чесучевую рубашку с короткими рукавами, загорелые мускулистые руки. Он не сводил с нее пристального взгляда, и она невольно видела себя такой, какой он должен был видеть ее: белое в пестрых крупных цветах кретоновое платье, белые тесемки полотняных эспадрилий, переплетенных на горячо загоревшей коричневой коже, зеленая лента, обнимающая гладкую коричневую голову... Она казалась себе проще, моложе, чем на самом деле, точно вдруг обратилась в девочку, в ребенка... Что-то в этом духе должен был чувствовать и он, потому что после одного из их свиданий, когда они сидели над морем, на камнях, осыпаемые мелкой водяной пылью прибоя, и он краем пальто закрывал ей ноги, она, с удивляющей ее самой свободой, рассказывала ему о себе — он все с той же непонятной ей смущенной улыбкой сказал при расставании: «Там, на камнях, вы были Хлоей...»

Теперь уже не было дня, чтобы он с самого утра не приезжал за ней. Они уезжали в маленькие городки, разбросанные вдоль всего побережья, завтракали на деревянных столах деревенских харчевень, пили местное розовое вино, сладко кружившее голову, лежали под могучими пиниями на холмах, дышали сухим запахом лиловой лаванды, растущей прямо на

песке под горячим, все более распалывшимся небом. Иногда он привозил ее в дорогой ресторан на берегу, они завтракали в зале за белоснежно накрытым столом, потом уходили в парк, шли по аллеям, полным почти аттической красоты, выходили на пепельно-серый каменный мыс, кольцеобразными цирками своих скал напоминавшими лунный пейзаж. Здесь был как бы конец мира. Они ложились на крупную белую гальку, позади была только далекая стена южных сосен, отгораживавшая их от мира, перед ними — полуденное, ярко-синее, играющее нестерпимо-серебряными остриями, дикое море... Они закрывали глаза. Море шумело довременным вечным шумом, голова сладко кружилась, земля тихо плыла куда-то...

Ни о какой работе над портретом они не думали. Не думали они и о том, как все пойдет дальше. Оба чувствовали: что-то неодолимое ведет и ведет их за собой, все больше наполняет их души и тела хмелем этого зноя, солнца, сухих пряных ароматов, вечным шумом южных сосен над ними...



Теперь она почти никогда не бывала на пляже, не ходила в Антиб, не гуляла по вечерам с Мусатовым. Он ни о чем не спрашивал ее, но при случайных встречах она чувствовала, как бы некую стену, вставшую между ними. Объяснить она ничего не могла, да и не хотела. Вся ее жизнь пошла вдруг по другому пути, она еще сама не сознавала какому, но чувствовала, что все прежнее кончено. Дни летели, сменялись с захватывающей дыханием быстротой. Каждый день Шатилов приезжал и они уходили или уезжали куда-нибудь. Теперь она чувствовала себя чем-то уже принадлежавшим ему. Он завладевал ею все больше и больше. С ревнивой силой, поражавшей ее в нем, он убеждал ее, что она существо иного мира, чем все те, кто до сих пор были вокруг нее, что ей надлежит жить только искусством. Он одобрял ее стихи, видел в них талант (хотя постоянно находилось что-нибудь, с чем он был не согласен) и всячески старался развивать в ней художественное зрение. «Надо уметь видеть», — говорил он ей, сидя с ней на берегу и указывая на длинноиглые сосны, освещенные желтым вечерним солнцем. «Вот эти сосны, в упор освещенные вечерним солнцем... этот борт белой лодки там в море — все это существует, но само по себе, пока зрячий глаз не найдет, не откроет этого...

А глаз надо развивать. Надо постоянным вниманием, упорным трудом над собой достигать этого...» Она слушала его, упоенная, радостная. Ее восхищало его свойство видеть красоту мира. Правда, он видел не только красоту. На пляже, в автобусе, в поезде, он указывал ей на лица, руки, ступни людей. — «У него обязательно должны быть эти огромные плоские ступни, у него туберкулез, — говорил он. — А эта девка... Как она здорова, как яростна! Недаром у нее такая нижняя часть лица...» Часто ее смущала эта резкость, почти грубость выражений. Он пожимал плечами. «Нужно же учиться жизни, русскому языку — если хочешь быть чем-нибудь стоящим. Александр Сергеевич был поэт не хуже тебя, а не боялся называть вещи своими именами...»

Она не решалась противоречить. Все ее существо было как бы оглушено им, но в том, что касалось ее стихов, она с удивлявшей ее самой силой, защищалась. Его суждения казались ей слишком реалистическими, уничтожающими ту мистическую стихию, без которой она не признавала поэзии. «Нет, нет, это совсем не то!» — с непонятной ей самой твердостью говорила она, беря из его рук листы. Он смотрел на нее пронзительно. Одним из его свойств было мгновенно воспламеняться, становиться невыносимым, если ему противоречили в том, что он считал несомненным. Но сила умиления ею была так велика, что один вид ее огорченного лица, смягчал его. «Ну, полно. Оставим это! Поедем лучше на острова...», — обвивая рукой ее плечи, говорил он.

Как-то утром, выйдя за ворота своей виллы, Ирина заметила, что деревья на шоссе шумят уже по осеннему. На пляже тоже уже не было того ослепительного лета, которым она так наслаждалась все время. Полоса берега как будто сузилась, стала серее. Над морем клубились чернильно-синие тучи. Два одиноких пестрых зонтика печально клонились в разные стороны. «Неужели осень?» — подумала она. И ей стало необъяснимо грустно. «Кончено лето, эта южная прелесть. Что теперь ждет меня? Пора возвращаться в Париж...» Но она чувствовала, что больше не может жить как прежде... без Шатилова.



От момента отъезда у Ирины осталось только воспоминание прощально поднявшего руку белого силуэта на платформе

вокзала. Она стояла у окна. Мимо летели места, хорошо знакомые ей: полоса пляжа, где они обычно купались, группа живописных скал, скамьи набережной... потом пустой песчаный берег, пиниевая роща, голубой в серебряных блестках залив...

До Марселя Ирина продолжала ощущать в себе какой-то подъем, чувство радостного возбуждения. Память об их прощании, о проведенном накануне дне поднимала ее, делала счастливой. «Нет, не кончится это так... не может кончиться... Слишком все было чудесно», — говорила она себе.

Первое время по приезде в Париж было неожиданно тяжело для нее. Комната, в которой она жила, сама улица, все показалось ей тесным, душным. Сам город был точно безвоздушен после широких морских просторов, вечернего и утреннего неба, раскрывавшегося перед ней на юге. Ей нехватало его красок, его живописной красоты. Все вокруг казалось пыльным, серым, тоскливым. Но уже через два дня стали приходиться открытки, телеграммы, короткие письма от Шатилова и время от времени коробка глазированных фруктов из Ниццы или длинная узкая плетенка с туберозами.

Сколько раз потом Ирина вспоминала эту осень!

Сознание, что Шатилов любит ее, что она нужна ему, окрыляло ее. Она радостно смотрела вперед перед собой, хотя и знала, что с его приездом настанет нечто мучительное... Какие-то таинственные сроки исполнялись. Уже нельзя было просто тонуть в голубом эфире, как какая-то сверкающая бабочка — страдание, она знала это, уже стерегло ее. Но тем более сейчас она еще не хотела знать этого. Все ее чувства обострились. Никогда еще, казалось, она так не любила Париж, его царственную красоту. С утра, часто начинавшегося со стука почтальона, приносившего заказной пакет на ее имя, книгу, цветы или просто открытку с видом одного из тех мест, где они недавно были вместе, она была уже радостно возбуждена, всем существом готова к чему-то необычайному. Поспешно одевшись она выходила на улицу.

Стоял яркий сухой сентябрь. Новыми зрячими глазами она смотрела на все, замечала голубой туман, стоявший в конце улиц, снопы солнечного света, падавшего сверху в их высокие каменные коридоры. Она вынимала из сумочки плотный конверт, надписанный хорошо знакомым крупным решительным почерком, перечитывала страницы его письма на скамье между

платанами или в аллее Булонского леса. За сильно пожелтевшими кустарниками с шелковым шумом неслись автомобили. Дети с криком играли подле островерхого шалэ, крыша которого была крыта камышем. Этот почти обнажившийся лес, эти сквозные аллеи, блеск озера через дорогу — как все это было знакомо, как мирно! Но на этот привычный мир уже пала тень ждущего ее страдания...



На письменном столе, в новой, специально купленной сафьяновой рамке стоял его портрет. Гордое, стремительно обернувшееся лицо, в котором было что-то высокомерное, надменное. Ей нравилась эффектность снимка, но в выражении глаз, в рисунке тонкого красивого рта было и что-то тревожаще-жестокое. Это жестокое мелькало и в его письмах — сухой палящий жар шел от них, и порой она чувствовала дыхание такой неукротимости, что ей невольно становилось не по себе.

Никогда нельзя было знать, что может раздражить его. Припадки его гнева были внезапны. В письмах она с женственной преданностью открывалась ему, рассказывала обо всем, что окружало ее, что, казалось, могло быть достойным его внимания. Письма эти были полны яркой, впервые осознающей себя жизнью. Она писала ему и о светлой осени, и о широких асфальтах Елисейских Полей, по которым так радостно идти быстрым шагом в солнечный сентябрьский день, и о ржаво-рыжей листве королевских каштанов, и о сухом шорохе фонтанов, жемчужно-седым каскадом сыплящихся в вечно взволнованное стекло водоемов. В нескольких строках она описывала подошедшую к ней на улице молодую цыганку, оливковоликую, жестковолосую, одетую в пестрые шелковые лохмотья, перегнувшуюся на бок от тяжести сидящего у нее на руке ребенка, с умоляющей улыбкой протянувшую ей палевые бутоны слабых осенних роз... У нее точно на все открылись глаза, и она спешила передать ему прелесть увиденного... не зная, как этим мучит его.

Письма ее были полны пылкой отданностью ему и вместе с тем неосознанным опьянением молодого лебеда, впервые почувшего, что по бокам у него развертываются сильные молодые крылья, которые в некий час унесут его... Пока она была

его — он знал это, но до каких пор? Уже в этих письмах про-скальзывали ранящие его ноты каких-то враждебных ему само-стоятельных суждений. Случалось, она вкладывала в письмо несколько листов с новыми стихами, и он видел как все ярче и точнее она ставит слова, как намечается за ними новая враждебная ему глубина.

Он остро ревновал ее к этим новым словам, к этой глуби-не... Она могла быть без него счастлива, ей «писалось, как никогда» — она, сама радостно дивясь, сообщала ему об этом — как смела она быть счастливой без него? И в его письмах безудержно прорывалось темное злое пламя, он внезапно обрушивался на какую-нибудь строку ее стихов, называл ее «без-вкусно-символичной», и так как в его душе не было полутонов — выражал свое порицание с такой преувеличенностью, с та-кой резкостью, что ей стоило больших усилий порой не разры-даться... Но не успевала она прийти в себя, осмыслить причину его ярости, как приходило другое письмо, едва хранившее след только что пронесшейся бури, полное такой нежности, таких страстных слов, такой тоски по ее немедленному присутствию, что она терялась и кидалась отвечать ему, не знала жаловаться ли ей на его неистовство или пылко отвечать на его призывы...

Галина Кузнецова

МОЕЙ ДЕВОЧКЕ

У загадки нет разгадки,
У замочка нет отмычки.
Дело, собственно, в повадке,
Дело, собственно, в отвычке:

С «мы» обильным, хлебородным
Распрощаться — и вернуться
К «я» с его водопроводным
Вкусом вымытого блюда.

Мы, да мы, пойдем, поедем,
Повидаем, купим, скажем...
А чтоб высидеть медведем,
Надо быть с медвежьим стажем.

Надо сизнова учиться
По складам ночного мрака:
Освещенная страница.
Спички. Яблоко. Собака.

Начинать с азов придется,
С переключек, с переделок.
Привыкать опять к колодцу
Одиноких посиделок.

Вещи смотрят зорко, строго,
Обычно, обыденно:
Рамка желтая Ван-Гога,
Рамка серая Шардена,

Будней тихие вериги:
Законный ломтик мрака.
Угол локтя. Угол книги.
Свечка. Яблоко. Собака.

ПОЛЫНОК

(Заклинание)

Наколдуй мне, седой, наколдуй, полынок,
Ты повея вдоль нехоженных рвов,
Чтоб ступить на порог, угадать бы срок,
Отворить бы глухой засов.

Ты стелись, полынок, за яры, за бугры,
По тропам Щекавицы-горы.
За зыбучей травой, за бегучей водой
Ты стелись, полынок седой.

За яры, за бугры, до рассветной поры,
Когда ветер траву качнет
И Владимир с крестом иль Яга с пестом
Потайной засов отомкнет.

1966 год, Киев.

ДУШНАЯ НОЧЬ В МАНХЕТТЕНЕ

Тяжело от собаки в ногах.
Тяжело от окна в головах.

С юга дышит в окно океан,
И не свежесть несет, а туман.

Волчьи уши у душевной луны.
Звезды серые задымлены.

Ночь идет по камням, по садам,
По меняющей свет Амстердам...

Сирена, не истеричничай!

Ольга Анстей

ЗВЕЛИНА И ЕЕ ДРУЗЬЯ*

Через три дня после этого разговора с Мервилем, — были сумерки и я только что зажег лампу над моим письменным столом, — раздался телефонный звонок. Я поднял трубку, сказал «алло» — и услышал голос Андрея.

— Я думал, ты в Сицилии — сказал я.

— Я только что оттуда приехал — ответил он — на короткое время. Ты — первый человек, которому я звоню. Можно к тебе зайти? Я здесь недалеко, в кафе.

— Приходи — сказал я — буду рад тебя видеть.

Он пришел через десять минут — не похожий на себя, загорелый, прекрасно одетый. Даже голос его изменился — я никогда не слышал у него этих спокойных баритональных нот, которые теперь стали для него характерны. В его манере держаться, в том, как он говорил, появилась уверенность, которой прежде никогда не было.

— Это на тебя так благотворно подействовало солнце Сицилии? — спросил я. — Судя по твоему виду, можно подумать, что нам всем следует туда ехать и там жить.

— Во всяком случае — сказал он — это в тысячу раз лучше, чем жить в Париже.

— Стоит на тебя посмотреть, чтобы в этом не возникало сомнений. Ты на себя непохож — я хочу сказать, такого, каким мы тебя всегда знали.

— В каком смысле?

— Ну, прежде всего в том, что у тебя больше нет хронической нервной дрожи, которая была раньше, этого несчастного вида, этой постоянной печали, этого срывающегося голоса. Тебя узнать нельзя.

* См. кн. «Н. Ж.» 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

— То, что ты говоришь, доказывает поверхностность твоих прежних наблюдений.

— Поверхностность?

— Да, да — сказал Андрей. — И не только твою, а всех вас. Вы все меня себе представляли совершенно неправильно.

— Я очень рад в таком случае, что мы ошибались — сказал я — но согласись, что наша ошибка была понятна. Ты проводил свою жизнь в постоянном волнении, ты всего боялся и малейшая неприятность вызывала у тебя нервную депрессию. Ты называешь теперь это поверхностными наблюдениями, но ты забываешь, милый мой, что ты был именно таким. Поверхностность здесь не при чем.

— То или иное состояние человека — сказал он (он даже сидел теперь иначе, чем раньше, не на кончике стула, а в глубине кресла) — может быть случайным или органическим.

— Ты собираешься читать мне лекцию по психологии?

— Нет, но я хочу тебе показать, насколько внешние обстоятельства могут действовать на облик человека, могут искажать его, понимаешь?

— Понимаю — сказал я. — Это настолько очевидно, что мы тебя считали инженером, в то время, как ты, в сущности, был по призванию философом, как я теперь вижу.

— Ты неисправим — сказал он, улыбнувшись. — Нет, я не претендую на философские заслуги, предоставляю это тебе и Мервилю, любителям диалогов и отвлеченных рассуждений. Я человек простой. Но то, что вы оба во мне ничего не понимали, это факт.

— Жаль, что Мервиля тут нет. Но ты объясни мне наши заблуждения и если мы были неправы, то мы это признаем.

— Объяснение заключается в том, что я всегда был по природе человеком уравновешенным и спокойным и всегда стремился к той жизни, которая соответствовала бы моему характеру.

— Это ты — уравновешенный и спокойный? Что ты мне рассказываешь?

— Да, да — сказал он — это именно так. Таким я был создан, понимаешь? Но все было против меня — эти трудности,

эти обстоятельства, это отсутствие поддержки со стороны моей семьи — всё. И вот, все это вместе взятое так на меня действовало, что я не мог быть самим собой, таким, какой я в действительности. И если бы я по природе был таким, каким я был в твоём представлении, то есть несчастным, издерганным человеком с больной нервной системой, то никакие внешние изменения не могли бы привести к тому, к чему они, как видишь, привели. Ты со мной согласен? Ты понимаешь теперь твоё заблуждение? И если ты это понимаешь, то имей мужество это признать.

— Охотно — сказал я. — Но что-то тут еще есть, что от меня — и от тебя тоже, я думаю — ускользает. Это все не может быть так просто, как тебе кажется. Я думаю, что не обстоятельства тебя изменили, а ты изменился, потому что обстоятельства стали другими.

— Это риторика.

— Не думаю. Есть люди, которые при всех условиях остаются одинаковыми — несчастье или удача, бедность или богатство, болезнь или здоровье — они не меняются. И есть другие, такие, как ты, которые съеживаются, когда холодно и выпрямляются, когда греет солнце.

— Но если бы твои прежние наблюдения были правильными, то я не мог бы выпрямиться.

— Они были правильны, когда было холодно и стали неправильны при солнечном свете. Другого объяснения я сейчас не могу найти. Но расскажи мне лучше, как ты живешь?

— Я тебе говорю — сказал Андрей — так, как я должен был бы всегда жить.

И он начал мне рассказывать о Сицилии, о небольшом доме на берегу моря, о солнце, купаньи, южных сумерках, итальянской кухне.

— Я с удивлением замечаю — сказал он — что, в сущности, это благополучие и отсутствие забот — все это можно описать в нескольких словах и все будет ясно. У счастливых народов нет истории, это верно. Со стороны может показаться, что мое существование бессодержательно. Действительно, делать мне как будто нечего, это то, о чем я всегда мечтал.

Крепкий сон, вкус кофе утром, солнечный свет, прогулки, обед, отдых, купанье, время от времени поездка в город вечером, несколько книг, иногда даже газета — но это скучно, у меня не хватает терпения дочитать ее до конца. А главное — ни от кого не зависеть, никому ничем не быть обязанным, не думать, как себя надо вести, как надо действовать в таких-то и таких-то случаях. Ты понимаешь, как все это замечательно?

— Сколько времени ты так живешь?

— Около года. И удовольствие, которое я от этого испытываю, теперь не меньше, чем было вначале, я бы даже сказал, глубже.

— Последний раз, когда я тебя видел в Париже, ты был с какой-то девушкой, блондинкой, которой я не знаю. Ты в Сицилии один?

— Эта девушка — сказал он — моя невеста, она живет со мной. Если хочешь, нас с ней свела судьба. У нее тоже в прошлом безотрадное существование, необходимость зарабатывать на жизнь, полнейшее отсутствие перспектив — как у меня. Мы с ней как-то познакомились в ресторане, куда оба приходили во время обеденного перерыва. То, что нас соединяло, ты понимаешь, это печальная жизнь, которую мы тогда вели, и она, и я. Оба мы были обречены на грустную участь, как нам казалось. И ей и мне лучшее будущее представлялось несбыточным. Что произошло потом, ты знаешь.

Да, да, поездка в Перигё и все, что за этим последовало.

Но я хотел тебя спросить — сказал Андрей — как все наши? Что с Мервилем? Как Эвелина? Как Артур?

— Долго было бы рассказывать. Но в общем можно сказать, что все благополучно.

— Ты знаешь... я хотел тебе напомнить... если кто-нибудь из вас окажется в трудном положении, не забывай, что у меня теперь есть возможности, которых раньше не было.

— Я как-нибудь поймаю тебя на слове и отправлю к тебе Артура в Сицилию.

— Скажи ему, что он может приехать когда угодно и оставаться там сколько захочет.

— Для того, чтобы это ему сказать, надо знать где он и что он делает — сказал я. — Ты знаешь, он появляется и исчезает. Он жил у меня некоторое время после того, как вернулся в Париж с юга, но где он теперь, я не имею представления. Эвелину ты можешь увидеть каждый вечер в ее кабаре.

— Оно еще существует?

— До последнего времени существовало. Что будет дальше, не знаю. Жизнь Эвелины, как ты наверное заметил, состоит из последовательности сравнительно коротких эпизодов.

— А Мервиль?

— Мервиль, это другое дело.

— Его жизнь тоже состоит из эпизодов — не таких, конечно, как у Эвелины, но все-таки из эпизодов.

— Состояла, Андрей, состояла, а не состоит.

— Что ты хочешь сказать?

— У меня такое впечатление, что его теперешний эпизод носит окончательный характер.

— Так могло казаться уже неоднократно.

— Нет, нет, раньше каждый раз всем, кроме него самого, было ясно, что это долго продолжаться не может. Теперь это совсем другое.

— Мадам Сильвестр?

— Ее зовут иначе.

— Это меня не удивляет — сказал Андрей. — Она тебе нравится?

— Как тебе сказать? Я ее слишком мало знаю. Но все это гораздо сложнее, чем может показаться на первый взгляд.

— У меня к ней инстинктивное недоверие. Мне, так же как Артуру, почему то кажется, что она должна приносить несчастье тем, с кем она сталкивается. Я никогда не мог отделаться от этого ощущения.

— Ты ее видел раз в жизни.

— Я понимаю, я не высказываю о ней никакого суждения. Но у меня от нее органическое отталкивание. Ты ее встречал в последнее время?

— Нет, я ее видел два раза на юге, этим летом.

— Она в Париже?

— Да. Но она, кажется, не совсем здорова.

— Как ты ко всему этому относишься? Ты всегда играл роль в жизни Мервиля. Ты не мог бы на него повлиять?

— Начнем с того, что в его жизнь я никогда не вмешивался. Затем — как, по твоему, я должен был бы на него влиять?

— Не знаю, подействовать на него в том смысле, чтобы он отказался от этой женщины, пока не поздно.

— В том-то и дело, что это слишком поздно — сказал я.

Андрей пожал плечами. Потом спросил:

— Если я пойду в кабаре Эвелины, я не рискую там оказаться рядом с мадам Сильвестр?

— Нет, можешь быть спокоен.

— Ты знаешь, я соскучился по нашей Эвелине — сказал он. — Я люблю ее откровенность, люблю, что она всегда прямо идет к своей цели, не останавливаясь ни перед чем, люблю эту ее неудержимость. Я с удовольствием ее повидаю. Знаешь, я чувствую себя в Париже чем то средним между туристом и паломником.

— Если к числу святых мест относить “Fleur de Nuit”.

— Нет, верно — сказал он. — Я живу в приличной гостинице — этого со мной раньше не бывало, всегда были какие-то чердаки, где я ютился. И Париж мне сейчас кажется не таким, как раньше, он потерял тот мрачный характер, к которому я давно привык, все в нем как-то легче, яснее и проще.

— И жизнь, в конце концов, не непременно должна быть печальна?

— Нет, не непременно. И в паломничестве тоже есть несомненная приятность. Перед отъездом из Сицилии я с удовольствием думал, как я встречу всех вас — тебя, Эвелину, Мервиля, Артура. Есть вещи, которые не забываются. Ты знаешь, например, что тебе, в частности, я искренно благодарен за то, что ты поехал со мной тогда в Перигё.

— Есть за что — сказал я. — Погода была отвратительная, дорога еще хуже, кормили нас плохо, не говоря уж обо всем остальном.

— Хорошо — сказал он, вставая. — Мы с тобой еще увидимся. Ты не будешь сегодня вечером у Эвелины?

— Не думаю.

— Я тебе позвоню завтра или послезавтра. Вот тебе адрес моей гостиницы и мой телефон.

И он ушел. Даже походка его совершенно изменилась. В прежнее время, когда я видел его со спины на улице, у меня было впечатление, что это идет старый, усталый человек. Теперь в его движениях появилась легкость и гибкость, которых не было раньше. Но за этими, чисто внешними изменениями было что-то другое, чему я не мог найти объяснения. Изменились его суждения, появилась какая-то небрежность, характерная для человека, уверенного в себе — и я думал: неужели то, что в его распоряжении оказались деньги, которых у него не было раньше, могло так на него повлиять и сделать его неузнаваемым? Или может быть он действительно был прав, утверждая, что мы были поверхностными наблюдателями и плохо его знали? Мне, однако, казалось, что таким, как теперь, он раньше просто не мог быть. Он был все-таки сыном своего отца и братом Жоржа, для которых самое важное значение в жизни имели деньги. Но в их представлении они приобретали какую-то почти мистическую ценность, были чем-то вроде безмолвного и могущественного божества, к которому они питали безграничное уважение.

Для Андрея — думал я — деньги тоже имели огромное значение, но в другом смысле. В отличие от своего отца и брата Андрей никогда не был скуп. Но он всегда и почти бессознательно был убежден, что родился, чтобы быть богатым. И оттого, что его судьба до последнего времени была не такой, какой, по его мнению, она должна была быть, оттого, что он был лишен самого главного, он как-то съеживался морально и даже физически — ему всегда было холодно и он вздрагивал от внутренней дрожи. В конце концов, его отъезд в Сицилию, это тоже было неспроста — тепло вместо холода, солнце вместо зимних парижских туманов, свет вместо сумерек. Он проник в тот мир, где, как ему казалось, он всегда должен был жить и где он не мог, конечно, продолжать быть таким, каким был раньше — несчастным эмигрантом в своей собственной стране. И до сих пор, пока не произошло это его переселение в другой

мир, он ненавидел и презирал Жоржа, о котором позже он стал говорить с каким-то снисходительным пренебрежением. — «Все-таки нельзя отрицать его несомненного поэтического таланта и может быть даже — связанной с этим — некоторой индивидуальной ценности и почему слишком строго судить человека, даже если он был убогим? Таким создала его природа». Но о самом главном достоинстве Жоржа он не говорил, а оно заключалось в том, что Жорж умер. Пока он был жив, ему не было оправдания и он заслуживал только ненависть и презрение. Но умерев, он приобрел неожиданную ценность — и те качества, которых Андрей не признавал за Жоржем при жизни, вдруг возникли тогда, когда эта жизнь прекратилась, точно обеспечив ему относительную посмертную славу, которой не было бы, если бы он остался жив. И бесполезные деньги, на которых Жорж сидел, как нищий на груде золота, позволили наконец Андрею вести ту жизнь, которая ему, в сущности, была всегда суждена. Этим объяснялась его удивительная метаморфоза, думая о которой я невольно пожимал плечами.



Я вспомнил, как однажды Жорж, насмешливо глядя на меня, сказал:

— В вашем удивительном союзе твоя роль, это нечто среднее между духовником и юрисконсультom, хотя у тебя нет данных ни для того, ни для другого.

Я вспомнил эти слова, когда ко мне на следующий день после приезда Андрея опять пришел Артур. Он находился в одном из благополучных периодов его жизни — был прилично одет и в глазах не было того беспокойного выражения, которое появлялось каждый раз, когда он оказывался в трудном положении.

— Как твои дела? — спросил я. — У меня такое впечатление, что все в порядке.

— С одной стороны да, конечно — сказал Артур. — У меня сейчас есть регулярный доход, это бывает редко. Но дается это недаром.

— Можно узнать, что именно ты делаешь?

— Я пришел, чтобы тебе это рассказать и с тобой посоветоваться. Ты бываешь в кабарэ Эвелины?

— Очень редко.

— Я там встретил одного человека, которого немного знал раньше. Ты, вероятно, о нем слышал. Его фамилия Ланглуа. Тебе это что-нибудь говорит?

— Ланглуа? — сказал я. — Это старый человек в смокинге, с желтым лицом, похожий на мумию?

— Ты говоришь мумия? Я бы сказал — мертвое лицо, которое иногда вдруг оживает.

— У него, кажется, в прошлом было что-то неблагоприятное, чуть ли не торговля наркотиками?

— Что-то в этом роде — сказал Артур. — Но дело не в этом. Он, понимаешь, живет теперь на покое и у него есть кое-какие средства, повидимому. Этот невежественный, едва грамотный человек и вот, представь себе, у него появились — почему? как? откуда? — непонятно — литературные претензии.

Литературные?

Нелепо, неправда ли?

В конце концов... Но какое значение это всё имеет для тебя?

— Он обратился ко мне с просьбой написать книгу его воспоминаний.

— Какого рода?

— О его личной жизни. Она была, судя по его рассказам, довольно бурной.

— Судебное преследование, аресты, тюрьма, обвинения в шантаже?

— Нет, об этом ни слова. Речь идет почти исключительно о разных женщинах, с которыми он был связан, о их изменах, его огорчениях и так далее.

— Подожди, я что-то вспомнил — сказал я. — Несколько лет тому назад я читал отчет о судебном процессе, где он был обвиняемым. Он был оправдан за отсутствием состава преступления. И там, по моему, говорилось, что он начал свою карьеру с того, что был, если мне не изменяет память, сутенером. К

торговле наркотиками он перешел несколько позже.

— Я этого отчета не читал — ответил Артур — но это меня не удивляет, так оно, вероятно, и было.

— Но тогда что он имеет ввиду, когда говорит об изменах?

— Это сложно — сказал Артур — в этой среде все по-своему. Но, так или иначе, он хочет писать свои воспоминания. И вот, он мне рассказывает, а я должен это излагать в литературной форме.

— Искренно тебе сочувствую.

— Самое грустное, что все это совершенно бессодержательно. Как это ни странно, никакого действия там нет. И всё такие фразы — «она посмотрела на меня и в ее глазах показались слезы» или «я задыхался от волнения, когда должен был ее встретить». В общем мелодраматический вздор, ты понимаешь? Я все это пишу и надо тебе сказать, что это очень трудно. Главное, я не могу найти тона, в котором должен вестись этот рассказ, и не могу найти ритма. Я пришел с тобой посоветоваться — как быть?

— Ты что-нибудь уже написал?

— Да, несколько страниц.

— Прочти мне.

— Хорошо — сказал Артур — ты увидишь, что это такое.

И он начал читать.

— «Я впервые встретил ее на Монмартре. Я сразу же увидел, что она недавно попала в Париж, потому что ее лицо сохраняло ту девическую свежесть, для которой климат Парижа губителен. Когда я обратился к ней и пригласил ее в кафе, она ответила мне с такой искренностью и откровенностью, которые лишний раз убедили меня в том, что еще несколько недель, быть может, тому назад она вдыхала воздух полей и леса. Я тогда же подумал: было бы лучше, чтобы она не знала никогда соблазнов большого города, который привлекал ее к себе и о котором у нее было, конечно, совершенно превратное представление. Как я мог объяснить ей, что ее наивные, почти детские мечты были далеки от действительности? Что в этом отравленном воздухе ей скоро станет нечем дышать? Что ее ждут обманы, разочаро-

вания и неизбежные драмы? Что все это бесконечно печально? Как я мог ей это сказать?»

Артур остановился и сказал:

— И все в таком же роде. Ты не чувствуешь в этом необыкновенной фальши?

— Подожди — сказал я. — Он от тебя требует, чтобы это было написано именно так, а не иначе?

— Нет, но я стараюсь писать приблизительно так, как он говорит.

— Тут ты, я думаю, действуешь неправильно. И оттого, что ты так пишешь, тебе становится противно. Почему тебе не писать по другому? Так, как это свойственно тебе, а не ему?

— Это было бы нечто совершенно иное, это была бы своего рода фальсификация.

— Но то, что ты пишешь и что он тебе рассказывает это тоже фальсификация.

— Да, конечно.

— По-моему, надо писать так, чтобы ты не испытывал отвращения к своей работе.

— А как бы ты это делал?

— Давай попробуем этот отрывок написать иначе. Пиши, я тебе буду диктовать.

Артур послушно стал записывать.

— «После долгих и бесцельных блужданий по городу — я шел, в сущности не зная куда, и это было движение, в котором понятие направления не играло роли, — я вдруг заметил, что оказался на Монмартре. Был конец весеннего дня, наступали сумерки. В эти часы Монмартр был не таким, каким я привык его видеть и каким его видели тысячи и тысячи людей. Не было ни световых реклам, ни этого искусственного вечернего или ночного оживления и даже вход в кабаре, поблизости от которого я остановился, казался тусклым и серым. И я бы сказал, что в этом исчезновении обычного облика Монмартра была своеобразная печаль и напоминание о том, что должно было возникнуть через час или полтора и в чем я всегда видел нечто тягостное и ненужное, — назойливый свет на улице, полутьму там, куда входила публика, этих бедных певцов, этих артисток —

певцов без голоса, артисток без таланта — плохое шампанское, плохие оркестры и судорожные попытки создать несуществующее веселье, потому что, в конце концов, жизнь всех этих людей была продажной и трагической и оттого, что многие из них этого не понимали и не знали, она не переставала быть трагической. Я думал об этом и о многом другом, о чем мне трудно было бы рассказать в нескольких фразах; я шел, не видя перед собой почти ничего, пока почти не столкнулся с невысокой молодой женщиной, которая шла мне навстречу. И тогда, подняв на нее глаза я впервые увидел Антуанетту — и кто бы мог сказать в ту минуту, что потом пройдут долгие годы бурного существования и трагических перемен, но это лицо будет возникать передо мной всякий раз, когда я буду вспоминать о лучших днях, о лучшем времени моей жизни?».

Артур остановился и сказал:

— Сомнамбулический стиль.

— Я не говорю, что надо писать именно так. Но я думаю, что ты можешь позволить себе известную свободу. Это вопрос воображения. Постарайся понять, что характерно в Ланглуа. Его прошлое, это уголовное. Но судя по тому, что он тебе рассказывает, у меня получается впечатление, что у этого старого преступника в отставке душа бедной горничной, которая читает со слезами бульварные романы, где описаны злодеи и добродетельные герои, испытывающие глубокие и благородные чувства. По отношению к тебе, как клиент, он беззащитен. Ты скажешь ему — надо писать так — и он тебе поверит. Пиши как тебе хочется, понимаешь? Если у тебя возникнут сомнения, приходи ко мне, я тебе с удовольствием помогу. Кстати, ты знаешь, что Андрей в Париже?

— Он был в Сицилии, кажется?

— Он приехал на некоторое время, был у меня и спрашивал о тебе. Он неузнаваем. Теперь это спокойный, уверенный в себе человек. Ты помнишь, каким он был раньше? Ничего от этого не осталось.

— У него всегда были волнения и драмы — сказал Артур. — Он на все жаловался, считал себя жертвой и так привык к этому, что я не понимаю, как с ним могло произойти то превращение, о котором ты говоришь.

— Он мне сказал, что мы просто плохо его знали.

— Ну, это он может рассказывать кому-нибудь другому, а не нам. А как Эвелина?

— Я ее давно уж не видел. Кажется, она рассталась или вот-вот расстанется с Котиком.

— И он погрузится в небытие, как все его предшественники. Ты не находишь, что в Эвелине есть какое-то разрушительное начало?

— Я в ней нахожу много начал, милый мой.

— Ты помнишь — сказал Артур — как она уехала навсегда в Южную Америку и через год явилась к Мервилу, как снег на голову?

— Как статуя командора, Артур. Где ты живешь, между прочим? Я хотел бы дать твой адрес Андрею.

— Он найдет меня без труда — сказал Артур — я живу на своей прежней квартире, в Латинском квартале. Ведь свой долг за нее я заплатил.

Когда за ним захлопнулась дверь, я подумал о работе, которой он теперь занимался и о его клиенте. Мне пришлось в жизни встречать людей такого типа. Для них всех было характерно одно: уйдя на покой, они чувствовали себя совершенно растерянными. Но большинство из них действительно питало слабость к мелодраматическим эффектам, торжеству добродетели и наказанию порока, хотя вся их жизнь была, казалось бы, опровержением этого и отрицанием положительной морали. Конечно, Артуру было трудно понять психологию такого человека, как Ланглуа. Тот факт, что они говорили на одном языке, никаких трудностей не разрешал. Оставалось одно: писать книгу так, как если бы Ланглуа был похож на Артура.

— Но все-таки — думал я — это лучше, чем то зыбкое существование, которое вел Артур, когда он оставался один. Его особенность заключалась в том, что он не умел зарабатывать деньги и я помнил — за все время — только один случай, когда Артур получил сравнительно крупную сумму. Это было несколько лет тому назад. Он познакомился где-то у своих друзей с молодой и красивой женщиной, которая считала себя балериной или, вернее, чувствовала призвание к балету: она жила на содержании очень состоятельного человека, который был го-

тов субсидировать постановку спектакля, где она должна была исполнять главную роль. Сюжет этого представления она придумала сама. Она была полна иллюзий по поводу своих данных, но в том, что касалось литературной обработки сюжета, она понимала, что ей был нужен человек, который мог бы это сделать: в этой области у нее не было никаких претензий. Она поручила это Артуру.

В свое время он рассказывал нам содержание балета и Мервиль, слушая его, пожимал плечами — там была пустыня, в которой стоял неизвестно как попавший туда диван, на нем лежала героиня и над ней застывали рабы с опахалами. Она говорила, что эти второстепенные персонажи должны были поддерживать ее роль, как она выражалась. — Как веревка поддерживает повешенного — сказал Мервиль.

Артур предполагал, что это было своеобразное соединение «Аиды» и одной из пьес знаменитого поэта и драматурга, где в «кавказской пустыне» — это не может быть случайным совпадением — сказал Артур — стояло дерево, к которому была прибита гвоздями несчастная принцесса: знаменитый поэт не знал, что пустыни на Кавказе не было. — А если бы она даже была — сказал я — то откуда в пустыне могли появиться дерево, молоток и гвозди? Но так или иначе, Артур произвел литературную обработку этого сюжета и получил за это деньги, на которые он тотчас же заказал себе несколько костюмов и рубашек с вышитыми на них его инициалами. Балетный спектакль был представлен один раз и больше не повторялся и Артур потом избегал встречи со своей заказчицей, почему то думая, что в этой неудаче она может обвинить его. Он вздохнул свободно только тогда, когда она покинула своего прежнего покровителя, вышла замуж за какого-то американца и уехала с ним в Соединенные Штаты, забыв о балете, пустыне, диване, рабах, опахалах, об Артуре и деньгах, которые она ему заплатила и всецело погрузившись, вероятно, как он нам сказал, в свое новое счастье. — Но что такое счастье в ее представлении? — Опасный вопрос — сказал Мервиль. — Я неоднократно думал о том, что многие слова имеют, если так можно выразиться, несколько этажей. Самый нижний этаж, это твоя заказчица. Са-

мый верхний этаж, это, скажем, тот или иной философ. А слово одно и то же. Вот почему, в частности, люди иногда не понимают друг друга. — Никто лучше тебя этого не знает — сказал я — тут мы с тобой спорить не можем. Но есть этажи и есть еще разный смысл, который придает некоторым словам. Я помню, что двое моих знакомых часто употребляли слово «неприятности». Но у одного это значило конфликты сентиментального характера. У другого «неприятности» значило — тюремное заключение. В конце концов, оба были правы: это действительно были неприятности и в том и в другом случае.

— Самое важное, это чувства, которые придают смысл словам — сказала Эвелина. — Я говорю: «я тебя люблю». Но какое разное содержание вкладывается в эти одинаковые слова!

— Как в слово «неприятности» — сказал я.

Все это происходило несколько лет тому назад и с тех пор прошло много времени. Эвелина имела возможность неоднократно проверить, насколько смысл этих трех слов «я тебя люблю» может быть разным, Артур мог убедиться в том, что некоторые виды человеческой глупости — как, например, неправильное представление об артистическом призвании — редко приносят доход и надеяться на вторую заказчицу этого рода не приходилось. Но одна из особенностей нашего союза заключалась в том, что время там не играло роли — не все ли равно, было ли это вчера или пять лет тому назад? И только в последний год произошли изменения, о которых я часто думал — появление Лу в жизни Мервиля, смерть Жоржа и расцвет Андрея, увлечение Эвелины метампсихозом и Котиком, которое отличалось от других ее романов тем, что заставило ее наконец понять некоторые вещи и может быть впервые задуматься над своей собственной судьбой.

Она пришла ко мне, на этот раз даже не позвонив по телефону. Были сумерки ноябрьского дня. Она вошла, сняла свою шубку — ту самую, в которой она явилась к Мервилю после возвращения из Южной Америки, — и осталась в черном платье. На ее шее было жемчужное ожерелье, как в ту ночь, когда происходило открытие ее кабарэ, почти год тому назад. Я обратил внимание на непривычную для нее медлительность

движений, выражение ее глаз, задумчивое и печальное и ее изменившийся голос, который, как мне показалось, стал ниже и глубже. Она прошла в мою комнату, где горела лампа только на моем письменном столе и села в кресло. Свет падал на ее лицо, оставляя все остальное в тени.

— Ты знаешь, о чем я вспомнила, когда вошла сюда? — сказала она. — О том, что ты мне как-то сказал: «Эвелина, пока мы существуем, Мервиль и я, что бы с тобой ни случилось, ты можешь придти к нам и твоя жизнь будет обеспечена, тебе не надо будет заботиться ни о крове, ни о пропитании».

— Надеюсь, ты не сомневаешься, что я готов это повторить?

— О, нет — сказала она — в этом я никогда не сомневалась. Я это всегда знала.

— Но этого, вероятно, никогда не произойдет.

— Ты думаешь?

Что-то меня поразило в ее интонации. Я посмотрел на нее, — в ее глазах были слезы.

— Что с тобой? — спросил я. — В чем дело, Эвелина?

Она вытерла пальцем слезу, оттягивая вниз рот. Потом она сказала:

— Глупости, не обращай внимания. Я хотела с тобой поговорить об очень важных вещах и вот, не знаю, как начать.

Если бы она мне это сказала при других обстоятельствах, раньше, я бы ей ответил, что это на нее непохоже, она всегда знала, как и о чем говорить. Но я чувствовал, что сейчас этого сказать нельзя.

— Вероятно, у каждой женщины в жизни наступает время, когда она задает себе вопрос: что будет дальше? Но я думаю не о других, а о себе. Опустит, пожалуйста, абажур, свет мне прямо в лицо.

Я передвинул лампу и Эвелина ушла в тень, так что ее голос доходил до меня из полутьмы. Я еще раз подумал о том, насколько он изменился; мне казалось, что если бы я услышал его из соседней комнаты, не зная, что это говорит Эвелина, я бы его не узнал. Это было, конечно, неверно, но мне так казалось оттого, что Эвелина говорила не так, как обычно и не то, что обычно.

— Одно ясно — сказала она. — То, что глупее жить, чем я жила до сих пор, трудно. И я устала от этой глупости.

— Я не хотел бы тебя прерывать — сказал я — моя роль сегодня, это скорее роль слушателя, чем собеседника. Но все-таки, если ты против этого не возражаешь, один вопрос: Котик попрежнему с тобой?

— Мы расстались с ним позавчера — сказала она. — Ты знаешь, я чувствовала свою вину перед ним — нет, нет, не пожимай плечами. Я не сказала ему, что я думаю о его философии, я не сказала, что с моей стороны все это было не так, как нужно и что все в общем случилось только потому, что он был непохож ни на кого из тех, кого я знала раньше. Это было нехорошо — ты со мной согласен?

— Мне кажется, было бы лучше, если бы этого не было. Но не только оттого, что это было нехорошо по отношению к Котику. Ты вела себя, скажем, не так, как нужно, по отношению к самой себе. Я тебе говорил об этом.

— Когда Котик уходил, я дала ему чек — у него нет денег, ему будет трудно, ты понимаешь? Ты можешь себе представить, как он на это реагировал?

— Он тебе его вернул?

— Почему ты так думаешь?

— Это для него было бы естественно, мне кажется.

— Он его вернул и сказал, что я потеряла лучшее, что я знала в жизни.

— Доступ в тот мир, который...

— Да, все то же самое. Но у меня никогда не было так тяжело на сердце, как в день его ухода. Ты это понимаешь? А я его по настоящему не любила, теперь это для меня яснее, чем когда бы то ни было. Откуда же эта печаль?

— Будем откровенны до конца, Эвелина. Хочешь, я скажу это за тебя? У тебя так тяжело на сердце не потому, что ушел Котик, что он уйдет, это ты знала давно, а оттого, что ты, первый раз может быть за всю жизнь пожалела себя. Сколько у тебя было романов?

— Много — сказала она, понизив голос.

— А я думаю, ни одного, Эвелина, ты понимаешь? Ни одного. О том, что было, не стоит говорить. Ты никогда никого не

любила. Ты никому, ни одному человеку, не дала того, что у тебя есть. Поэтому ни одно твоё увлечение не продолжалось больше нескольких месяцев. И ни одно из них нельзя было назвать настоящим человеческим чувством. Что может быть печальнее этого? Ты это поняла только теперь?

— Нет, уже некоторое время тому назад — сказала она, поднимаясь с кресла. — Мне надо уходить.

— Почему?

— Я вижу, что я должна ещё о многом подумать.

— Теперь, мне кажется, торопиться тебе не нужно. Вспомни золотое правило: если ты выигрываешь в скорости, ты теряешь в силе. Ты теряешь в скорости, но выигрываешь в силе. Перенеси этот закон в область человеческих чувств.

— Это, может быть, неплохой совет — сказала она. — Но ещё лучше, мне кажется, забыть о законах и логике — и это то, что должен был бы сделать ты. Ты не думаешь?

(Окончание следует)

Гайто Газданов



Вошел, как вестник
Иных миров, —
Светло-суров, —
Коснулся песни
Концом жезла —
И душу сузил
В горячий узел
Добра и зла.
Кто славу любит,
Он узел тот
Легко разрубит,
По нем пройдет.
Кто правды жаждет,
Тот занемог —
Того развяжет
Последний вздох.



Говорили мудрые люди,
Будто время — только одно:
То, что было и то, что будет,
В настоящее вплетено.
Значит, где-то еще вдвоем
Мы весенней рощей бредем...
Сколько света в первой листве!
Сколько белых фиалок в траве!
Хорошо, что памяти нет
О печали грядущих лет.



Жизнь была натянута как парус,
Полный ветром солнечного дня,
Но к поре закатного огня
Штиль упал — и наступила старость.
И она мой парус убрала,
Скрипнула уключиной весла,
И — на мой недоуменный зов —
«Доплывешь теперь без парусов!»

Лидия Алексеева

ПРЕДИСЛОВИЕ К “КОТИКУ ЛЕТАЕВУ”

В разговоре с известным геологом я был живо заинтересован однажды его мнением: возможно ли изучение наших переживаний на фоне знания нашего о древнейших фазах органической жизни, т. е. возможна ли *палеонтологическая психология*; помнится, в разговоре с геологом я высказал предположение: не есть ли миф о драконе — смутная родовая память о встречах с ископаемым птицеящером (птеродактилем); эта мысль — не встретила возражения со стороны профессора геологии.

В романе Джека Лондона встречается нас та же мысль: сон о падении не есть ли вписанный в инстинкт период жизни на деревьях?

Психофизиологические ощущения роста, прорезывания зубов и т. д. и есть та *палеонтология*, которая ведома каждому; это — детство; не каждый лишь живо помнит (у одного память короче, у другого длиннее); меня поразили факты: один эпизод моего детства, который я 20 лет считал кошмаром, оказался фактом; но восприятие факта было иное, чем сам факт; тема “*Котика*” есть подчёрк: *дети иначе воспринимают факты*; они воспринимают их так, как воспринял бы их допотопный взрослый человек. Выростая, мы это забываем; проблема умения, так сказать, вырнуть в детскую душу связана с умением раздуть в себе намок на угаснувшую память — в картину.

Это и есть тема “*Котика*”.

Есть ли подсознательная *память*? Наука отвечает: “*Есть*” (в состоянии гипноза человек воспроизводит речь на неизвестном языке, когда-то слышанную, но забытую в сознании); ребенок начинает сознавать еще в полусознательном периоде; он сознает, например, процессы роста, обмена веществ, как своего рода мифы ощущений; взрослый — не сознает, и оттого: **взрослый** на

От лица, проживающего на Западе, которое было близко к А. Белому, мы получили несколько неопубликованных рукописей Андрея Белого и рукописей о нем. Все это мы напечатать в ближайших книгах «Н. Ж.». Сейчас мы даем первую — «Предисловие к «Котику Летаеву», написанное А. Белым в 1928 году. РЕД.

80% забывает то, что с особенной живостью он же переживал младенцем; он забывает, например: всякую метафору он переживал, как реальность; отсюда — органический мифологизм, сон наяву, от которого позднее освобождается сознание (после 4-х лет); сперва ребенок верит в реальность метафорических мифов; потом — играет в них (период “Сказки”); и потом уже ребенок мыслит абстракциями. Эта *палеонтология* сознания впоследствии во взрослом вполне лежит уже за порогом сознания; ребенку этот порог полуткрыт так же, как и *темя его еще не заросло*.

К стыду взрослых, они, перевлеченные кругом собственных интересов, слишком забывают детство в себе; память у них часто недопустимо укорачивается.

Вторая тема “Котика”, обоснованная научно: порог сознания — “передвижим”, память — укрепляема и расширяема; забытое сознанием при упражнении с вниманием и памятью извлекаемо из-под порога сознания; художники особенно любят извлекать этот палеонтологический инвентарь; вспомните Пушкина: “Я понять тебя хочу, темный твой язык учу”; знать ребенка надо; а это значит: знать генезис в нем взрослого; думать, что трехлетний думает по логике Аристотеля — просто глупость; фактически почти каждый отец проводит эту глупость в жизнь; и говоря “Он упал в обморок”, не объясняет ребенку метафоры “упал”; ребенок же думает: обморок — нечто вроде погреба, куда падают; и миф — готов.

Природа наделила меня необыкновенно длинной памятью; я себя помню (в мигах), боюсь сказать, а — приходится: на рубеже 3-его года (двух лет!); и помню совсем особый мир, в котором я жил.

Я помню, например, бредовые кошмары, вызванные scarlatinой (на рубеже 3-ьего года); именно в период этой болезни — начало становления моего “я”; так первая глава “Котика” зарисовывает этот scarlatinный период; вторая — месяц следующий, т. е. выздоровление; и лишь с 3-ьей главы обычное начало “Первых лет жизни”; чем я виноват, что у меня *не короткая память*, что природа наделила меня способностью помнить трудноописуемые в слове более ранние моменты становления сознания, которые и явились своеобразным основным фоном последующих лет? Четырехлетний я уже припоминаю себя, двухлетнего; и в этой редакции *четырёхлетнего* я, уже взрослый, имею суж-

дения о более ранней фазе моей жизни, обычно угаснувшей (что делать, — уродство, подобное несросшемуся теменю); по моему же: лучше выступать из нормы *долготой* памяти, чем *короткостью*.

Но в моих “*субъективных*” бредах есть далеко не субъективный, наукою еще не до конца изученный материал; например: анкета кошмаров показывает: мою “*Старуху*” знают многие дети (вероятно, — какая-нибудь физиологическая особенность, связанная с “*ростом*”); что явления “*роста*” воспринимают младенцы, что потом восприятие атрофируется, — тоже факт, а не “*мистика*”: факт, вероятно, ученые нам осветят. Вообще: должен сказать, что темнота переживаний — не темнота мистики, а темнота естественного феномена: темнота эпохи становления всякого “я”; и — память о ней; она скорее говорит о ясности сознания взрослого, помнящего свою темноту.

Геккель, перенесенный в душу, и Гегель, или история становления культурных фаз мысли, освещенный в свете Геккеля, — вот примысл к “*Котику*”: рабочая гипотеза, оформляющая мне факты моей памяти. Ничего трансцендентного в “*Котике*” нет: все — имманентно; не “элейцы”, не “*мистика*”, скорей Гераклит, Аристотель, Гегель и Геккель реяли над моей мыслью, погруженной в воспоминания своего, мне ведомого детства, когда я стоял перед темой “*Котика*”. Считаю это нужным подчеркнуть.

Андрей Белый, 1928 г. Ноябрь. Кучино.



Я стою под березой двадцатого века.
Это времени самая верная вежа.

Посмотри — на меня надвигаются ветки
Исступленнее, чем в девятнадцатом веке.

Надо мною свистят они так ошалело,
Будто шумно береза меня пожалела,

Словно знает береза: настала пора
Для берез и поэтов — пора топора.

Словно знает береза, что жребий наш черен,
Оттого что обоих нас рубят под корень,

Оттого что в каминах пылают дрова,
Оттого что на минах взрывают слова.

Я стою — и тоски не могу побороть я,
Надо мною свистят золотые лохмотья.

Вместе с ветками, руки к потомку тяну я,
Я пошлю ему грамоту берестяную.

И правдиво расскажет сухая кора
Про меня, про березу, про взмах топора.

Иван Елагин

МИХАИЛ ЧЕХОВ О ТЕАТРЕ

ПУБЛИКАЦИЯ Г. П. СТРУВЕ

Печатаемая ниже статья М. А. Чехова была написана в 1931 г. Она была заказана ему, по моему совету, парижским журналом "Ле Муа". Журнал этот, выходивший в 1931-32 гг., был совсем нового типа для Европы. Кое-чем он напоминал американский "Тайм", будучи "энциклопедическим" по содержанию (в нем были отделы политический, литературный, театральный, художественный, научный, технологический, финансово-экономический и т. д., и он печатал в каждом отделе "злободневные" иллюстрации). Но в отличие от "Тайм" и ему подобных журналов, он выходил ежемесячно, толстыми книжками. В каждом отделе печаталась специально заказанная статья какой-нибудь "знаменитости" (часто очередной) в данной области или же человека, еще не ставшего знаменитым, но обратившего на себя внимание. В том же номере помещалась статья об этом человеке, но она, как и все остальные статьи и заметки, печаталась анонимно.

Журнал редактировался двумя молодыми французами (фамилия одного из них была Жак), которые набрали штат постоянных сотрудников. Среди этих сотрудников было много русских эмигрантов, хорошо владевших языками и считавшихся "специалистами" в той или иной области. Так, в литературном отделе постоянно участвовали К. В. Мочульский и В. В. Вейдле, в научном — Ю. Делевский, в политическом и экономическом — С. С. Ольденбург. Последний и привлек меня в журнал, и я в 1931 и 1932 гг., до своего переезда в Англию, напечатал в журнале ряд статей о русской, английской, американской и немецкой литературах, не говоря о большом количестве коротких рецензий и заметок. Среди моих статей о русской литературе были статьи о Бунине, Набокове, Алданове, Пильмяке, о книге И. Эренбурга и О. Савича "Мы и они" и т. д.

Через меня редакция иногда заказывала статьи известным

писателям, причем обычно в том же номере печатался литературный “портрет” этого писателя. Так, через меня и по моему почину, была заказана статья В. В. Набокову, и в одном номере с нею был напечатан (анонимно) мой “портрет” его (помимо статьи о его творчестве в другом номере). Через меня же была заказана статья английскому писателю Хью Уэльполю, последние романы которого имели тогда большой резонанс во Франции.

В 1931 г. я посоветовал Жаку, с которым обычно имел дело (он был, кажется, младшим редактором или помощником редактора), заказать статью о театре М. А. Чехову.

Помню, что я воспользовался его пребыванием в Париже, побывал у него в гостинице и говорил с ним о такой статье. В результате этого разговора я в июле 1931 г. получил его статью, которую он озаглавил (по-французски) “Театр умер — да здравствует театр!” Статья эта была прислана при письме, подписанном В. Грозовым — если не ошибаюсь, одним из близких его сотрудников. Он писал: — “Ввиду краткости срока Михаил Александрович не имел возможности отделать статью редакционно. Он был бы Вам очень благодарен, если бы Вы внесли те стилистические поправки и сокращения, которые Вы найдете нужным. Так как Мих. Ал. уехал временно из Парижа, я всегда к Вашим услугам, в случае если понадобится поговорить о чем-либо в связи со статьей”.

По каким-то причинам статья М. А., повидимому, так и не была напечатана в журнале. Ее русский оригинал сохранился в моих бумагах. По-русски она в печати не появлялась, как засвидетельствовала вдова М. А., Ксения Карловна Чехова, с разрешения которой статья это теперь и предлагается читателям “Нового Журнала” в том виде, как она была написана.

Г. С.

LE THEATRE EST MORT! VIVE LE THEATRE!

Теперь, когда положение театра так трагически трудно — именно теперь хочется написать не статью о театре, а гимн театру, великую ему хвалу, и притом хвалу не столько за блиста-

тельное прошлое и за мучительное настоящее, сколько за те необыкновенные, огромные возможности, которые заложены в Будущем Театре.

Театральные залы пустуют. С каждым вечером подсчет кассы доставляет все больше и больше огорчений театральным директорам. Всем своим отношением зрители с жестокой ясностью показывают, что театр в их глазах потерял и авторитет, и обаяние, и силу. Однако, было бы очень неверным говорить, что зрители **вдруг** разочаровались в театре и покинули его в то время, как театральные деятели этого не ожидали, считая, что в театре все обстоит отлично и благополучно. Только в таком случае можно было бы говорить, что кино, например, оказалось более сильным, и театр должен погибнуть, не будучи в силах с ним конкурировать. Однако, все это не так: каждый серьезный и честный театральный деятель значительно раньше, чем начались катастрофические падения сборов — мог видеть, как мельчало и гибло, погружаясь в чрезмерный натурализм, хаос и низменные темы, — само театральное искусство. Это совершалось явно и определенно вело к охлаждению публики по отношению к театру. То, что публика констатирует в театре сейчас, для театральных деятелей было ясно уже давно.

Совершенно так же можно проанализировать современное положение театра и с другой стороны: если публике кажется, что театр сейчас недостоин никакого внимания и не имеет никакой цены — то театральные деятели, наоборот, предчувствуют и даже знают, что театр миновал уже свою мертвую точку и находится на пути к медленному, но верному возрождению.

И совершенно так же, как естественно параллельно с внутренним падением самого театра пришли материальные затруднения и театральные крахи — так же естественно поведет внутреннее возрождение театра к победе над этими затруднениями и крахами.

Исходя именно из этого предчувствия Будущего Театра — хочется позволить себе сказать хотя бы несколько слов об этом внутреннем возрождении театра и о величайших возможностях, заложенных в театральном искусстве — хочется сделать хотя бы слабую попытку описать то, что мерещится впереди, на театральном горизонте.

Будущий Театр требует для своего внутреннего возрождения прежде всего обновления самих театральных работников,

полного перевоспитания актера и режиссера. В Будущем Театре искусство речи и жеста, также фантазия будут в корне переработаны путем целой системы новых упражнений. Тогда откроется возможность обновления на сцене классических произведений, раскрытия духовных и художественно-сценических сокровищ, заложенных в сказочно-легендарном народном творчестве. Кроме того тогда же станет возможным нащупать и выявить подлинно-глубокий нерв при постановке пьес на современные темы.

Сценическая речь выйдет из теперешнего натуралистически-хаотического состояния и путем специальной работы обретет художественно-прекрасную и духовно-глубокую выразительность, которая будет понятна каждому зрителю вне зависимости от языка, так как художественная убедительность речи далеко превосходит пределы узкого рассудочного смысла слов. В этом первый залог международной будущего театрального искусства.

Искусство жеста испытает такое же изменение и сделает тело актера инструментом, способным выразить самые тонкие, трепетные, глубокие и острые темы. Такое искусство речи и жеста поведет к тому, что актеры постепенно станут все более и более овладевать сердцами и умами зрителей, ибо сценическое искусство начнет давать ответы на самые глубокие и насущные запросы человеческой души.

Фантазия актеров и режиссеров выйдет из состояния хаоса, рассудочности и произвола. Тогда актеры и режиссеры рассмотрят в своих будущих пьесах самое значительное, самое острое, самое нужное, самое светлое — и передадут это зрителям при помощи новой речи и новой выразительности тела. Благодаря этому Будущий Театр станет настолько мощным, что обретет снова художественное право и возможность ставить и разрешать значительные вопросы морали и касаться самых глубоких тем человеческого бытия.

Ныне же актеры потеряли это внутреннее право. Натурализм привел актеров к отсутствию желания работать над собой и углублять область театрального искусства. И это совершенно естественно, так как на сцене все свелось лишь к подражанию жизни. Актеры забыли и растеряли тайны своего творчества. Они стоят перед зрителем как бы обнаженные и беззащитные. И зритель с чувством превосходства критикует их и с чувством разочарования поворачивается к ним спиной.

К тому же театральное искусство в целом на пути своей эволюции утратило внутреннюю связь всех своих элементов. Осталась лишь внешняя, так сказать, механическая связь. Это лишает театр силы его убедительности, позволяет зрителю легче напасть на театр и свергнуть его с пьедестала.

Будущий Театр спасется и снова приобретет свое утраченное величие не тем, что усилит или усовершенствует какой-либо один из своих элементов, как это часто теперь думают. Театр будет спасен не режиссером, не актером, не драматургом в отдельности. Ни музыка, ни роскошь декораций и костюмов, ни трюки, ни все более сложные театральные машины — ничто это в отдельности не спасет театрального искусства.

Будущий Театр будет велик прежде всего тончайшим умением синтезировать свои элементы. Более того, сила Будущего Театра — насколько это возможно предчувствовать — заключается в тех новых театральных возможностях, которые возникают из художественно-осмысленного сочетания всех элементов сценического искусства. Появится как бы новая наука сценической композиции. Актеры по-новому увидят свои роли, исходя из композиции всех образов данной пьесы. Режиссеры дадут разительные новые постановки, постигнув секрет сочетания не только актера с его партнерами, но также актера и освещения, актера и декорации, актера и музыки, — и более того: музыки и декорации, речи и освещения и т. д. и т. д., как бы абстрактно и парадоксально ни звучало все это для нас сейчас.

Зародыши этой великой силы Будущего Театра, появляясь даже в намеках, всегда и безусловно восторгают зрителей, так как, повидимому, удовлетворяют самое глубокое и насущное стремление человеческой души: к единству, к цельности. Это суть, так называемые: «хороший ансамбль», «сыгранность актеров», «гармония красок и форм в декорации» и т. д.

Все это получит мощное развитие в Будущем Театре и родит на сцене такое великолепное, светлое и мощное чувство цельности и гармонии — что театр добьется полного овладения сердцами и умами зрителей, без различия состояния сознания и степени развития каждого данного человека, сидящего в зрительном зале. Это наполнит залы театров и возродит в новых формах единодушную любовь к театральному искусству, любовь, которой это искусство пользовалось как при своем возникновении, так и во все лучшие эпохи своей эволюции.

И если даже все вышеизложенное является односторонним

представлением о Будущем Театре, если многие детали сказанного ошибочны или субъективны — тем не менее светлое и огромное будущее театрального искусства так несомненно, что искренно хочется воскликнуть: *Vive le théâtre!*

Михаил Чехов



*Продлись, продлись очарованье.
Ф. Тютчев.*

Мой голос, окаймленный лунным светом,
Летит назад туда,
В “те баснословные года”
И будит
Глубоким сном уснувшее блаженство,
Блаженство, что тогда
Мне не было дано узнать
И что теперь
Мне согревает сердце.

Ведь старость —
Тихий вечер жизни —
Несет с собою лампу Аладдина,
Рассеивающую скуку
Жалких будней
И ужас неизбежной смерти,
Все превращая
В очарованье.



Луна качается на облаках
То умирая, то воскресая.
Я, как вам я кажусь такая,
Существую только в стихах,
А не в жизни.
С какой же стати
Стану вам я, мой друг-читатель,
Под изменчивой луной
Назначать свидание со мной?

Ирина Одоевцева

ШИФР ПУШКИНА*

В «Повестях Белкина» есть два места, обычно в пушкиноведении не сопоставляемых: вступление ко всему циклу — «От издателя» — и вступление к «Станционному зрителю». Однако, эти части находятся в скрытом взаимоотношении, и их стоит рассмотреть совместно.

По фиктивной истории «Повестей Белкина» (а такая история существует наряду с вымышленным автором, рассказчиками и издателем повестей) произведение Белкина было снабжено общим вступлением уже после его смерти. Вступление же к «Станционному зрителю» было написано самим Белкиным со слов титулярного советника А. Г. Н.

Титулярный советник А. Г. Н. является одним из интереснейших персонажей в прозе Пушкина. Это увлекательный рассказчик и будущий литератор. Это внимательный наблюдатель, изъездивший всю Россию, человек недюжинного ума, меткого юмора и либеральных взглядов. Есть все основания предположить, что ради его размышлений и шуток было написано вступление к «Станционному зрителю» и что место этому вступлению не после «Гробовщика», а в самом начале белкинского цикла, где бы оно служило как бы зачином всем повестям.

Особенно интересна для настоящей работы последняя часть вступления. Наговорившись о несправедливом отношении к сословию зрителей, А. Г. Н. переходит к своим размышлениям более общего порядка: «Будучи молод и вспыльчив, я негодовал на низость и малодушие зрителя, когда сей последний отдавал приготовленную мне тройку под коляску чиновного барина». Далее негодование молодого человека ставится в забавный контекст: «Столь же долго не мог я привыкнуть и к тому, чтобы разборчивый холоп обносил меня блюдом на губернаторском обеде». Затем следует крутой поворот от

* Из готовящейся к печати книги.

либерализма к зрелому, консервативному взгляду на вещи: «Ныне и то и другое кажется мне в порядке вещей». Что же, собственно, «в порядке вещей?» — спрашивали, вероятно, друзья Пушкина, смеясь, но для рядового читателя, как и для цензора, благонамеренный тон был установлен. В этом же тоне А. Г. Н. будто бы и продолжает: «В самом деле, что было бы с нами, если бы вместо общеудобного правила: **чин чина почитай** ввелось бы в употребление другое...» Читатель ждет какой-то нелепости, но А. Г. Н. из-под личины консерватизма внезапно поражает в самое уязвимое место чиновничьей иерархии: «...например: **ум ума почитай?**» заканчивает он свою фразу. «Какие возникли бы споры!» — продолжает издеваться А. Г. Н. В черновиках Пушкина за этим местом следовало «кто бы их решил?» Этот явный намек на верховного судью всех споров в империи Пушкин благоразумно изъясил, однако, сарказм рассказчика А. Г. Н. из-за этого не пострадал.

Основная идея этого отрывка тесно соприкасается с мыслями Пушкина, изложенными им в «Записке о народном образовании», подготовленной по требованию Николая I. Там, между прочим, говорилось: «Чины сделались страстью русского народа. Того хотел Петр Великий, того требовало тогдашнее состояние России. В других землях молодой человек кончает круг учения около 25 лет; у нас он торопится вступить как можно ранее в службу, ибо ему необходимо 30-ти лет быть полковником или коллежским советником».

На эту записку последовал ответ императора, переданный через Бенкендорфа в письме от 23.XII.1826 г. Между прочим, в нем говорилось: «Его Величество при сем заметить изволил, что принятое вами правило, будто бы просвещение и гений служат исключительным основанием совершенству, есть правило опасное для общего спокойствия... Нравственность, прилежное служение, усердие предпочесть должно просвещению неопытному, безнравственному и бесполезному». В свете этого обмена взглядами между поэтом и императором шутки А. Г. Н. приобретают для нас некое новое звучание. В «Станционном смотрителе» Пушкин повторил свои мысли печатно, лишь прикрыв их веселыми, шутливыми интонациями вымышленного А. Г. Н. В обоих случаях ум и чин противопоставляются друг другу. Поэту А. Г. Н. говорит о смотрителях, чиновниках 14-го класса: «Что касается до меня, то, признаюсь, я предпо-

читаю их беседу речам какого-нибудь чиновника 6-го класса, следующего по казенной надобности». Белкину мысли А. Г. Н., должно быть, были дороги: он их воспроизвел с большой тщательностью.

Мы уже говорили, что крамольные мысли титулярного советника А. Г. Н. замаскированы юмористической формой и шутиливой, небрежной интонацией рассказчика. Этот прием камуфляжа, или просто шифра, применяется, как будет показано ниже, и во вступлении ко всему циклу повестей — «От издателя».



Издатель повестей А. П., перед тем, как полностью привести текст письма соседа Белкина, пишет об этом письме следующее: «Помещаем его безо всяких перемены и примечаний,¹ как драгоценный памятник благородного образа мнений и трогательного дружества, а вместе с тем, как и весьма достаточное биографическое известие». Неискушенный читатель не замечает, что в письме соседа издатель, вопреки своему обещанию, произвел значительные перемены — исключил какой-то анекдот и снабдил это письмо примечаниями. Первое примечание — об исключенном анекдоте, а второе — о лицах, от которых Иван Петрович слышал свои повести. На этом втором примечании мы остановимся и поэтому приведем его целиком: «В самом деле, в рукописи г. Белкина над каждой повестью рукою автора надписано: слышано мною от такой-то особы (чин или звание и заглавные буквы имени и фамилии). Выписываем для любопытных изыскателей: «Смотритель» рассказан был ему титулярным советником А. Г. Н., «Выстрел» — подполковником И. Л. П., «Гробовщик» — приказчиком Б. В., «Метель» и «Барышня-крестьянка» — девицею К. И. Т.» Издатель приводит перечень рассказчиков повестей непосредственно из рукописи, причем создается впечатление, что он прямо переносит их в свое примечание. Таким образом, читатель как бы заглядывает через плечо издателя в рукопись Белкина и видит, что Белкин написал свои повести не в том порядке, в котором издатель А. П. решил их опубликовать. Первой повестью в рукописи Белкина был «Станционный смотритель», второй — «Выстрел»,

¹ Подчеркнуто мной. А. К.

третьей — «Гробовщик», четвертой — «Метель» и последней — «Барышня-крестьянка».²

Трудно предположить, чтобы изменения в тексте, нарушающие обещание издателя, т. е. пропуск анекдота о Белкине и примечание о рассказчиках, были включены Пушкиным по небрежности или недосмотру. Создавшемся противоречием Пушкин привлекает внимание читателя или, вернее, изыскателя. Пушкин старается удивить изыскателя и заставить его задуматься над вопросом — зачем эти примечания прибавлены, какой цели они служат? Этот вопрос подразумевается и в следующей фразе во втором примечании: «Выписываем для любопытных изыскателей...»

То, что скрыто в примечании, и то, что Пушкин хочет, чтобы стало явным, лежит не за именами и званиями рассказчиков, а за той последовательностью повестей, которая приведена в примечании и которая явно взята из рукописи Белкина: Пушкин употребляет слово «выписывать», т. е. верно и точно скопировать, причем не из одного места, что значило бы списывать, а из разных мест рукописи. Так, издатель, перелистывая рукопись Белкина, показал читателю, сам будто того не желая, порядок написания повестей самим Белкиным.

В примечании Пушкин обращается не к читателям, а к изыскателям, т. е. он требует здесь не просто внимания, а анализа. Это не зря. Ряд вопросов — причем, вопросов первостепенной важности, скрытых в примечании, — поддается расшифровке только путем анализа, изыскания. Следовательно, вопросы, поставленные примечанием, сложны, и мы не должны от них отмахиваться, думая, что Пушкин не мог ожидать столь большой проницательности от своих читателей. Не о читателях тут речь.

Сама постановка вопроса о двух последовательностях повестей белкинского цикла приводит нас к переоценке роли нового действующего лица — издателя А. П. Почему он не издал повести в том порядке, в котором их написал Белкин и в котором он оставил их в своей рукописи? Оказывается, если бы повести были изданы в белкинской последовательности, весь цикл пред-

² Изданы повести были в следующем порядке: «Выстрел», «Метель», «Гробовщик», «Станционный смотритель» и «Барышня-крестьянка».

ставился бы совершенно иначе. Непосредственно за вступлением «От издателя» или, если сам Белкин издавал бы повести, в самом начале цикла у нас появилось бы политически заостренное вступление к «Станционному зрителю», с издевательствами титулярного советника А. Г. Н. над существующим порядком вещей. В порядке повестей, который осторожный издатель А. П. представил читателям, вся желчь и сарказм А. Г. Н. затерялись в конце цикла и пролежали там много десятилетий, не привлекая внимания ни критиков, ни цензуры.

Чтобы обойти цензуру, издатель на место блестящего А. Г. Н. поставил безобидного подполковника И. Л. П. Вместо вступления к «Станционному зрителю», появился благонадежный зачин «Выстрела», от которого веет шагистикой и плацпарадом: «Мы стояли в местечке.³ Жизнь армейского офицера известна. Утром ученье, манеж...» Весь тон цикла меняется.

Белкинский цикл подвергся и другим изменениям. Перестановка повестей нарушила равномерное чередование сюжетов, взятых из низших и высших слоев общества. Белкин, составляя цикл, перешел от Самсона Вырина («Станционный зритель») к Сильвио («Выстрел»), а от гвардейского офицера и графа — к Адриану Прохорову («Гробовщик»), от гробовщика перенесся к ненарадовским помещикам и гусару Бурмину («Метель»), а от них перешел к Лизе-Акулине — простонародно-дворянской повести и единственной убедительно счастливой («Барышня-крестьянка»). Говоря о цикле повестей в рукописи Белкина, мы должны учитывать действие на читателя этого чередования социальных слоев во взаимодействии со вступлением к «Станционному зрителю», помещенному в самом начале цикла. При этих двух совместно действующих факторах цикл превратился бы в нечто подобное политическому манифесту о свободе народа без социальных различий. Сам же вопрос о внутренней свободе человека, независимо от его социального положения, был бы ясен каждому, благодаря вступлению к «Станционному зрителю», которое — помещенное вначале — превратилось бы во вступление ко всему циклу.

³ Здесь нет возможности хотя бы вкратце осветить проблему внутренней свободы человека, являющуюся внутренним стержнем «Повестей Белкина». В качестве примера наиболее очевидного следует назвать «Выстрел».

Такова роль издателя А. П. — осторожного, вдумчивого и, несомненно, сочувствующего Белкину литератора. Издатель А. П. — умелый конспиратор: он подает сигнал «любопытным изыскателям», что, хотя «Повести Белкина» и издаются, но это совсем другой цикл, нежели тот, который был создан самим автором, и что идейный облик цикла Белкина следует реконструировать согласно данным примечания издателя.

Так раскрывается самая интересная и увлекательная шестая повесть белкинского цикла, написанная уже не Белкиным, а издателем повестей. Это — повесть об уловках издателя, о его приемах одурачивания цензуры, о его методах шифра, о многоярусной постройке литературной мистификации и ее решении. Недаром инициалы гениального издателя — «А. П.»



Биография Белкина сама собой распадается на два периода: время до возвращения Белкина в Горюхино, т. е. детство и служба в пехотном Егерском полку, и время жизни Белкина в Горюхине до смерти в 1828 году. Сведения о жизни и деятельности Белкина в Горюхине даются соседом Белкина несколько иронически, о службе же Белкина говорится исключительно мало.

При рассмотрении письма соседа с установкой на литературный шифр перед нами встает несколько измененная биография Белкина. Оказывается, Белкин был совершенно одинок; оказывается, он освободил экономически своих крестьян и не позволил соседу наводить его традиционный порядок в Горюхине. Самым показательным инцидентом шифра в этой области является описание допроса старосты. Белкин, к великому разочарованию соседа, во время этого допроса засыпает на стуле. Самоочевидно, что Белкин не мог заснуть, а притворился, что спит. Не шепотом же велся допрос старосты соседом-крепостником.

К горюхинскому же периоду жизни Белкина относятся и сведения о его литературной деятельности. К этому вопросу мы вернемся при рассмотрении судьбы рукописи пяти белкинских повестей. Теперь же перейдем ко времени службы Белкина, т. к. в этой области Пушкин скрыл от рядового читателя наиболее важные биографические сведения о Белкине.



Первое впечатление читателя от письма соседа — большая точность и обстоятельность. Однако, под покровом надежного и добросовестного свидетельства лежит целый ряд недоговоренностей и загадок, которые Пушкин предоставил разрешить «любопытному изыскателю».

Открывается письмо в протокольном стиле: «Почтеннейшее письмо ваше от 15-го сего месяца получить имел я честь 23 сего же месяца,...». В каком месяце произошел обмен письмами, можно установить по дате последнего письма: «1830 году. Ноября 16. Село Ненарадово». Мнимая точность соседа, оказывается, ведет к абсурду: сосед отвечает на письмо, которое к тому времени до него еще не дошло. Получается числовой ряд (15, 16, 23), который «любопытный изыскатель» должен в недоумении несколько раз проверить и, следовательно, хорошо запомнить. При дальнейшем чтении письма некоторые числа этого ряда повторяются в той же последовательности: «В 1815 году вступил он в службу в пехотный Егерский полк (числом не упомяну), в коем находился до самого 1823 года». Последние цифры 1815 и 1823 повторяют первый числовой ряд. Среднее число пропущено — число полка — причем пропуск подчеркивается: «числом не упомяну». Впрочем, совпадение этих чисел лишь мнимое. Вчитываясь в текст, легко установить, что Белкин вышел в отставку не в 1823, а в 1822 году: «...в коем находился до самого 1823 года», пишет сосед. Итак, по каким-то причинам, 1822 год, действительное время отставки, заменяется речевым оборотом «до самого 1823 года». Противоречие же в датировке писем является приемом наводящим на зашифрованное место. Итак, время отставки Белкина для рядового читателя завуалировано.

Обратимся к причине отставки Белкина. В письме говорится, что «смерть его родителей, почти в одно время приключившаяся, понудила его подать в отставку и приехать в село Горюхино, свою вотчину». Смерть родителей, сама по себе, принудить к отставке не могла. Достаточно было бы отпуска. Правда, возвращение молодого барина в глушь могло требоваться хозяйственными делами. Иван Петрович, однако, хозяйственными амбициями не обладал. По свидетельству соседа, Белкин так запустил свое хозяйство, что весь его доход состоял в бруснике да орехах, т. е. Белкин просто отказался от дохода от работы крепостных, которых он экономически осво-

бодил. Это, конечно, можно было совершить и не выходя в отставку. Итак, перед нами ложная мотивировка отставки Белкина.

И вот третья недомолвка соседа: Белкин должен был выйти в отставку в каком-нибудь чине, однако, чин Белкина соседом не указывается, что неестественно для человека консервативных взглядов. Ведь счел же сосед необходимым сообщить, что отец Белкина был секунд-майор. Еще напомним, что и «число» пехотного Егерского полка сосед Белкина не указывает.

Ненарадовский сосед создает видимость точного отчета перечислением отдельных тем, интересующих издателя А. П.: «Почтеннейшее письмо ваше... получить имел я честь... в коем вы изъявляете мне свое желание иметь подробное известие о времени рождения и смерти, о службе, о домашних обстоятельствах, также и о занятиях и нраве покойного Ивана Петровича Белкина....». В конце своего письма сосед перечисляет освещенные им вопросы: «Вот, милостивый государь мой, все, что мог я припомнить касательно образа жизни, занятий, нрава и наружности покойного соседа и приятеля моего». Во втором списке вопросов, кроме естественных пропусков времени рождения и смерти, не упоминается служба Белкина, о которой издатель запрашивал. Сосед был на этот раз совершенно точен: в письме действительно одна видимость описания службы Белкина.

Следует отметить, что в черновиках Пушкина письмо соседа содержало значительно больше информации о службе Белкина. В первом варианте говорится прямо, что Белкин вышел в отставку в 1822 году; по второму варианту, первоначально, Белкин вышел в отставку в чине поручика, а служил в Селенгинском полку. Итак, все недомолвки, связанные со службой Белкина, были сделаны Пушкиным сознательно.

«Любопытный изыскатель» теперь видит, что из биографии Белкина исключены следующие сведения: 1) точное место службы («число» полка), 2) год отставки, 3) причина отставки, 4) чин, в котором Белкин вышел в отставку, что, по всей вероятности, связано с обстоятельствами его отставки.

Если бы умалчивались только обстоятельства и причина отставки, т. е. пункты 3 и 4, то это можно было бы объяснить какими-то событиями личного порядка. Однако, умолчание о

месте службы и неясное указание года отставки наводит на мысль, что от «любопытного изыскателя» скрываются не личные служебные обстоятельства Белкина, которые могли бы приключиться в любом полку и в любое время, а скрываются какие-то события общественного порядка, связанные с определенным местом и определенным временем. Эти события должны были произойти в 1822 году, причем, с этими событиями был связан один из пехотных Егерских полков.

Уже указывалось, что в черновике Пушкина упоминался Селенгинский пехотный полк. Об этом полку Пушкин знал со времени своей ссылки в Кишинев. У И. П. Липранди мы читаем: «Три-четыре вечера, а иногда и более, проводил я дома. Постоянными посетителями были у меня: Охотников; майор, начальник дивизионной ланкастерской школы В. Ф. Раевский; Камчатского полка майор М. Я. Яновский, замечательный оригинал, не лишенный интереса по своим похождениям в плену у французов после Аустерлицкого сражения; гевальдигер, 16 дивизии поручик Таунов, очень образованный молодой человек из Казанского университета; майор Гаевский, переведенный из гвардии в Селенгинский полк, вследствие истории Семеновского полка и здесь назначенный Орловым начальником учебного батальона...».

У Липранди бывал и Пушкин. Он, конечно, знал Гаевского и причину его перевода из гвардии в Селенгинский полк. Интересно, что именно Гаевского Орлов назначил начальником учебного батальона, как и «первого декабриста» В. Ф. Раевского назначил начальником дивизионной ланкастерской школы. И эти назначения, несомненно, были Пушкину ясны. Не случайно, конечно, намеревался Пушкин поместить Белкина, давшего впоследствии своим крестьянам экономическую независимость, написавшего крамольное вступление к «Станционному зрителю», именно в тот полк, в котором служил один из участников и очевидцев событий в Семеновском полку. Среди лиц, перечисленных Липранди, имеются члены южного тайного общества декабристов: Орлов, Охотников, Раевский. Двое из них посещали Липранди. Совершенно ясно, что Пушкин представлял себе на этих собраниях и своего героя — Белкина.

В окончательную редакцию вступления «От издателя» Пушкин, вместо Селенгинского полка, вводит пехотный Егерский полк, «число» которого скрывает. Мы уже установили, что, работая над описанием службы Белкина, Пушкин мысленно

находился в Кишиневе, среди своих друзей, членов тайной организации. Он их никогда не забывал, об этом имеется свидетельство И. И. Пущина. Одним из лучших друзей Пушкина того периода был майор В. Ф. Раевский, служивший в пехотном Егерском полку. Не в этом ли полку служил, по замыслу Пушкина, и Белкин? В таком случае, можно предположить, что это был 32-й пехотный Егерский полк 16-й дивизии 2-й армии.

Раевский был начальником дивизионной ланкастерской школы. Либеральная пропаганда среди нижних чинов в этой школе повлекла за собой арест Раевского, смещение генерала Орлова, командира дивизии, увольнение в отставку адъютанта Орлова — Охотникова. Все это произошло в 1822 году. Раевский был арестован в феврале этого года. Устранение от дел других офицеров последовало позже, но в том же году. Мы уже выяснили, что, по замыслу Пушкина, в этом же году вышел в отставку и Белкин, по причине, в письме не указанной; вероятно, без повышения в чине, вследствие чего чин Белкина в письме обходится молчанием. Образованный в письме соседа вакуум в области службы Белкина невольно приводит нас к кишиневской группе декабристов.

Иван Петрович знал о ланкастерской системе обучения, которой пользовались декабристы для распространения своих идей в армии среди нижних чинов. В «Барышне-крестьянке», когда Лиза-Акулина быстро обучается грамоте: «Что за чудо! — говорит Алексей. — Да у нас учение идет скорее, чем по ланкастерской системе». Упоминается ланкастерская система и в записке Пушкина «О народном воспитании», о которой говорилось выше в связи с вступлением к «Станционному смотрителю».

Служебные обстоятельства Белкина, очевидно, были трагичны. Отставка его была вынужденной. Сама служба, однако, должна была представлять самый важный период жизни Белкина. По зашифрованной биографии автора повестей, он был однополчанином майора Раевского, встречался с блестящими людьми того времени, встречался и знал, вероятно, и самого Пушкина.



В вымышленной истории «Повестей Белкина» существенную роль играет судьба белкинской рукописи.

Издатель А. П. обратился к М. А. Трафилиной, родственнице Белкина, за сведениями о жизни автора повестей. Этим Пушкин ясно показывает, что рукопись поступила к издателю не от нее и не от родственников вообще. На первый взгляд, остается неясным, от кого издатель получил рукопись Белкина, а также неизвестно, от кого издатель узнал о ближайшей родственнице Белкина М. А. Трафилиной. Для нашего исследования важно установить, когда были высланы повести из Горюхина.

Вполне возможно, что Белкин закончил свои повести поздней осенью 1825 года, до того, как в село Горюхино дошли вести о неудавшемся восстании 14 декабря 1825 года. Можно предположить, что Белкин отослал свои повести кому-нибудь из своих друзей по полку еще до того, как прозвучали выстрелы на Сенатской площади.

О том, что дело обстояло именно так, намекает и следующая фраза соседа: «Кроме повестей, о которых в письме вашем упоминать изволите, Иван Петрович оставил множество рукописей, которые частью у меня находятся, частью употреблены его ключницей на разные домашние потребности». Учет рукописям Белкина ведется довольно точный: кроме повестей, остались две части рукописей; одна систематически уничтожается ключницей, причем сосед даже знает, какой частью и какого романа заклеила ключница окна; вторая же часть хранится у соседа для неизвестных целей. Итак, вся литературная продукция Белкина осталась в Горюхине и Ненарадове; единственным произведением, оказавшимся за пределами Горюхина, по-видимому, является цикл повестей.

Трудно предположить, что Белкин послал свои повести для издания после декабрьского восстания. Помещенное им в начале цикла вступление А. Г. Н., конечно, не могло пройти цензуру ни в 1826, ни в 1827 годах. В 1828 году Белкин умирает. На наш взгляд, остается единственная возможность предположить, что повести были предназначены к изданию до декабря 1825 года, что были они отосланы кому-то до подавления восстания декабристов.

Очевидно, что-то изменилось в издательских планах Белкина. До конца 1825 года он посылает кому-то цикл повестей для издания, а после 1825 года, видимо, ничего из его произведений уже не было выслано из Горюхина. Больше того, умирая, Белкин не сделал никаких распоряжений о своих рукопи-

сях. До 1825 года Белкин стремился издавать; перед смертью же, в 1828 году, он не старался даже сохранить, уберечь от уничтожения свои произведения. Последнее можно объяснить лишь отчаянием, апатией человека, потерявшего надежду и охоту жить, человека, для которого простая простуда оказывается смертельной. Резкое изменение в настроении и планах Белкина можно объяснить только резкой переменной политического климата в России, происшедшей после окончания поветей. Эта резкая перемена, несомненно, связана с событиями 14 декабря 1825 года.

Вероятно, рукопись Белкина была послана одному из его товарищей по полку, который понял — как впоследствии и издатель А. П., — что после 14 декабря издавать эти повести не время. Повести хранились у друга Белкина до тех пор, пока до него не дошло известие о смерти Ивана Петровича осенью 1828 года. Тут у друга Белкина были развязаны руки. Теперь правительство уже не могло взыскать с Белкина даже в том случае, если бы по недосмотру цензуры повести и появились в свет. Друг Белкина по Егерскому полку — так предположительно мы его назовем — передал повести издателю А. П., вероятно, ему знакомому. Издатель А. П. нашел необходимым скрыть имя лица, передавшего ему повести, но из-за этого во вступлении оказался существенный пробел и путь, по которому рукопись Белкина достигла издателя, оказался неясным. Однако, выясняется причина необходимости именно посмертного издания рукописи Белкина. Выясняется и важность для издателя письма соседа.

В предисловии «От издателя» скрыто имя друга Белкина по Егерскому полку, который передал рукопись Белкина издателю. Присутствие и роль этого лица отмечены во вступлении лишь зияющим пробелом. В случае запроса правительства об авторе повестей — что могло случиться при подозрении в недопустимом свободомыслии всего цикла — издателю было бы трудно доказать, что повести вышли из-под пера никому неизвестного, да еще и скончавшегося к тому времени Белкина. Не считая возможным открыть имя передавшего ему рукопись лица, следовательно, не имея возможности убедить правительство, что автор повестей — Белкин, издатель неизбежно навлек бы подозрение в авторстве на самого себя, что, конечно, было бы опасно.

Ради собственной безопасности, а не ради удовлетворения

«справедливого любопытства любителей отечественной словесности», издатель А. П. приступил к поискам надежных свидетельств об авторстве Белкина. Трафилина направила издателя к соседу Белкина. В письме же соседа оказалось бесценное для издателя свидетельство: ненарадовский сосед не только знал Белкина, но имел случай познакомиться с повестью своего друга еще по рукописи, причем, этому обстоятельству приводятся неоспоримые доказательства: во-первых, сосед знает топонимию повестей — «...названия сел и деревень заимствованы из нашего околотка, отчего и моя деревня где-то упомянута», и, во-вторых, сосед утверждает, что повести слышаны Белкиным от разных лиц, что подтверждается надписями самого Белкина в его рукописи, о которых мы узнаем из примечания издателя. В случае запроса правительства об авторе повестей, издатель мог себя выгородить, сославшись на письменное свидетельство соседа — человека, судя по всему, вполне благонадежного.

Вступление «От издателя», оказывается, имеет гораздо больше действующих лиц, чем можно было предположить. На поверхности перед нами два лица — сам Белкин и его сосед. Роль издателя сразу не видна, он лишь упомянут. В действительности же во вступлении роль самого издателя А. П. важнее всех: он — ведущее лицо, за ним следует Белкин, за Белкиным следует таинственный участник, через руки которого рукопись перешла к издателю; и, наконец, выступает сосед Белкина — благонадежный помещик, который, сам того не зная, своим свидетельством помог провести крамольное произведение Ивана Петровича Белкина через цензурные рогатки. За всеми этими лицами стоит еще одно — правительство Николая I с тяжким цензурным гнетом.



Нетрудно объединить все извлеченные нами случаи шифровки под простым и обобщающим понятием «намаек». В каждом отдельном случае Пушкин именно «намакает», т. е. дает косвенное и недоказуемое указание на то место своего произведения, на которое следует обратить особое внимание, или на то обстоятельство, которое требует переоценки. Своего рода намеком является второе примечание издателя; намеком же является несоответствие в датировке писем; намеком яв-

ляется и полное умолчание пути, по которому рукопись Белкина достигла издателя.

Пользуясь понятием «намеки», мы говорим о скрытом значении, а характерной чертой намека является его недоказуемость. На то и существуют намеки, чтобы говорить так, как будто ничего и не было сказано; сообщать, не сообщая; оскорблять, не оскорбляя; словом, не брать на себя ответственности. Это юридический аспект намека, и этот аспект нам сейчас важен (эстетического аспекта намека как художественного приема мы сейчас касаться не будем).

Уже из того немногого, что здесь было сказано о намеке, ясно видно, почему литературоведение не могло проникнуть под невозмутимую, зеркальную поверхность «Повестей Белкина». Намеки могут быть поняты только при наличии какого-то знания, с которым данные намека должны ассоциироваться. Подобные знания обычно относятся к деталям, к подробностям, память о которых редко переживает одно-два поколения. Вторым препятствием на пути литературоведа является недоказуемость скрытого значения намека. Как только скрытое значение намека становится доказуемым, намек теряет свое назначение и превращается в простое, может быть и не совсем ясное, но все же прямое утверждение. Все те намеки, которые нам удалось здесь установить, являются истинными намеками, т. е. их скрытое значение не поддается доказательству. Здесь причина тому, что истинная фабула «Повестей Белкина» пролежала под сукном больше столетия.

Однако, на помощь «любопытному изыскателю», или литературоведу, приходит сам Пушкин. В «Повестях Белкина» он пользуется не отдельными намеками, а стройной системой намеков, учитывая, повидимому, принципиальное различие между этими двумя понятиями. Дело в том, что система намеков, система скрытых значений имеет свой собственный скрытый смысл, который, в отличие от скрытого значения отдельного намека, поддается доказательству. Именно та множественность скрытых значений, которая образует систему, является предпосылкой доказуемости всей системы в целом. Если предполагаемые интерпретации определенного количества намеков, все без исключения, занимают логические места в гипотетической системе и согласуются между собой в новом единстве этой системы, тогда следует считать, что гипотетичность си-

стемы преодолена, а скрытые значения намеков становятся доказуемы в плоскости новой реальности. В этом процессе намеки меняют свое качество: в новой системе исчезает недоговоренность и намеки превращаются в ясные и прямые утверждения. Именно такую систему намеков, иными словами — шифр, Пушкин создал в «Повестях Белкина».

Недаром Пушкин, вопреки своему обещанию, данному им в 1826 году императору, настаивал в письмах к Плетневу, чтобы повести были отданы в обыкновенную цензуру. В Третьем отделении, у Бенкендорфа, за невинным текстом могли нащупать настоящее содержание вступления, могли разглядеть настоящего Белкина.

А. Коджак



Нади, Любочки и Верочки!
Дорогие имена!
В редком доме эти девочки
Не мелькнули! Хоть одна!

Кто, учась любовной грамоте,
С гимназических времен
Не был в Верочку без памяти
Или в Любочку влюблен!

От Хабаровска до Винницы,
От столицы до села
Пол-России именинницей
В сентябре всегда была.

Но теперь у нас на родине
Редки эти имена
И плохой на них пародией
Запорошена она.

Та — Нинелью, эта — Жанною
Стали девушки подряд
И на всей Руси (не странно-ли!)
То сказалось, говорят.

Словно жребий тот же вынула
Вся страна и, хмурая бровь,
Вслед за верой Русь покинули
И надежда и любовь.

Вот стоим мы над отчизною
Обокраденной своей...
Ах, когда, откуда сызнова
Эти три вернутся к ней?

Не тогда-ль, когда, прозревшая,
Станет девочек опять
Теми милыми, утешными
Именами называть!



Каждый цветок по своему
Радостен и хорош,
Пусть даже мелко скроен он
И в цветники не вхож.

В самом простом заложена
Высшая красота,
Хоть не всегда прохожему
Сразу заметна та.

Может и в нас, нескладно так
В жизни цветущих, есть
Что-то, чем мы оправданы,
Чем хороши мы здесь?

Только взглядеться следует
В венчики душ чужих,
Только тогда как следует
Ты распознаешь их!

Есть васильки, незримые
Через густую рожь,
Коль не взглядишься — мимо них
Наверняка пройдешь!

Дм. Кленовский, 1970

“ПОЭЗИЯ ПОШЛОСТИ”

Анненский, переводчик Эврипида, эллин-классик, но с щемящей русской жалостью: “он вышел из ‘Шинели’ (Гоголя)”, писал о нем Г. В. Адамович в своих *Комментариях*.

У Анненского нет славы Блока, Пастернака или Ахматовой, которая говорила, что училась у него писать стихи. Его очень ценили “акмеисты”, Гумилев сказал о нем: “последний из царско-сельских лебедей”. Все же, он — поэт для немногих, хотя теперь о нем больше пишут, чем прежде. В Советском Союзе была издана книга его избранных стихотворений и трагедий, с содержательным вступлением А. В. Федорова. Профессор В. С. Сечкарев (Харвард) посвятил ему замечательную монографию, отмечу и две диссертации об Анненском: Л. А. Шаповаловой (университет Вашингтона) и Феликса Ингольда, его работа была недавно издана (1970, Базель).

Анненский — и поэт, и критик, и иногда трудно отделить его критику от его поэзии. В критических статьях Анненского немало формальных наблюдений, но еще больше — субъективного импрессионизма. Он свободно высказывает свои симпатии и антипатии и, отражая чужое искусство, творит из него — свое собственное. “Самое чтение поэтов есть уже творчество”, писал он в предисловии к своему сборнику статей *Книга отражений*. Это значит, Анненский хотел, чтобы критик сам был поэтом. Все же, есть и разница между его критическими писаниями и стихами. Анненский-критик иногда напоминает проницкого, капризного “сатира”, а Анненский-поэт — Эврипид с русской любовью-жалостью.

Критический стиль Анненского — парадоксальный, манерный и, вместе с тем, язвительный, неистовый. Может быть, лучшее, что написал Анненский-критик, это его недостаточно еще оцененная статья о Гоголе. В гоголевской поэме *Мертвые души* ему слышится “поэзия пошлости”. Пошлость, утверждает Анненский, возводится Гоголем “в перл создания”. Есть вызов в этой импрессионистической скорописи, и нелегко в ней разобраться.

Комментируя Гоголя, он прозрел в пошлости — несчастье, страдание и проникся к ней симпатией...

В *Книге отражений* Анненский часто разоблачает разные розовые красивые идеалы, как и *Подпольный человек* Достоевского. Есть в его критике сарказм, издёвка, иногда даже грубость, как у Ницше. Он *испытывает*, закаляет свою поэтическую фантазию беспощадной иронией.

Свою мучительную жалость Анненский часто скрывал под маской насмешливого остроуслова. Его издевательства, может быть, даже чем-то напоминают средневековые пародии на богослужебные обряды. Но, издеваясь над христианскими святынями, средневековый человек не впадал в атеизм, а набожно верил в то, над чем так ехидно смеялся: в конце концов святыня оказывалась сильнее смеха, и в его сердце Бог побеждал насмешника.

В иронии Анненского есть и целомудрие — стыдливая боязнь красивых слов. От тщательно оберегал свое “самое главное” — ту музыку страдания и жалости, о которой говорил Ницше в своей книге *Рождение трагедии*. Анненский — романтический мученик, утаивавший свое пламенное стремление к красоте. Поэтому, в критических статьях он предпочитал говорить обиняком или насмешливо. Так и В. Х. Одэн часто стыдливо ироничен в своих религиозных стихах. Он выражает свою веру “косвенными и комическими” приемами.

Анненский высмеивает всякие гуманные сентименты, и иногда даже в самых комических или абсурдных комментариях. Так, он утверждает, что отрезанный у майора Ковалева и разгуливающий по Петербургу *Нос* — из числа униженных и оскорбленных, и он злорадно мстит своим угнетателям! А в одном из лучших стихотворений Анненского о финском водопаде (“То было на Валлен-Коски”) жалкая “разбухшая кукла” стала живым символом человеческого страдания:

Бывает такое небо,
Такая игра лучей,
Что даже обида куклы
Обиды своей жалчей...

Так, предметы неодушевленные — гоголевский *Нос* издевается и мстит, а бедная беззащитная кукла вызывает острую жалость. За что же мстит *Нос*, если только поверить Анненскому, что он на месть способен (тут вспомним, что гоголевский *Акакий*

Акакиевич тоже мстит, хотя и после своей смерти). Не есть ли это месть за поруганные права плоти — за то, что с ним плохо обращался цирюльник и отрезал его от тела майора Ковалева? Вывод или мораль: нельзя пренебрегать человеческой плотью, нельзя обижать, она “Божие творение”, как и та свинья, которая съела документы в повести о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. Не в этом ли смысл или один из возможных смыслов этого загадочного гротеска Гоголя, так парадоксально истолкованного Анненским?



“Господа, я романтик”, утверждал *Подпольный человек* Достоевского. Романтиком был и Гоголь (как это лучше всего показал Василий Гиппиус в книге о нем). При этом оба они отказывались от романтической идеализации мира. Гоголь видел в человеке (но не в природе) преимущественно безобразия, пошлость, а Достоевский через свой рупор — Подпольного человека издевался над опошленными романтическими идеалами. Для Анненского же пошлость — особого рода зло — зло, обрекающее человека на страдание, и она для него стимул к творчеству.

Напомню, что для Гоголя пошлость была чем-то вроде первородного греха, присущего каждому человеку. В последнем *Письме (Выбранные места из переписки с друзьями)* он говорит о христианском идеале всеобщего братства, осуждает человека, который отказывает в пасхальном поцелуе ближнему потому, что “он мерзок, он подл душой, он запятнал себя бесчестнейшим преступлением”. Пусть этот ближний — грешник, но тот, кто осудил его — самодовольный пошляк-фарисей, отказывающийся прощать, не знающий жалости. Анненский с этим согласился бы: мы знаем, что под маской пронизывающего “сатира” он скрывал щемящую жалость ко всему тварному. Он также верил в таинственные связи между чем-то очень высоким и чем-то очень низким.

Был ли Гоголь поэтом пошлости, как утверждает Анненский? Не есть ли это преувеличение? Гоголь заговорил о пошлости, когда уже заканчивал свою грандиозную гротескную *поэму* о “страшилицах”, как он называл Чичикова, Собакевича и прочих. Пусть все они герои отрицательные, но столько в них витальности, даже талантливости, и пошлость их не исчерпывает. Они те горпки, которые, как это утверждал Гераклит Эфесский, вместе с тем

были богами. В них нечто аристофаническое (см. Вяч. Иванов. “Гоголь и Аристофан”).

Создавая своих “страшилищ”, Гоголь любил их, как и те, казалось бы, ничем непримечательные ящики с гвоздями, изюмом, мылом, которые он с таким страстным любопытством рассматривал в детстве (см. VI главу *Мертвых душ*). Все же, истолковывая странные создания своего причудливого воображения, Гоголь едва ли понимал всю сложность проблемы пошлости, его автоинтерпретации часто вводят в заблуждение. К тому же, свою новую *Божественную комедию* он не закончил, ему не удалось отпраздновать творческую победу христианства и искусства над пошлостью и пошляками.

Анненский унаследовал проблему пошлости от Гоголя и Достоевского. О Достоевском он писал: — “Никто сильнее Достоевского не умел внести в самую пошлую и отрезвляющую обыденность фантазии самой безумной или, с другой стороны, свести смелый романтический полет к безнадежно-осязательной реальности” (статья о *Господине Прохарчине*).

Повышенный интерес к пошлости часто вызван разочарованием романтика в высоком идеале и является расплатой за бегство от действительности. Но иногда все романтическое так тесно переплетено с вульгарным, что трудно отделить одно от другого. Это знал Анненский. То, что он в своих “отражениях” приписывал Гоголю, было у него самого: это созданная им поэзия и даже музыка пошлости, которая прозвучала во многих его стихах, особенно в лирических “трилистниках”, которые он так назвал, имея в виду готический орнамент.

Анненский нашел другое, не гоголевское и не “достоевское” спасение от пошлости или же оправдание пошлости.

Фон во многих стихотворениях Анненского — не пушкинский “строгий, стройный” Петербург — прекрасное “Петра творенье”, а кошмарный фантастический Петербург Достоевского, чем-то напоминающий другой новый Вавилон — Париж Шарля Бодлера (что отметил Ю. Иваск в *Новом Журнале*, в статье о Бодлере и Достоевском). Анненский не видит “Невы державное течение”, он видит “Неву буро-желтого цвета”. Он предчувствует: “орел наш двуглавый” да и “гигант на скале” — “завтра станет ребячьей забавой”. Тускло светят фонари, и на город падает мокрый снег “из Достоевского” — “желтый снег, облипающий плиты”. Везде жестокость, пошлость.

В “трилистнике проклятия” Анненского обрисован город (может быть, и провинциальный). Там жил-был *Кулачишка*, вероятно, какой-то “маркёр” из бильярдной (напоминающий героя рассказа Толстого “Записки маркёра”). Для чего жил этот пошлый *Кулачишка*? Для того, чтобы

Скормить Помыканьям и Злобам
И сердце и силы дотла,
Чтоб дочь за газетовым гробом,
Горбатая, с зонтиком шла.

Пусть комичен этот тривиально-бытовой зонтик, но какие бы они ни были, этот “маркёр” и его дочь — они несчастны, и их “мещанство” оправдано страданиями (Ю. Иваск).

Все в том же царстве пошлости в “трилистнике проклятия” “прозвучали звуки” вагнеровского Парсифаля:

О нет, не стан, пусть он так нежно-зыбок,
Я из твоих соблазнов затаю
Не влажный блеск малиновых улыбок, —
Страдания холодную змею.

Так иногда в банально-пёстрой зале,
Где вальс звенит, волнуя и моля,
Зову мечтой я звуки Парсифаля,
И Тебя, и Смерть над маской короля...

.....

Оставь меня. Мне ложе стелет Скука.
Зачем мне рай, которым грезят все?
А если грязь и низость — только мука
По где-то там сияющей красе.

Малиновые улыбки красавицы — пошло-обманчивы, а волнующий и молящий вальс звенит в “банально-пестрой зале” (так и у Бодлера “казино” ассоциировалось с пошлостью). Но — пошлость, всякая вообще грязь и низость, через страдания таинственно связана с нездешней сияющей красотой. А в музыкальном мире Вагнера жестоко страдает недостойный, “низкий” король Амфортас, и на его трагической маске отобразилась *мука* все по той же “сияющей красе”.

Так, страдание, взывая о красоте, красоту рождает, а музыка вдохновляется тоской. Ницше, проповедовавший “веселую нау-

ку” своего сверхчеловека Заратустры, с этим не согласился бы и отвернулся от Вагнера: сам он страдал, но стремился преодолеть все трагическое.

Напряженное и мучительное стремление к тому, что сияет “где-то там”, вызывает надежду, что “тамопнее” (небесное) даст какой-то спасительный ответ. Этого метафизического ответа и добился поплый “бес”, раскаявшийся перед смертью и преображенный радостной верой в Бога, Степан Трофимович Верховенский (в одной из последних глав *Бесов* Достоевского). То же самое ощущал и Анненский: его безлюбая любовь жаждет, как библейская лань жаждала воды.

Замученный тоской, Анненский обращается к музыке Вагнера, вдохновившегося мифом о Парсифале. В этой музыке он искал если и не спасения, то временного освобождения от страданий, своих и чужих, а, может быть, и на что-то смутно надеялся.

Вагнер в то время царил и на Западе, и в России. Ремизова вагнеровская музыка “пронзала”. Он же говорил о Тристане: моя музыка — это мое страдальческое терпение...

В мифе о Парсифале Вагнер искал и находил смысл и высшее оправдание в страдании. Создавая свою оперу, он вдохновлялся эпосом Вольфрама фон Эшенбаха. Этот средневековый поэт постоянно напоминал о сакраментальном значении страдания. Страдание — признак роста, и оно очищает. Самое имя Парсифаль — *perce aval* можно перевести — Пронзенное сердце (или пронзенные внутренности). Мать его Херцелейде — Сердечная боль.

В поэме Вольфрама фон Эшенбаха запоминается этот стих: Страдая, мы как бы получаем крещение. Самая чаша Грааля, из которой хочет испить Парсифаль, есть символ жертвенного страдания, ибо в ней хранится пролитая за нас кровь Спасителя. Красота пречистой чаши Грааля неразрывно связана со страданием.

Есть еще в опере Вагнера мотив целомудрия. Рыцарь Парсифаль должен отказаться от похоти (к Кундри) ради жалости (к Амфортасу) — и любви-эросу предпочесть любовь-агапе.

О любви-жалости часто говорил и Достоевский, и не только устами “хриstopодобного” князя Мышкина. Даже “неприятный” желчный Подпольный человек как-то сказал, что нужно жалеть жизнь, а “демонический” Версиллов связывает жалость с *живой жизнью*.

Анненского завораживала, пронзала вагнеровская музыка, которая врывается в пошлую жизнь и заглушает жалкую “музычку” балльного оркестра.

Отмечу: Анненский — не мелодический поэт, как Блок или Белый. Кто-то назвал его безголовым соловьем. Он — мученик-неврастеник, страдающий лирической невралгией. Голос его — сдавленный, и он явно задыхается в “дольниках” стихотворения “То было на Валлен Коски”. Но кто, кроме Анненского, умел так передавать боль, ужас, обиду, жалость.

Боль:

И стойко должен зуб больной
Перегрызать холодный камень.

Ужас:

И мертвых бабочек мне страшно трепетанье...

Обида:

О, дайте вечность мне, — и вечность я отдам
За равнодушие к обидам и годам.

Жалость: к загнанной тройке, к классической Андромеде “с искалеченной белой рукой”, к “старым эстонкам”, у которых казнили сыновей, к Кулачишке, к *Жукле*, даже к снегу:

Этот нищенский, синий
И заплаканный снег.

Героический высокий стиль Вольфрама и скорбная, но и ликующая музыка Вагнера, казалось бы, не имеют никакого отношения к прозаическим большим сценам и хрипловатым *тихим песням* Анненского. Все же, и именно в чеховском быту, в самой гуще будничной жизни, он услышал музыку Вагнера, вдохновленного Вольфрамом. Общее у них всех: рыцарь Вольфрам, готический поздний романтик Вагнер и затравленный интеллигент Анненский знали — что такое страдание, жалость, сияющая краса, и их голоса, не сливаясь в классической гармонии, зазвучали мучительными диссонансами в горестно-прозаической поэзии *Кипарисового ларца*.

О значении музыки Анненский писал в статье о Бальмонте: в поэзии (для передачи лирического я) “нужен более беглый язык намеков, недосказов, символов: тут нельзя ни понять всего, о чем догадываешься, ни объяснить всего, что прозреваешь или что болезненно в себе ощущаешь, но для чего в поэзии иногда не

найдешь слова. Здесь нужна музыкальная потенция слова, нужна музыка уже не в качестве метронома, а для возбуждения в читателе творческого настроения (...) Музыка символов поднимает чуткость читателя: она делает его как бы вторым, отраженным поэтом” (*Книга отражений*, 1).

Итак, музыка в поэзии — это все зыбкое, неуловимое, нюансы, намеки, символы, не поддающиеся словесному оформлению, т. е. все то, чем была насыщена поэзия самого Анненского (и здесь он отчасти совпадает с Малларме, хотя по тематике, по темпераменту они очень разные). Другие же музыкальные элементы поэзии, повидимому, имели для него второстепенное значение: это метр, ритм, звуковые повторы, которые он разбирает в той же статье о Бальмонте, да и сам не раз подчеркивал их в своей поэзии.

Я уже отметил: стихи Анненского совсем не мелодичны, не романсны, и они музыкальны не напевностью, а нюансами, “недосказами”.

Анненский, вероятно, читал юношескую статью Гоголя *Скульптура, живопись, музыка* (1831 г.). Гоголь дает очень романтическое определение музыки: она “страсть и смятение души”. Слушая музыку, дух исторгает “болезненный вопль, как бы душою овладело только одно желание вырваться из тела”. Для Анненского тоже сущность музыки — не покой, а “страсть (как страдание) и смятение”.

Эту статью Гоголь заключает так: “Но если музыка нас оставит, что будет с нашим миром?” О том, что музыка в опасности, писали и многие другие. Об этом говорил Блок после *Двенадцати* и *Скифов*, он разочаровался в революции и констатировал факт: музыка ушла из мира. Но образ музыки был у него иной, чем у Анненского — это прежде всего стихия любви — страсти, а не любви — жалости.

Анненский слышал в музыке — сочувствие, симпатию. Симпатия, по утверждению А. Лурье, является основой ноуменального и феноменального в музыке и связывает этический и эстетический планы музыкального бытия.

В тех двух “трилистниках проклятия” Анненского сливаются христианская этика жалости к *Кулачишке* (даже ко всякой низости и грязи) — с вагнеровской метафизической музыкой, одухотворенной той же самой жалостью — в “звуках Парсифаля”, которые смогут преобразить “муку” — в “сияющую красу”.

Для Анненского пошляк, внушающий жалость, перестает быть пошляком. Не считает он пошлым и того жулика или хулигана, который томится в участковой “холодной” и мечтает: “Курнуть бы... Чирк — и пых” (*Из участковых монологов*). Он ведь тоже несчастен, и можно было бы найти в стихах Анненского немало других примеров пошлости, которая снимается жалостью.

Позорные раны короля Амфортаса, как и “смешные” похороны какого-то *Кулачишки*, свидетельствуют о том, что человек постоянно унижается, уязвляется, разлагается. Эти позорные, пошлые факты жизни нужно “принять” и нужно всех этих пошляков-страдальцев жалеть. Может быть, жалость Парсифаля исцелит страдающего короля... Тот же мотив слышится в “трилистнике проклятия” Анненского, хотя он и не уверен, что жалость и музыка помогут *Кулачишке!* В счастливый конец мира Анненский не верил и все-таки иногда обольщался музыкой и мечтал “о где-то там сияющей красе”. Жутко звучит его детский “стишок”: *тю-тю* после *бо-бо!* (*Человек*. Сонет). Т. е. наступит смерть, окончательная смерть после бессмысленных страданий. Страх смерти слышится и во многих других его стихах.

Пошлость, как и первородный грех, присущи человеку — это признаки всякой “тварности” (*Kreaturlichkeit*), писал один из самых выдающихся современных знатоков искусства Эрих Ауербах, в книге *Мимесис* (изданной вскоре после Второй мировой войны, сперва по-немецки, а позднее в английском переводе). Он утверждал, что христианское искусство, в противоположность языческому, классическому — идеальному, было искусство “реалистическое” — это *христианский реализм*. Памятуя о богочеловечестве Спасителя, христианские реалисты не брезгали плотью и изображали некрасивого апостола Петра или же разлагающийся труп Иисуса. Все же, лысый рыбак Петр, трижды отрекшийся от Христа — праведник, тогда как для античных классиков — ему была бы отведена роль в комедии. А для христиан он *камень*, на котором строится церковь: все это сплошной абсурд — *безумие* для классических эллинов! А жуткий полуразложившийся труп Иисуса — воскреснет: и этого классики не могли бы понять. Ничего хорошего в безобразии или в разложении нет, но эти факты тварного мира надо “принять”, как и грех: святые тоже грешили, Мария Магдалина или Мария Египетская, Разбойник “ошую” Христа и Савл, еще не ставший Павлом. В этом парадокс “христианского реализма”.

Пошлость также “приемлема”, как и грех. Открытие Анненского: пошляки тоже несчастны, как и не пошляки. Скормлены “Помыканьям и Злобам”. Бог терпелив с грешниками, и мы должны быть терпеливы с “плохими людьми”, включая пошляков.

Гоголевские пошляки — живут в поэме *Мертвые души*, но они не совсем люди. Вот умер пошлейший бровастый прокурор, подмигивавший одним глазом, и его торжественно хоронят, но жалости к нему мы не испытываем. А вот мешанинишко *Кулачишка* на самом деле жил и на самом деле умер: и мы его жалеем, как и его горбатую дочь. Нет ничего низкого в мире, что не имело бы сакраментального значения (Рёскин). Творчество немислимо без сочувствия духа к плоти, хотя бы и самой жалкой плоти.

Гоголь не смог вызвать к живой жизни своих пошлых героев, хотя и одарил некоторых из них талантами. Все же, есть в гоголевской поэме потенциальная поэзия пошлости, как и в романах Достоевского, а величие Анненского в том, что он реализовал эти потенции и в “поэзии пошлости”.

В пошляке Анненский разглядел человека, заметил слезы в его глазах и проникся к нему жалостью: и это его *христианский реализм*, хотя и был он христианином неверующим. Одна из главных тем Анненского — это страдание в пошлости и жалость к страдающему.

Аркадий Небольсин

ХЛЕБНИКОВ

Как будто музыкант крылатый —
Невидимый владыка бури —
Мчит олимпийские раскаты
По сломанной клавиатуре.
Аккорды... лязг... И звездный гений,
Вширь распластав крыла видений,
Вторгается, как смерть сама,
В надтреснутый сосуд ума.

Быт скуден: койка, стол со стулом.
Но все равно: он витязь, воин.
Ведь через сердце мчатся с гулом
Орудия грядущих боен.
Галлюцинат... Глаза — как дети.
Он не жилец на этом свете,
Но он открыл возврат времен,
Он вычислил рычаг племен.

Тавриз, Баку, Москва, Царицын
Выплывают оборванца
В бездомье, в путь, в вагон, к станицам,
Где ветер дикарский кружит в танце,
Где расы крепи на просторе:
Там, от азийских плоскогорий,
Снегов колебля бахромю,
Несутся демоны к нему.

Сквозь гик шаманов, бубны, кольца,
Все перепутав, ловит око
Тропу бредущих богомольцев
К святыням вечного Востока.
Как феникс русского пожара,
ПРАВИТЕЛЕМ ЗЕМНОГО ШАРА
Он призван стать — по воле рока!

А мир-то пуст. А жизнь морозна...
А голод точит, нудит, ноет...
О голод, смерть, защитник грозный
От рож и плясок паранойи!
Исправить замысел безумный
Лишь ты могла б рукой бесшумной.
Избавь от будущих скорбей:
Сосуд надтреснутый разбей.

† Даниил Андреев, 1940

Это стихотворение, полученное нами из Совсоюза, принадлежит перу Даниила Леонидовича Андреева (1906-1959). Второй сын Леонида Андреева от первого брака с А. М. Велигорской, он официально почти не вошел в советскую литературу. В «Краткой Литературной Энциклопедии» его имени нет. В одном из примечаний к тому «Литературного Наследства», посвященному переписке Леонида Андреева с Горьким, крестником которого он был, он назван «художником-оформителем» и «литератором», но ни одно его оригинальное произведение не упомянуто; сказано только, что он редактировал сборник памяти своего отца под названием «Реквием» (1930), написал совместно с С. Н. Матвеевым книгу «Замечательные исследователи Средней Азии» (1946) и под конец жизни переводил с японского. Между тем известно, что он писал много стихов и как поэт очень ценится в узком кругу любителей поэзии. Есть у него, повидимому, и несколько крупных поэтических произведений, в том числе поэма об Иване Грозном. Есть основания думать, что в какое-то время при Сталине он был «репрессирован». В ближайшем будущем подборка его стихов будет напечатана в «Вестнике Р.С.Х.Д.». Гл. С.

ЖАН ПОЛЬ И ГОГОЛЬ

Связать Жан Поля с Гоголем непосредственно — не очень легко. Их разделяют, во-первых, их разные родины и, главное — литературные поколения. Современником Жан Поля в России был Карамзин (1766-1825), из чего следует, что этих писателей восемнадцатого века и Гоголя (1809-1853) разделяют несколько литературных поколений.

Тем не менее, можно провести параллели в мировоззрении Жан Поля и Гоголя и в их отношении к вопросам литературы. Но легче всего, конечно, установить то, что их разделяет, а именно: различие их дарований и уровень их образования, что тесно связано и с способностью к самопознанию.

Гоголь был великим писателем с необычайно острой интуицией, которая и составляла основу его писательского гения. Однако, его образование — согласно общему уровню русского образования тех времен — не было слишком широким, и его знания философии, теологии, эстетики и теории литературы нельзя было назвать выдающимися. В результате, этот великий мастер художественного слова был куда менее успешен в своих попытках систематизировать и объяснить свои взгляды, что часто происходит с гениями изящных искусств, так как их интуиция связана с чувством, а не с разумом.

Жан Польш, как писатель, был совсем лишь очень талантлив (по сравнению с Гоголем), хотя одно время в Германии он пользовался большей популярностью, чем Гёте и Шиллер. Зато Жан Польш был более образован, чем Гоголь: он прекрасно знал теологию, филологию, эстетику и теорию литературы и поэтому был в состоянии интересно изложить свои взгляды, хотя и весьма витиеватым языком.

Знаменательно, что художественные произведения Гоголя

Автор этой интересной статьи, И. Б. Смирнов, молодой, даровитый литературовед, работавший в Нью-Йоркском у-те, недавно скорострительно скончался. Мы выражаем искреннее соболезнование его вдове и его близким. РЕД.

не только пережили автора, но интерес к ним необычайно растет, тогда как его статьи и наставления интересны, главным образом, для литературоведов. Наоборот, Жан Поль, как писатель, несколько отошел на задний план, но его эстетика сохранила свою своеобразную свежесть и оригинальность и известна по сегодняшнему дню.

В этой работе я хочу проследить отдельные темы, мотивы и приемы, которые явно указывают на совпадение юмора-гротеска (как теоретического понятия, как его воспринимал Жан Поль) с творчеством Гоголя.

ЖАН ПОЛЬ И ЕГО ЭСТЕТИКА

Настоящее имя Жан Поля — Иоганн Пауль Фридрих Рихтер (1763-1825). Родился он в маленьком местечке Вунзидель, в северо-восточной Баварии, недалеко от теперешней Чехословакии. Отец его был пастор, которого переводили из одного прихода в другой. Почему семья и жила в разных селах и городках этого края.

Надо отметить, что мальчик вырос в религиозной атмосфере и с ранних лет привык много читать. Жан Поль учился в обычных сельских школах, но, благодаря своим частным занятиям, был принят в высшие классы гимназии города Гоф, которую успешно окончил осенью 1780 года.

В следующем году он поступил на теологический факультет университета в Лейпциге, где, в частности, интересовался философией. Но за три года студенчества он так задолжал, что должен был бежать из Лейпцига, не окончив университет.

Вернувшись в Гоф, Жан Поль перебивался, давая частные уроки, и настойчиво продолжал заниматься самообразованием и писательством, хотя до 1789 года не печатался. Тем не менее, с середины 1790-х годов он уже — успешный и популярный писатель. Современники считали Жан Поля серьезным и талантливым литератором и, начиная с 1809 года, он получал ежегодную пенсию в 1000 гульденов; в 1817 году он получил степень почетного доктора философии университета в Гейдельберге, а в 1820 году его выбрали в члены Академии искусств в Мюнхене.

Из всех 60-ти произведений, напечатанных при жизни Жан Поля, меня для этой работы больше всего интересует его «Предварительная школа эстетики» (*Vorschule der Aesthetik*), вышедшая в свет в 1804 году.

Самостоятельные взгляды Жан Поля сложились довольно рано, что легко проследить хотя бы по его записным книжкам-дневникам, которые он вел, живя еще дома. По этим заметкам видно, например, что Жан Польш читал «Сентиментальное путешествие» Лоренса Стерна в 1780 году, а его «Тристрама Шенди» — одним годом позже. Стерном он очень увлекался и неудивительно, что его первые два напечатанные произведения написаны в таком же сатирическом духе. Эти же записи Жана Поля говорят и о том, что у него рано проявился большой интерес к комическому как эстетической категории.

Эстетика Жан Поля неотделима от его философских взглядов. Смолоду, из-за трудностей его жизни, у Жан Поля выработался сильный характер; от природы он обладал творческой интуицией, был за свободу духа и дошел до непоколебимой веры в Бога. Поэтому его взгляды были созвучны воззрениям Гаманна, Якоби и Гердера. Этих предтеч раннего немецкого романтизма часто называют «философами чувства и веры». Жан Польш примкнул к их направлению. Канта и Фихте, «философов разума», Жан Польш признавал гениями, но за ними пойти не мог.

Следуя Гердеру, Жан Польш был уверен, что «решающие истины философии» покоятся не на основе логики, а на почве «интуитивного убеждения». Наукам можно научиться, и о них можно судить на основе знаний. Философию же и поэзию Жан Польш считал основанными на «врожденных качествах»: на гениальности, на вере и на видении.

Жан Польш считал, что интуитивное убеждение появляется внезапно и в совершенном, целостном виде (почему оно и сродни видению), — в противоположность логическому методу, который идет шаг за шагом, анализируя и синтезируя.

Вообще гению, по убеждению Жан Поля, предназначено руководящее место, будь то в политике, философии, поэзии. Поэт, а в особенности поэт-гений, с его интуитивным пониманием истин, имеет высшее задание: изображением этих истин он должен влиять на человечество, ведя его к познанию прекрасного и истинного. Поэт, по Жан Полю, «отвечает потребностям человека, его стремлению к бесконечному» (в чем Жан Польш перекликается с Шеллингом).

Эстетика Жан Поля основана на его непоколебимой вере в Бога, но она определяется также наличием дуалистического мировоззрения, разницей между «здесь» и «там». Жан Польш

полон вдохновенного оптимизма, он твердо верит в окончательное светлое будущее мира, которое называет «всемирным праздником». Но, пронизанный ужасом, он также чувствует и пессимизм по отношению к недалекому будущему, «всемирную трагиду».

Из всех разновидностей комического, объяснение которых Жан Поль дает в своей эстетике, нас больше всего интересует определение юмора, который, по его мнению, не что иное, как «романтическое комическое». Жан Поль характеризует «романтическое» как «беспредельно прекрасное» или «прекрасную бесконечность», а юмор для него равен «комическому, примененному к прекрасной бесконечности».

Это определение окрашивает главные черты юмора Жан Поля: его всеохватность (*Totalität des Humors*) и уничтожающую силу его (основной) идеи (*vernichtende Idee des Humors*). Всеохватность, всеобщность юмора, по Жан Полю, состоит в изображении «не отдельных глупостей или глупцов, а целого мира бессмыслицы». Очень важно указать и на предпосылку Жан Поля, что юмор может быть действителен только при наличии надлежащей «возвышенной» точки зрения писателя. С высоты этого эстетического созерцания комическое теряет свои ограничения, глупцы теряют свое личное, и вся совокупность изображенного представляется читателю как «мир всеобщей несуразицы, как *“tolle Welt”*».

Уничтожающая идея юмора состоит, по Жан Полю, в сопоставлении контрастов: ничтожного с возвышенным, прекрасного с уродливым, комического с серьезным и т. д., которые уничтожают одно другое, и перед необъятной вечностью все превращается в ничто.

Здесь я хотел бы добавить понятие гротеска (которого Жан Поль в своей эстетике не употребляет). Для этого я воспользуюсь формулой, выработанной Вольфгангом Кайзером в его книге «Гротеск».¹

Кайзер, швейцарский историк искусств и известный писатель, развивает в своем труде две линии. Во-первых, его исследования, касающиеся элементов «гротескного» — причудливых, фантастических, частью уродливых форм, часто связывающих

¹ Wolfgang Johannes Kayser, *Das Grotteske; seine Gestaltung in Malerei und Dichtung*. Oldenburg (Olb.): G. Stalling, 1957.

растительный мир с животным или живое с неодушевленным. Во-вторых, он исследует передвижение понятия «гротеска» или «гротескного» из орнаментики (название — от орнаментальных мотивов, найденных в гротах в 15-м столетии) в живопись (в картинах Иеронима Босха, «адского» Брейгеля, Веласкеса, Гойи), оттуда — в драму (*Commedia Dell'Arte*), наконец, в литературу. В последней «гротескное», связано с именами Данте, Сервантеса, Раблэ, Шекспира, а с 18-го века — со Стерном, Жан Полем, Гофманом, Гюго и По.

Кайзер указывает, что «гротеск» совпадает с «уничтожающей идеей юмора» Жан Поля и дает такую его характеристику: гротеск изображает отчуждение от мира, вторжение демонических сил в каждодневную жизнь и игру с абсурдностью.

Кроме того, по мнению Кайзера, изображение гротескного является попыткой показать или описать вторгающиеся в человеческую жизнь демонические силы и таким образом как бы обезвредить их заклинанием или заговором.

ЮМОР-ГРОТЕСК И ЕГО СВЯЗИ С ТВОРЧЕСТВОМ ГОГОЛЯ

Полных указаний на связи между юмором Жан Поля и творчеством Гоголя сравнительно мало. Единственная книга, в которой эта связь ясно установлена, это «Техника комического у Гоголя» Александра Слонимского. Автор не только цитирует жан-полевскую «Эстетику», но и применяет понятия «всеобщности юмора» и «мира бессмыслицы» к нескольким произведениям Гоголя.²

Слонимский правильно отмечает созвучие отзывов Гоголя о своем собственном юморе (так же, как и замечаний раннего Белинского в статье о рассказах Гоголя «Миргород» и «Арабески», в 1835 году) с формулой Жан Поля. Однако, насколько замечание Слонимского о тесной «спайке» (как он назвал эту связь) комического с серьезным справедливо, — он указывает

² Интересно, что Слонимский указывает на статью Шевырева по поводу «Мертвых душ», в которой тот пишет: «Как будто сам демон путаницы и глупости носится над всем городом и всех сливает в одно; здесь, говоря словами Жан Поля, не один какой-нибудь дурак, не одна какая-нибудь отдельная глупость, но целый мир бессмыслицы, воплощенный в полную городскую массу» (*Московитянин*, 1842, 4. IV, № 8, стр. 351).

на выражение этой связи только в отношении «всеобщности юмора» или «мира бессмыслицы». Слонимский почему-то не относит «спайку» комического с серьезным к «уничтожающей идее юмора».

Я не хочу снижать больших достоинств работы Слонимского, но не могу и согласиться с ним во всем. Пусть, главные линии проявления «всеобщности юмора» и «мира бессмыслицы» у Гоголя прослежены им с большим старанием и проницательностью. Но мне думается, что стоит проследить и наличие «уничтожающей силы юмора», применяя, главным образом, определения Кайзера: «отчужденного мира» (как эффекта) и «вторжения демонических сил в каждодневную жизнь» (как причины этого отчуждения).

Наличие демонических сил в творчестве Гоголя было замечено многими исследователями, но большинство из них связывали это вторжение с приемом, перенятым или из других литературных источников или из драматического искусства. Такими заключениями не стоит пренебрегать, ибо они намекают связи автора и с русской и с иностранной литературой. Однако, я думаю, что этого недостаточно.

Василий Гиппиус справедливо заметил «вторжение в жизнь людей демонического начала и борьбу с ним» уже в «Вечерах на хуторе близ Диканьки», где он установил его в шести рассказах. В «Пропавшей грамоте» и в «Заколдованном месте» победа над демоническими силами дается легко; в «Майской ночи» и в «Ночи перед Рождеством» борьба уже более серьезна, но все-таки кончается победой верующих. В последних же двух рассказах демонические силы берут верх: в «Вечере накануне Ивана Купала» торжествует Басаврюк, а в «Страшной мести» колдун убивает Данилу, Катерину, их сына и схимника, правда, не безнаказанно.

Далее Гиппиус установил вторжение демонических сил в «Вие», в «Невском проспекте» и в «Портрете». Здесь он делает усилие определить различия этого вторжения не только от рассказов в «Вечерах», но и разбивает действие демонических сил в последних трех рассказах на «разновидности». Как бы то ни было, тема «вторжения демонических сил» содержится в десяти (из пятнадцати) рассказах «Вечеров», «Миргорода» и «Арабесок», и она часто связана с результатом вторжения — с «отчуждением».

Как же обстоит дело с остальными рассказами, и далее — с «Ревизором», «Мертвыми душами» и другими произведениями? По-моему, здесь можно установить легкое изменение применяемой формулы: «отчуждение от мира» выдвигается на первый план. Дело в том, что, помимо «прямого» появления демонических сил, воплощенных в фигурах чертей, ведьм и колдунов, существует еще менее заметный, «косвенный» род вторжения. Главное действие этого «вторжения демонических сил» происходит в душах людей, почему об этом можно упомянуть или описать, но показать, нарисовать эти силы невозможно, ибо они невидимы. Тем не менее, их мощь не менее реальна. Поэтому можно изобразить лишь результат их действия, т. е. «отчуждение от мира».

Гоголь показывает тесную связь прямого «вторжения демонических сил» и «отчуждения от мира» на почве косвенного «вторжения» совершенно ясно в «Невском проспекте». Пискарев вначале действует под влиянием красоты, которую он видит глазом художника; Пирогов следует за женой Шиллера и по привычке «поволочиться», и с более конкретной надеждой. Пискарев не выдерживает «отчуждения от мира» — открывает свою душу вторжению демонических наводнений, пытается провести свой ограниченный “Experimentum Medietatis”³ и погибает, кончая жизнь самоубийством. Пирогов после порки утешается пирожными и даже «отличается» в мазурке; вращаясь все время в мире ничтожества, он «погибает», беспомощно застряв в тине пошлости. Обе части рассказа связаны «отчуждением от

³ “Experimentum Medietatis” (попытка человека превознести себя вместо Бога, поставить в положение центра вселенной, о чем писали Блаженный Августин, Тертуллиан, Паскаль и др.) направляет «...полноответственную свободу человека ко злу, как сатанинское падение или, по древним понятиям, как прометеевское возмущение».

В процессе этого самовластного отделения от Бога в душе человека раскрывается «...зияющая пропасть, «вакуум»... и «скука, которая отравляюще поднимается со дна пустого сердца». Поэтико-художественным символом этого падения становится бездна (раньше — символ божественной бесконечности) теперь — знак «...зияющей, бесплодной пустоты безутешного «ничто», которая подвластна дьяволу и наполняется им «... всей грустью, ему присущей».

Walter Rehm, *Jean Paul — Dostojewski. Zur dichterischen Gestaltung des Unglaubens* (Goettingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 1962).

мира», где «...все дышит обманом» (указание на «всеобщность юмора» Жан Поля, когда сам демон зажигает лампы («вторжение демонического») для того только, чтобы показать «все не в настоящем свете» («мир бессмыслицы» и «отчуждение от мира»)).

Те же самые компоненты «отчуждения от мира» на основе пошлости (косвенного «вторжения демонических сил») в рамках «целого мира бессмыслицы» варьируются в «Шпоньке», «Старосветских помещиках», «Ссоре Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем» и «Носе», а также в первой главе «Страшного кабана», не говоря уже о таких классических образцах «мира бессмыслицы», как «Шинель», «Ревизор» и первый том «Мертвых душ». В «Записках сумасшедшего» та же формула усилена описанием прогрессирующей ненормальности — опять-таки демонического влияния.

Главная характеристика юмора-гротеска состоит в расторжении ограничений. Значение сновидения, сна, а также болезни, экстаза, гипноза и сумасшествия для романтиков известно; однако, вывод из жан-полевой эстетики дает и другое объяснение этому феномену. Из различных изображений всех состояний, при которых границы между сознанием и бессознанием легко стираются, я хочу отметить наличие мотивов сна, галлюцинаций и безумия в творчестве Гоголя. Здесь, кстати, некоторую роль играют также и явления природы, искажающие зрительное восприятие. Отметим хотя бы употребление — лунного света и тумана.

В своей книге «Огонь вещей» Ремизов «посвящает отдельные главы восьми снам Гоголя» и перечисляет «Шпоньку, Портрет, Страшную месть, Майскую ночь, Вия, Ревизора, Пропавшую грамоту и Мертвые души». К этой группе надо, конечно, отнести и «Нос», так как он по крайней мере был задуман как сон. В ранней редакции ведь рассказ заканчивался словами: «Впрочем, все это, что ни описано здесь, виделось майору во сне». Близки к этой категории также «Старосветские помещики», прошлая жизнь которых сменилась «спокойной и уединенной жизнью, теми дремлющими и вместе — какими-то гармоническими грезами». В эту идиллию наизнанку («перевернутую эклогу», как ее назвал Поджоли) вторгается демоническая сила страсти (символизированная возвратившейся кошечкой) и полагает начало ее концу.

В связи с этой темой надо особенно остановиться на

«Портрете» из-за обилия здесь разновидностей сна и сновидений. Особенно бросается в глаза тройной сон Чарткова (т. е. сновидение в сновидении во сне), от которого он пробуждается три раза подряд. Так называемым «нормальным» сном его о разной чепухе можно противопоставить его «ненормальные» сны под влиянием опиума и раздраженного воображения. Побочной темой в связи с опиумом Чарткова можно назвать спиртные напитки («дьявольское изобретение» — см. «Первого винокура» Л. Н. Толстого и лубочные картинки 19-го века), с влиянием которых во многих рассказах связаны сны, сновидения, наваждения. Шинок, кабак тоже часто являются местом завязки трагических событий.

В своей работе «Ремизов о Гоголе» («Нов. Журн.», кн. 51) Зоя Юрьева доказывает, что «в Майской ночи, Вие, Ночи перед Рождеством и Портрете решающую роль играет лунный свет 'панночка Луна-Астарта' с лучами вместо рук». От влияния луны и лунного света и их действия на психику человека (поверья универсального и, кажется, не совсем необоснованного. И. С.) недалеко и до более рокового «вторжения демонических сил» в жизнь человека и их разлагающего влияния на его разум. Встретив носа-беглеца в мундире статского советника, Ковалев «чуть было не сошел с ума». Пискарев, «влюбленный до последнего градуса безумия», возвращается домой незадолго до самоубийства с «признаками безумия на лице». Вспомним припадки бешенства Петруся в «Ночи накануне Ивана Купала» или «припадки бешенства и безумия» Чарткова, у которого к горячке присоединились «все признаки безнадежного сумасшествия». Тут уже прямая линия к явному безумию Катерины в «Страшной мести», к Барсукову в неоконченной комедии «Владимир 3-й степени», который, не получив ожидаемого ордена, лишается рассудка и воображает сам себя «Владимиром 3-й степени»; и к «испанскому королю» Поприщину в «Записках сумасшедшего».

Явно связанный с «отчуждением от мира» лунный свет я уже упомянул; второе явление природы, имеющее «отчуждающее» влияние — туман. Неудивительно, что Жан Поль рекомендовал употребление тумана в юморе (а Кайзер — в гротеске), так как тут происходит искажение контуров, пропорций, направления, силы и характера звуков, света, красок и т. д.

В «Майской ночи», например, мы читаем: «серебряный

туман пал на окрестность», а немного позже: «Левко посмотрел на берег. В тонком, серебряном тумане мелькали легкие, как тени, девушки». Между прочим, родство луны, лунного света и тумана подчеркивается тем, что они у Гоголя — почти всегда «серебряные». Далее, когда Вакула летел верхом на черте в Петербург, «все было светло в вышине. Воздух в легком серебряном тумане был прозрачен»; или при мнимом полете Поприщина на тройке — «сизый туман стелется под ногами, струна звенит в тумане».

Очень часто туман употребляется и в переносном значении. «У Акакия Акакиевича затуманило в глазах» (Шинель), когда он узнал, что без новой шинели не обойтись. Старый колдун не был закован в цепи, потому что он «напустил (казакам) в глаза туман и вместо рук протянул сухое дерево» (Страшная месть).

Петрусь, силясь вспомнить, что случилось и как он вдруг получил деньги, доходит мысленно до того, как он сидит в шинке и пьет; но «далее все как будто туманом покрывается» (Вечер накануне Ивана Купала). Наконец, «дама, приятная во всех отношениях», пришла к заключению, что Чичиков намеревается похитить дочь губернатора, и она и ее подруги пошли разглашать этот «факт», причем «сумели напустить такого тумана в глаза всем, что все... оставались несколько времени ошеломленными».

Отметим также применение тумана, как способа структурного соединения в «Носе», где окончания первой и второй глав связываются появлением тумана в «общем мире бессмыслицы».

Очень важно указание Жан Поля на прием «самой пустой концовки», т. е. «уничтожающей идеи юмора», которая ведь построена на контрастах. Например, линия комического развития вдруг обрывается, и следует нулевое окончание, состоящее из ничего не значащего (часто противоположного) заключения, которое часто связано с алогизмами. Классическим примером этого можно считать описание жителей города Н. и их интересов, среди которых: «Прочие тоже были более или менее люди просвещенные: кто читал Карамзина, кто «Московские Ведомости», кто даже совсем ничего не читал» (Мертвые души). «Даже» усиливает ожидание читателя — тем резче гро-

тесное падение в словах «совсем ничего не читал», причем «совсем» — опять-таки усиление утверждения, но в противоположном смысле. Это, однако, было достаточно разработано многими исследователями, поэтому дам еще только один пример. В «Шинели» Гоголь дает описание различных развлечений чиновников, занимающее чуть ли не целую страницу — только для того, чтобы кончить этот каталог замечанием, что «Акакий Акакиевич не предавался никакому развлечению».

В принципе похожего рода контраст содержится и в общей структуре многих юмористическо-гротескных произведений. После возрастающего комического движения следует падение в ничто, часто сопутствуемое замечанием автора. Примером может служить хотя бы заключительная, немая сцена в пятом действии «Ревизора». Или — вариант концовки «Ссоры двух Иванов» с классическим комментарием — «Скучно на этом свете, господа», или же в последнем абзаце «Сорочинской ярмарки»: «скучно оставленному. И тяжело и грустно становится на сердце, и нечем помочь ему». Этот прием «комического срыва» (по Слонимскому) также применяется, как заключение определенных эпизодов во многих произведениях Гоголя.

Хочу еще указать на «пластическое» изображение чувств, которое было справедливо объяснено интересом Гоголя к драме и его знанием мимики. Чувство отчаяния, ужаса могло быть изображено пластически на сцене (заключительная немая сцена в «Ревизоре»). Но Гоголь применял «пластическое» выражение ужаса и в рассказах. Я говорю, например, о «раскрытом рте» — мимическом приеме служащем для изображения страха, отчаяния и ужаса персонажей. Например, появление свиной рожи в окне хаты: «Ужас оковал всех находившихся в хате. Кум с разинутым ртом превратился в камень...» («Сорочинская ярмарка»). Увидя кучку пепла, вместо Петруся, «выпуча глаза и разинув рты, не смея пошевелинуться, стояли казаки, будто вкопанные в землю. Такой страх навело на них это диво» («Вечер накануне Ивана Купала»). Увидев перед собою старика-ростовщика, выпрыгнувшего из портрета, «Чартков силился выкрикнуть — и почувствовал, что у него нет голоса, силился пошевелинуться, сделать какое-нибудь движение — не движутся члены. С раскрытым ртом и замершим дыханием смотрел он на этот страшный фантом» («Портрет»).

Эти «раскрытые рты» сопровождаются явными признаками «омертвения одушевленного», которое, как и «оживление неодушевленного» ясно дано Кайзером как приемы гротеска.



Даже в пределах этой ограниченной работы сравнение юмора Жан Поля с творчеством Гоголя, я думаю, устанавливает возможности связей. И мне кажется, что включение жан-полевских основ философии и эстетики смогло бы помочь лучше понять не только творчество Гоголя, но и его индивидуальные черты: попытку установить органическую связь всех родов искусства, значение его стараний быть религиозным и светским учителем и чувство мессианства.

Наконец, с точки зрения эстетики Жан Поля легче связать Гоголя-человека с Гоголем-писателем и понять его творческое развитие. Становится яснее, почему он — поверивши тем, кто сбивали его на путь реализма — должен был потерпеть неудачу, не оставив нам второй том «Мертвых душ».

Игорь Смирнов

ДВА ПИСЬМА К. И. ЧУКОВСКОГО

ПУБЛИКАЦИЯ Г. П. СТРУВЕ

1

В конце 1962 и начале 1963 года один мой знакомый американец довольно часто видался с покойным Корнеем Ивановичем Чуковским, бывая у него в Переделкине. Должно быть, в каком-то письме моему знакомому, который мне об этих встречах писал, я упомянул, что в детстве встречал Чуковского. Весьма вероятно, что Чуковский бывал, если не у нас на квартире, то в редакции “Русской Мысли” (которая, после переезда в Петербург, несколько лет помещалась под нашей квартирой на Выборгской стороне) не один раз, но мне хорошо запомнилось только одно его посещение: когда он приехал к нам вскоре после выхода его перевода знаменитой книги Киплинга “Just So Stories”. Приехал вместе с художником Фридбергом, который иллюстрировал это русское издание “Сказок” Киплинга, и преподнес книгу мне и моим братьям. Помню, что и Чуковский и Фридберг завтракали у нас в Лесном, но разговоров не помню. Вероятно, мой знакомый как-то к слову упомянул об этом Чуковскому, и тот сказал, что и он меня помнит, прибавив, что ему запомнилось особенно, как я однажды нес в пальцах таракана, чтобы кормить не то ужа не то лягушку. Вспоминал он также какую-то ночевку у моего отца в Лесном (должно быть, когда мы были на даче), причем его особенно поразил виденный им на отце “ночной колпак”.

Я тогда же написал К. И., чтобы опровергнуть эти две его “легенды” — и о моем отце, и обо мне. Мой отец, писал я, никогда на моей памяти не носил ночного колпака (думаю, что не носил и раньше). У меня же никогда не было ни ужей, ни лягушек, хотя одно время (но это было позже, одним летом в Финляндии) я, увлекшись Фабром, обзавелся террариумом, разводил в нем земляных ос и навозных жуков и наблюдал за их жизнью. На это мое письмо К. И. отозвался, через того же моего знакомого, следующим письмом:

Дорогой Глеб Петрович, я получил Ваше письмо с большим запозданием. Отвечаю немедленно. Очевидно, колпак мне действительно прирезился, но мальчика с тараканом (для ужа или лягушки) я действительно помню. Так же эпизод со свечкой. Стихи Николая Ст-ча замечательны тем, что они повторяют все рифмы моего послания Блоку и Гумилеву. Знаете ли Вы стих[отворен]ие, посвященное мне другим поэтом:

*Питомице невзнувшей
Финляндских побережий,
Звезде Корней Иваньча
От встречного невежи.....
и т. д.*

К сожалению, я не помню его наизусть.

1962, октябрь.

Ваш К. Чуковский.

О каком “эпизоде со свечкой” шла речь, я теперь уже забыл. Кажется, об этом К. И. тоже рассказывал моему приятелю, и имело это какое-то отношение к моему отцу и к рождественской елке: мой отец всегда панически боялся, в связи с елками, пожара — главным образом из-за своей большой ценной библиотеки — и как-то раз поднял бучу, когда на елке что-то загорелось — или ему так показалось: мы жили тогда в Лесном, в деревянном доме на Парголовском проспекте.

Стихи Ник. Ст-ча: речь идет о стихотворении Н. С. Гумилева (“Чуковский, ты не прав, обрушась на поленья...”), которым он ответил на стихотворение самого Чуковского. Историю этой шуточной стихотворной “полемики” между Чуковским, Гумилевым и Блоком Чуковский рассказал в своей книге “Современники. Портреты и этюды” (Москва, 1962). К Блоку и Гумилеву с просьбой вписать в его альбом какие-нибудь стихотворные экспромты обратился Д. С. Левин, который служил как “хозяйственник” во “Всемирной Литературе”, где и Чуковский и оба поэта принимали деятельное участие как переводчики. И Блок, и Гумилев оба исполнили просьбу Левина, одной из главных функций которого было добывать для “всемирных литераторов” дрова. Потом дошла очередь и до Чуковского, который, как он сам говорит, “разыгрывая из себя моралиста, обратился

к поэтам с шутливым посланием, исполненным наигранного гражданского пафоса". Вот первые четыре строки этого опуса Чуковского, напечатанного целиком в "Современниках":

За жалкие корявые поленья,
За глупые сосновые дрова
Вы отдали восторги вдохновенья
И вещи бессмертные слова.

Дальше Чуковский обращался отдельно к Блоку, как автору "Соловьиного сада" и певцу "Незнакомки", и к Гумилеву, которого он называл "наследником Лаперуза", променявшим "знойную Сузу" и "буйную Нефузу" на "заплеванную дверь Петросоюза" и рай на Райлеском. Гумилев, по словам Чуковского, "немедленно, тут же на заседании" написал свой стихотворный ответ. В книге Чуковский привел только первые четыре строки этого ответа, но тогда же, когда он переписывался со мной, он послал мне полный текст его (см. "Собрание сочинений" Н. Гумилева под редакцией моей и Б. А. Филиппова, Вашингтон, т. 2-й, 1964, стр. 201-202, и примечание на стр. 332-333). Стихотворение Гумилева, действительно, остроумно повторяет все рифмующие слова Чуковского. Стихотворение Блока — пять строк под названием "Enjambements" — напечатано в третьем томе восьмитомного собрания его сочинений. В виде факсимиле оно вошло также в любопытную статью литературоведа Ю. Д. Левина, сына Д. С., об альбоме его отца: "Поэты о дровах" (сборник "Прометей", т. 4-й, М., 1967). Там же и другие стихи о дровах, в том числе еще одно стихотворение К. И. Чуковского по поводу стихов Блока и Гумилева о дровах. Оно озаглавлено "О Розе (Васильевне)". (По прочтении стихов Гумилева и Блока в этом альбоме)". Роза Васильевна торговала во Всемирной Литературе хлебными лепешками и папиросами, и ее называли "Наркомпрод Вселита". О ней много рассказов в литературных воспоминаниях о 1918-1921 годах.

Стихотворение "другого поэта", цитируемое Чуковским, это — стихотворение, посвященное ему Б. Л. Пастернаком и записанное в его знаменитый альбом "Чукоккала". Так как стихотворение это, насколько я знаю, не вошло ни в одно собрание сочинений Пастернака и напечатано впервые в статье К. И.

Чуковского “Что вспомнилось” (“Прометей”, т. 1-й, М., 1966), привожу все четыре строфы его целиком:

Юлил вокруг да около,
Теперь не отвертеться,
И вот мой вклад в “Чукоккалу”
Родительский и детский.

Их, верно, надо б выделить,
А, впрочем, все едино —
Отца ли восхитителю
Или любимцу сына.

Питомице невянушей
Финляндских побережий,
Звезде Корней Иваныча
От встречного невежи.

Задору речи ритменной,
Невыдуманно свежей
За Колю и за Whitman'a
Мой комплимент медвежий.

В печатном тексте статьи Чуковского приведены почему-то только первые три строфы стихотворения, но перед ними всё стихотворение полностью воспроизведено в факсимиле. К четвертой строке стихотворения Чуковский сделал такое примечание: “То есть от имени поэта и его старшего сына Евгения, который трехлетним ребенком был в дружеских отношениях со мною”. В этом письме ко мне Чуковский не назвал Пастернака, но он сделал это в следующем письме, приводя те же самые строки.

2

На письмо К. И. я, очевидно, отозвался либо письмом, либо на словах через моего знакомого, так как через некоторое время получил от него еще одно письмо, помеченное 1 января 1963 г. Вот оно:

1 янв[аря] 1963.

Дорогой Глеб Петрович! Поздравляю Вас с Новым Годом, с Новым Счастьем. Я вспоминаю Исаака Владимировича и его жену “Дионейшу” с чувством живейшей признательности. Я

был глубоко-невежественный, нищий, нелепый юнец, только у них в доме, единственном доме во всей Англии — я находил уют и еду и ласку. Неужели я писал им какие нб. стихи? Если попадут Вам под руку, ради Бога, пришлите!

Знаете ли Вы стихи, посвященные мне Борисом Леонидовичем?

[Далее следуют те же четыре строки, что и в предыдущем письме и после них опять “и т. д.”]

Я вспомнил, что Николай Степанович сделал еще несколько записей в “Чукоккале” — юмористических: есть три или четыре стихотворения, которые он сочинил вместе с Осипом Мандельштамом, своим товарищем по акмеизму. Но они непонятны без больших комментариев. Всего 4 строки или 6 строк, а комментарий требует целой страницы.

Знаете ли Вы, что в Переделкине живет литератор, который собрал колоссальный материал об Н. С., составил его “Труды и дни” и т. д. Если бы Вы приехали в СССР — Вы собрали бы для своих работ очень много материала.

По поводу таракана. У Вас на Удельной был террарий, в котором, очевидно, обитали лягушки. Я живо помню Вас несущим этим лягушкам еду — пруссака, шевелящего усами.

С Новым Годом, с Новым Счастьем!

Ваш Корней Чуковский.

Сейчас я отредактировал 7 и 8 томы Блока: письма и дневники. Дневники будут даны в полном виде, от чего Блок сильно потеряет. Меня всегда удивляло, почему (в качестве друзей) он окружал себя такими тусклыми людьми как Пяст, Евг. Иванов, Георгий Чулков, Сергей Городецкий.

Исаак Владимирович и его жена — И. В. Шкловский-Дионео (1865-1935) и его жена Зинаида Давыдовна († 1946). И. В. Шкловский, дядя известного “формалиста”, печатавшийся под псевдонимом “Дионео”, был видным публицистом, до революции постоянным сотрудником “Русского Богатства” и лондонским корреспондентом как этого журнала, так и “Русских Ведомостей” (он жил в Лондоне, как политический эмигрант, с конца 90-х годов, после ссылки в Колымский край). Его перу принадлежит несколько книг, в том числе вышедшая по-английски книга о Северо-Восточной Сибири. Он написал также роман “Когда боги ушли”. После Октябрьской революции, будучи убежденным

антибольшевиком, он принял активное участие в организации и деятельности лондонского надпартийного (сам Шкловский был эсером) “Комитета Освобождения”, в который входили А. В. Тыркова-Вильямс, М. И. Ростовцев, К. Д. Набоков, М. В. Брайкевич и др. Позднее он примкнул к Республиканско-Демократическому Объединению и стал лондонским корреспондентом “Последних Новостей”, сотрудничая также в рижском “Сегодня”, в “Современных Записках” и других зарубежных изданиях.

После смерти И. В. пражский Русский Заграничный Исторический Архив, который он представлял в Лондоне, назначив меня его преемником, поручил мне, между прочим, разборку и покупку и его архива. Это повело к моему знакомству, перешедшему потом в дружбу (особенно во время Второй мировой войны), с его вдовой (самого И. В. я до того встречал, но знал мало). Оказалось, что незадолго до своей смерти И. В., очень нуждавшийся (как большинство литераторов в русской эмиграции), уже продал значительную часть своего архива советскому Государственному Архиву (куда позднее все равно был передан и пражский Заграничный Архив). Но среди оставшихся у его вдовы бумаг я все же нашел кое-что интересное, в том числе три шуточных стихотворения, написанных ей Чуковским, который в начале 900-х годов жил в Англии и которого З. Д. Шкловская гостеприимно принимала у себя в доме. Добросовестно отослав в Прагу оригиналы (два стихотворения входили в письмо, третье было само — письмом в стихах), я на всякий случай списал их для себя, о чем потом не жалел, когда узнал, что пражский архив больше недоступен для людей, живущих на Западе. В 1965 г. я эти inédits Чуковского напечатал в “Мостах” (№ 11). Мне известно, что моя публикация дошла до К. И.

Экспромты Гумилева — в “Современниках” Чуковский напечатал один экспромт Гумилева и рисунок к нему (см. об этом “Собрание сочинений” Гумилева, т. 2-й, стр. 201 и 331-332). Возможно, что в “Чукоккалу” было записано и стихотворение “Крест”, шуточное послание к К. И. Чуковскому и его жене, в котором буквы их имен и фамилии образуют что-то вроде креста. Это стихотворение было прислано мне тогда же самим К. И. и вошло в тот же второй том “Сочинений”.

Какого писателя, составившего “Труды и дни” “Н. С.” (т. е. Гумилева), имел в виду К. И., мне не было известно тогда, и неизвестно по сей час: я могу только догадываться, о ком идет речь, но возможно, что догадка моя неверна.

Из того, что К. И. написал в этом письме о таракане и лягушках, я понял, что он спутал меня с моим двоюродным братом, Сережей Гердом, страстным с раннего детства естественником, пошедшим в этом отношении и в отца, и в деда, знаменитого педагога А. Я. Герда, моего деда по матери. В советское время С. В. Герд, который был на год старше меня, стал преподавателем естественной истории, пойдя и тут по стопам отца и деда. Герды действительно жили на Удельной, тогда как мы жили (с 1907 по 1911 г. и после 1913 г.) в Лесном. У Сережи Герда были не только террарии и аквариумы, но и лемуры и всякие другие экзотические звери. Чуковский был с Гердами знаком.

Постскриптум Чуковского к письму — о Блоке — может многим показаться спорным: так ли уж прав он, называя Пяста, Евгения Иванова и Георгия Чулкова “тусклыми людьми”? Пяст оставил далеко не лишённые интереса литературные воспоминания. Среди друзей Блока он был одним из тех, кто не принял “Двенадцати”, и на этой почве даже раззнакомился с Блоком, с которым одно время был очень близок. Что касается Евгения Иванова, то в окружении Блока он был в каком-то смысле “белой вороной”. Несколько лет тому назад в “Ученых Записках” Тартуского университета были напечатаны (частично) его интересные дореволюционные дневники. О его жизни в советский период мы почти ничего не знаем. Повидимому, она окончилась в ссылке (кажется, в Вятке).

Глеб Струве

СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ И ЗАМДИРЕКТОРА КРАМАТОРСКОГО КОМБИНАТА

ИЗ ТЮРЕМНЫХ ВОСПОМИНАНИЙ

В этой тюрьме мне пришлось впервые встретиться с Александром Иосифовичем Каневским, заместителем директора крупнейшего в то время Краматорского комбината. Перед самым своим арестом, он получил новое назначение на пост директора вновь строящегося гиганта — Уральского Машиностроительного завода.

Александр Иосифович был небольшого роста, тучноватого телосложения, с редкими волосами, из-под которых проглядывала лысина, с наблюдательными, острыми глазами. Был человеком интеллигентным, много видевшим на своем веку, имевшим большие знакомства среди высокопоставленной партийной знати. Был близок с Серго Орджоникидзе — членом Политбюро и Наркомом Тяжелой Промышленности, — являвшимся его непосредственным начальством. Не раз приходилось нашему замдиректора выступать на заседаниях Совнаркома в присутствии Сталина.

Койка Александра Иосифовича помещалась рядом с моею. Был он прекрасным рассказчиком, любил делиться впечатлениями о пережитом, особенно, об интересных случаях в его жизни.

В нашей камере были разрешены передачи. Однако, только девять человек из тридцати пяти, пользовались этой привилегией. Заключение считали, что нельзя допустить — по простому человеческому разумению, — чтобы у нас мог существовать «стан погибающих». Был образован «Комбед», помогавший тем, кто не имел ничего. В состав «Комбеда» входили староста и 2 представителя от камеры. Наделен «Комбед» был неограниченной властью: мог производить любые изъятия из каждой передачи. Но поступал всегда справедливо: никто, никогда не оспаривал его решений.

Лучшие передачи получал Александр Иосифович. Несмотря на арест, сохранились у него в столице крупные связи: не все прежние друзья отвернулись от него. Родной его брат — уцелевший от чистки — продолжал занимать ответственную должность начальника Бронетанковой Академии в Москве. Жена и десятилетний сын жили в прежней, хорошей квартире, не подвергаясь общественному ostrакизму.

Обвинительный акт, составленный следователем, был как и у всех других — вздорным. Александру Иосифовичу приписывалось участие в троцкистской организации, вредительство и попытка совершения террористического акта.

Самым анекдотическим обвинением был этот террористический акт: покушение на жизнь Сталина. Мне до сих пор непонятно, из каких пластов российского солончака были выкопаны эти десятки тысяч следователей, страдавших, вероятно, наследственным кретинизмом. А. И. рассказывал, что в протоколе, составленном следователем, значилось примерно следующее: «Обвиняемый признался, что находился в скрытой засаде у самого ж.-д. полотна, по которому должен был проехать экспресс с тов. Сталиным. Обвиняемый был вооружен обрезом (!), из которого должен был быть произведен роковой выстрел. К счастью, тов. Сталин — вместо того, чтобы стоять у окна — отдыхал в своем купэ. Таким образом, простая случайность предотвратила этот террористический акт».

Александр Иосифович говорил, что он указывал следователю: «Зачем же мне нужно было пользоваться доисторическим обрезом, когда в моем распоряжении были все виды огнестрельного оружия, вплоть до танков?»

В какой-то мере это замечание наверное дошло до сознания следователя. Он схватил чернильницу и запустил ею в подсудимого. Этой заключительной сценой и был санкционирован, внесенный в протокол, пункт о терроре.

Как и многим заключенным ежовского лихолетья, Александру Иосифовичу пришлось пройти через изошренные пытки: он героически перенес их. Но на последней, казалось «примитивной», он сдал. Следователь, вскипятив чайник воды, крутым кипятком начал поливать его. Несчастный извивался как змей, брошенный на костер: кипятком обжигал руки, ноги, спину, голову. Наконец, истязаемый вскочил, схватил протокол, подсунутый следователем и, не думая ни о чем, подписал его.

Его сразу оставили в покое. Падение свое он переживал

тяжело и мучительно. Время, однако, шло. Перед его глазами проходили сотни таких же случаев, и рана постепенно зарубцевывалась. Когда я встретился с ним — допросы и пытки были уже в далеком прошлом.



Александр Иосифович благоговел — в душе своей, конечно — перед Соединенными Штатами. Да разве только он один? Сам никогда не был там, но многие специалисты из Наркомтяжпрома, побывавшие за границей, рассказывали ему о чудесах американской техники и об изобилии всяких благ, доступных всем рабочим. Он с восторгом показывал заключенным свою рубашку, привезенную из Нью-Йорка, застегивавшуюся донизу, которую не надо было надевать через голову.

— До подобных удобств, — говорил он, — у нас еще не додумались!

Дома было у него множество пластинок, напетых на русском языке, привезенных из Америки. Он был большим поклонником Вертинского и Лещенко. Обладая довольно приличным голосом, А. И. любил по вечерам, в напряженной тишине камеры, еле слышно напевать эти эмигрантские, — как он говорил, — «непревзойденные шедевры».

Пускай теперь мы лишены
Родной семьи, родной страны,
Но верим мы, настанет час
И солнца луч блеснет для нас.

Голос его дрожал, в каждое слово вкладывал он не в меру много чувства; на глазах у него иногда выступали слезы.

Заключенным нравились и лещенковские, сердцешипательные песенки, с необычными для советского лексикона словами. Песенки эти хватали за душу, воскрешали «давно умолкнувшие чувства». Слушать их было приятно и больно: они подчеркивали безысходность нашей судьбы.



В жизни Александра Иосифовича было много забавных встреч. Об одной из них он мне рассказал примерно так:

«Это случилось в служебное время, когда я сидел в своем кабинете. Секретарь подал мне визитную карточку, на которой стояло: «Валерия Владимировна Барсова, народная артистка СССР». Я удивился визиту Барсовой, с которой не был знаком.

«Какие могут быть дела у артистки, — подумал я, — с дирекцией Краматорского комбината?». Барсова, однако, была знаменитостью и я не мог не принять ее.

— Пропустите Валерию Владимировну, — сказал я секретарю.

Последний замаялся немножко и произнес чуть таинственно:

— Это не она, а он!

— Что?! — Я чуть не обмер от удивления.

Через минуту передо мною стоял прилично, пожалуй, даже элегантно одетый молодой человек. Я был разочарован и рассержен. Для чего нужна была эта мистификация? Я спросил его вызывающе и строго:

— В чем дело? Почему вы злоупотребляете чужим именем и пользуетесь неприсвоенной вам фамилией?

На лице молодого человека отразилось смущение. Он был слишком юн и щеки его порозовели.

— Видите ли, — ответил он скромно, — я муж Валерии Владимировны. Я хочу договориться о проведении концерта у вас, на вашем комбинате. Со мною никто не разговаривал бы, если б я пользовался только своим именем. А имя Барсовой широко известно в Советском Союзе: оно открывало мне двери в самые труднодоступные места.

После небольшой паузы, я спросил Александра Иосифовича:

— Как же вы поступили с этим молодым человеком?

Александр Иосифович рассмеялся.

— Подписал, конечно, контракт о грядущих выступлениях Валерии Владимировны: Кроме того, по просьбе предприимчивого супруга, выдал ему довольно солидный аванс — в счет, как говорится, «будущих благ».



На Краматорском комбинате работало около 30.000 рабочих. Это был один из лучших, передовых гигантов советской индустрии. Комбинат был построен с таким расчетом, чтобы он в течение суток мог перестроить свою работу на военный лад и выпускать разные виды оружия, артиллерию и танки. При комбинате были склады, где заготовлено было огромное количество военного сырья. Этот запас обеспечивал бесперебойный выпуск продукции в течение пяти лет, при полной загрузке комбината.

В тридцатые годы комбинат переживал большие трудности.

Одной из них было отсутствие высококвалифицированного технического директора. Большинство крупных инженеров с дореволюционным опытом были арестованы, сосланы в Сибирь или расстреляны.

Серго Орджоникидзе, «болевший» за этот комбинат, просматривая как-то списки специалистов сосланных в лагерь, обнаружил там — к своему несказанному удивлению — бывшего главного инженера Крупновских заводов, приглашенного в Россию еще в царское время. Этот «онемеченный русский», прослуживший у Круппа более пятнадцати лет был арестован, обвинен в принадлежности к какой-то мифической контрреволюционной организации. Он отбывал «наказание» в одном из северных лагерей на Кольском полуострове.

Орджоникидзе решил дело быстро. Мандат об освобождении инженера Х., подписанный председателем Совнаркома, скрепленный ОГПУ, был вручен Александру Иосифовичу, который, в отдельном салон-вагоне, уже через несколько дней подъезжал к небольшому полустанку, расположенному на магистральной Мурманской железной дороге. Дальше, почти до самого лагеря вела узкоколейка. Замдиректора «Краматорки», в автомобиле начлага, проехал к неказистому, деревянному барраку, где помещалась группа инженеров и специалистов.

Появление ночных гостей напугало обитателей барака, ютившихся в небольшой комнатухе, освещенной самодельной «коптилкой». Когда, рассказывал Александр Иосифович, он вынул из рюкзака колбасу, консервы, жаренную курицу, белый хлеб, сладости и бутылку коньяку — у заключенных загорелись глаза и все жадно потянулись к этим давно невиданным лакомствам.

Инженер Х., облаченный в лохмотья, с безжизненным цветом лица, с провалившимися глазами, исхудалый и измученный — производил все же отрадное впечатление. Это был тип старого интеллигента, образованного, говорящего на европейских языках, воспитанного, имевшего безукоризненные манеры, сумевшего сохранить свое достоинство даже в условиях долголетнего рабского труда.

В изысканной обстановке барского салон-вагона, который не мог даже присниться заключенным, в удобных, кожаных креслах, за бокалом доброго вина — сидели новые знакомцы и мирно беседовали. Инженер Х. образно описал А. И. бесчело-

вечные условия жизни и работы на вновь созданной советской каторге. У Александра Иосифовича волосы стали дыбом: ни о чем подобном он никогда не слышал, даже от знакомых чекистов. Но он верил старому инженеру и что-то надорвалось в его душе, как он говорил.

Инженер Х. остановился в московской квартире своего освободителя. Из закрытого совнаркомовского распределителя принесли ему все, что требовалось для преобразования заключенного в знающего себе цену инженера.

Орджоникидзе принял инженера Х. с радостью, около двух часов спрашивал об условиях лагерной жизни, морщился, ругался, иногда хватался за голову. При прощании вручил конверт, где был приказ о назначении бывшего каторжника техническим директором Краматорского комбината и пачка денег — довольно солидная — на первое обзаведение. Заключенный, таким образом, приговоренный к бессрочной каторге — без пересмотра дела и суда — очутился на свободе, заняв одно из ведущих мест среди верхушки технической интеллигенции Советского Союза.

Александр Иосифович любил вспоминать о своей работе на «Краматорке». Помню, однажды он рассказал мне о «чуде» с компрессорами, которые нужно было купить за границей. Изготавливались они на заводах Круппа и стоили около 200.000 долларов, — конечно, в золотой валюте. Сумму эту можно было получить через Наркомвнешторг, урезав ассигнования других наркоматов: дело было сложное и нелегкое.

Когда А. И. разговаривал как-то об этих компрессорах с инженером Х., тот заметил: «Если память мне не изменяет, такие компрессоры заказывала царская Россия еще до войны. Следовало бы запросить об этом Круппа».

Через три недели из Германии пришел ответ. В нем говорилось приблизительно следующее: «Российское Императорское Правительство оплатило нам стоимость двух компрессоров, точно таких, какие нужны вам. Компрессоры были высланы на станцию Конотоп, в августе 1912 года. Рекомендуем перед дачей заказа, проверить получение и использование их».

В тот же день Александр Иосифович выехал на ст. Конотоп. Он поднял на ноги всю местную власть. К розыскам были привлечены, помимо милиции и НКВД, войска, находившиеся здесь на лагерной стоянке. Сначала работа увенчалась успехом:

в архиве ж.-д. станции была обнаружена накладная, датированная 1912-ым годом, говорившая о прибытии двух немецких ящиков. В течение недели город трясла лихорадка, однако, результаты были плачевные: компрессоры исчезли! Видя бесполезность дальнейших розысков — город и ближайшие окрестности были буквально перерыты — Александр Иосифович решил возвращаться, полагая, что здесь произошла какая-то ошибка. В день его отъезда, явился к нему дряхлый старик, заявивший, что он знает где хранится груз из Германии!

Старика торжественно усадили в автомобиль, за которым следовала вереница машин с представителями власти, НКВД и милиции. Через некоторое время машины остановились у большого деревянного сарая. Александр Иосифович, возглавлявший эту экспедицию, приказал взломать замок. Увы, в сарае находилось прессованное сено, сложенное до самой крыши. «Не здесь, не здесь, а там!» — горячился старик, указывая на заднюю стенку сарая. И, действительно, за оторванными досками стояли два деревянных ящика, в которых находились новенькие, тщательно упакованные немецкие компрессоры. К ним была прикреплена инструкция, напечатанная на немецком и русском языках.

— Да, — проговорил Александр Иосифович, — нам надо многому поучиться у капиталистов. Подумайте, ведь компрессоры-то простояли там около двадцати лет! В помещении, совершенно непригодном для этой цели.



Как-то Александр Иосифович рассказал мне поразительную историю — одну из весьма засекреченных тайн «Московского Двора», скрытую не только от высокопоставленных партийцев, но и от некоторых членов Политбюро, — которую ему рассказал Орджоникидзе. История эта касалась «Екатеринбургского злодеяния».

— Известно, по крайней мере, нам, — говорил мне Александр Иосифович, — что Ленин боялся контрреволюции: у него не было уверенности в прочности власти. Когда было дано распоряжение Уральскому Совету о «ликвидации царской семьи», Ленин приказал, чтобы голова Николая II-го была сохранена и доставлена в Москву. Приказ этот был выполнен. «Страшный экспонат» находился в секретном сейфе, ключ от которого хранился у Ильича. После его смерти, когда Сталин стал уже вла-

стелином России, он распорядился вынуть из сейфа заспиртованную голову царя и замуровать ее в одной из кремлевских стен. Свидетелями этой процедуры были только трое: Сталин, Орджоникидзе и Менжинский — тогдашний глава ОГПУ. Сталин, смотря на голову царя, будто бы заметил: «Сейчас она уже нам не нужна». О судьбе рабочих, производивших эту операцию, — добавил Александр Иосифович, — должно было позаботиться ОГПУ.

Я отнесся с недоверием к этому рассказу. Александр Иосифович только пожал плечами.

— Скажите, — заметил он, — для чего же бы было нужно Орджоникидзе рассказывать мне такую неправду?



Приходилось бывать Александру Иосифовичу на заседаниях Совнаркома СССР. В то время, Сталин был его председателем, исполняя одновременно обязанности генерального секретаря ЦК партии.

По словам Каневского, Сталин почти никогда не председательствовал на этих заседаниях. Он передавал свои функции обычно Молотову, Кагановичу или Ворошилову.

В обширной комнате, где помещался зал заседаний Совнаркома, стоял большой, длинный стол, за которым восседали члены Политбюро, Совнаркома и приглашенные специалисты.

Около председательствовавшего, немного в стороне, помещался отдельный письменный стол, предназначенный для Сталина. Роль его на заседаниях, обычно, была пассивной. Диктатор курил свою трубку, посматривал в окна, погруженный в свои мысли и чертил что-то на бумаге, лежавшей перед ним. Казалось, что вопросы, решаемые на «высшем уровне» не интересовали его. Только иногда всматривался он в докладчика, особенно в новое лицо, появлявшееся перед его глазами. В этих случаях, новичек терялся, смущенный беззастенчиво-испытывающим, замораживающим взглядом «сошедшего на землю всемогущего бога».

Изредка, бывало, бросал он короткие замечания, к которым прислушивались все с глубочайшим почтением, рабски принимая их без обсуждения.

Резолюции, как правило, были заготовлены заранее, согласованы со Сталиным и всеми заинтересованными лицами. Во-

просы решались быстро, легко, не вызывая прений. Правда, были иногда отступления от заведенного, ставшего традицией, порядка.

На одном из заседаний, где стоял вопрос о довольно крупных ассигнованиях на расширение Краматорского комбината, докладчиком был Каневский. Вопрос был решен, конечно, заранее и проект резолюции был санкционирован Сталиным. После доклада прений не было и резолюция была прочтена одним из технических секретарей Совнаркома.

Молотов, как председательствовавший, поставил ее на голосование. Сначала подняли руки члены Политбюро — таков был общепринятый церемониал — затем члены Совнаркома, наконец, все остальные. Молотов провозгласил: «Принята единогласно!» Повернувшись затем в сторону Сталина, он к ужасу своему увидел, что председатель Совнаркома, он же генеральный секретарь ЦК, смотрит в окно, не обращая ни малейшего внимания на то, что делается в зале. Растерявшись — так же как и все присутствовавшие — он робко обратился к Сталину: «Мы решаем вопрос об ассигнованиях Краматорскому комбинату. Согласны ли вы, Иосиф Виссарионович, с предложенной резолюцией?»

Сталин спокойно продолжал смотреть в окно, заинтересовавшись, вероятно, воробьем, севшим на подоконник. И только после того, когда Молотов вторично задал тот же вопрос, Сталин повернулся, холодно посмотрел на него, выбил пепел из своей трубки, положил ее на стол и, помолчав немного, при гробовой тишине присутствовавших, проговорил (Каневский рассказывал, что хорошо запомнил эту фразу, произнесенную с грузинским акцентом): «Нэ нужно никаких ассыгнований!»

Затем он повернулся и начал рисовать на бумаге какие-то фигурки, походившие не то на чертиков, не то на членов Совнаркома: об этом, после заседания сказал Каневскому Орджоникидзе, не могший скрыть своего гнева.

Молотов покраснел. Привыкший, однако, к подобным афронтам, он быстро пришел в себя: «Товарищи, — произнес он уверенно-невозмутимо как будто по этому вопросу никакого голосования и не было, — кто за предложение товарища Сталина?»

Мгновенно, как по команде, все взмахнули руками, игнорируя предусмотренную регламентом «табель о рангах». Во-

прос, решенный минуту тому назад единогласно — по мановению диктатора — провалился: такова была пролетарская демократия.



В одной из камер Лубянки, Александр Иосифович встретился — всего на несколько часов — с доктором Калиновским. Он познакомился с ним на одном из вечеров, которые любил устраивать Орджоникидзе у себя дома. Доктор Калиновский был личным врачом наркома: он запросто бывал у своего шефа, был вхож в его домашнюю жизнь.

Серго Орджоникидзе умер неожиданно. Первым, кто узнал о смерти его — был доктор Калиновский. Он был вызван по телефону женой Серго, перепуганной до смерти. И только после того, как доктор приступил к осмотру тела умершего, жена покойного поставила о случившемся в известность надлежащие власти и НКВД.

Предварительный осмотр тела покойного показал признаки отравления. Не успел, однако, доктор довести свой осмотр до конца, как раздался нетерпеливый звонок и громоподобный стук в дверь. В квартиру наркома грубо ворвались пятеро вооруженных энкаведистов. Не обращая внимания на тело умершего, на атмосферу смерти, царившую в квартире, на рыдание жены, стоявшей на коленях в изголовии усопшего — начали повальный обыск. Содержимое столов, шкафов, комодов летело на пол. Карманы пальто, костюмов, носильных вещей выворачивались наизнанку. Тщательно просматривалась каждая книга, как будто в ней могло быть спрятано что-то секретное. У работников НКВД не было уважения ни к высокому сану покойного, ни к его заслугам перед властью, ни к несчастной женщине, потерявшей мужа.

Чего же так искали эти вооруженные энкаведисты? Какие могли быть компрометирующие документы у ближайшего и доверенного друга Сталина?

Во время этого поспешного обыска, как-то незаметно в квартиру вошел еще один человек. В руке у него был небольшой чемоданчик. Можно было подумать, что это еще один из представителей медицинского мира, выполнявший особо доверенные задания НКВД.

Быстрыми шагами он подошел к доктору Калиновскому, мертвой хваткой схватил его за плечо и начал трясти так, будто

доктора нужно было пробудить от летаргического сна. После этого своеобразного приветствия, между ними произошел примерно такой диалог:

— Кто вы такой? — нагло закричал штатский энкаведист. Видно было сразу, что он чувствует себя здесь полным хозяином.

— Я личный врач товарища Орджоникидзе... Приехал сюда по вызову жены покойного...

— И что же, — произнес с усмешкой представитель НКВД, — вы определили уже причину смерти товарища Серго?

— Нет, не совсем, — стараясь говорить спокойно, ответил доктор.

Сильным ударом энкаведист толкнул доктора в грудь.

— Пошел вон, — закричал энкаведист, — сволочь, неуч!

Заступничество жены Орджоникидзе не помогло: энкаведисты выбросили несчастного доктора на лестницу. Но не успел он выйти на улицу, как был арестован энкаведистами и увезен на Лубянку.



В последний раз я встретился с Александром Иосифовичем в другой тюрьме, в маленькой камере, в которой едва помешались две койки. Встретились мы радостно, как старые друзья. Мой тюремный коллега ждал суда ревтрибунала: дело его было закончено. Отказаться от своих прежних показаний ему не позволили, несмотря на жалобы прокурору, в НКВД, в трибунал и, наконец, — самому Сталину.

Три дня длились заседания ревтрибунала. Все обвиняемые по его делу были оправданы и выпущены на свободу. Только его одного признали виновным и присудили к восьми годам ссылки в лагеря.

После суда ему разрешили свидание с женой, в присутствии капитана НКВД. Свидание длилось ровно пять минут.



Когда меня выпустили, я немедленно дал знать об этом жене Александра Иосифовича. Через несколько дней она сидела передо мною. Вероятно, совсем недавно она была очень красивой женщиной: сейчас следы преждевременного увядания были заметны на ее лице. В течение четырех часов она слушала мою

трагическую повесть, вытирая слезы, обильно катившиеся из ее глаз.

Расстались мы сердечно и тепло. Она ушла потерянная, потрясенная.

Николай Туров

В РЕВОЛЮЦИЮ — НА ФРОНТЕ

(1914—1917)

Житель Петербурга, я мог наблюдать, как объявление войны Германии 1 августа 1914 г. было встречено населением больших городов. По свидетельству военных властей, мобилизация проходила успешно. В Петербурге, который тем временем превратился в Петроград, шли массовые манифестации против немцев, столь непохожие на волнения рабочих, которые я видел на окраинах нашего города в июле 1914 г. Замечательно, что вся неприязнь направлялась против Германии, а не Австрии, действия которой послужили толчком к войне. В населении был несомненный подъем; но откуда он взялся? Городское население, конечно, было грамотным, читало газеты, знало о нападении Австрии на Сербию. Но что было в деревне? В своем романе А. Толстой так говорит о настроении подгородной деревни: подъем был, все поднялись, как только узнали, что солдатам дают и мясо, и чай с сахаром, и табак. Это ироническое объяснение, конечно, недостаточно, война тогда явно поддерживалась широкими слоями населения.

Могу судить по себе: я не думал о германском империализме, когда явился к отбыванию воинской повинности раньше срока, просто был захвачен общим течением. С азбукой военного дела я познакомился в Луге, где надел военную форму и начал обучаться военному делу. Здесь нас учили, как обращаться с пушкой и ухаживать за лошадью. Но эти артиллерийские занятия скоро прекратились, так как уже в первый месяц войны обнаружился недостаток в офицерах, и для их спешной подготовки были устроены школы прапорщиков (пехоты).

Я попал в Ораниенбаумскую школу. Она состояла из четырех рот, с офицером в каждом взводе; занимались с нами по уставам, упражнениями в поле и обучением стрельбе. Военные знания мы получали сами по сокращенным руководствам; это было не трудно, потому что все мы были людьми образованными. Начальником школы был полковник Пастухов, строго смотревший за дисциплиной.

В четыре месяца из «индивидуальных личностей» мы превратились в «чинов военного ведомства». Каковы были наши военные знания? Не больше, чем у хорошего унтер-офицера мирного времени; больше и нельзя было ожидать при таком кратком курсе. Остальное должна была дать военная жизнь.

В январе 1915 г. мы были произведены в офицеры, надели золотые погоны. Первым поручением, которое я получил, было привести эшелон из Сибири, где мобилизация еще не закончилась. Это значит, что я стал начальником 1000 людей, которых я должен был держать в порядке и кормить в пути. Последнее осуществлялось на этапных пунктах; благодаря сибирской дешевизне, пища была обильная и превосходная.

Ранней весной мы прибыли в Польшу. Я сдал свой эшелон, потеряв отставшими только три человека, а сам был зачислен в 37-й маршевый батальон. Нашей задачей было спешно готовить маршевые роты и доставлять их на фронт. Фронт колебался; а с ним отступали и мы, останавливаясь в Кельцах, Радоме, Нов. Александрии (Пулавы), Кобрине (под Брестом). Настроение войск оставалось бодрым, а симпатии польского общества были на нашей стороне. Но после потери Варшавы и падения крепостей в Польше (август), наше отступление стало катастрофическим; причина хорошо известна: совершенный недостаток оружия и боеприпасов. На фронте просто нехватало винтовок для солдат, хотя рассказы о том, что они сражались топорами, конечно, преувеличены.

Наша артиллерия могла давать только один выстрел в день (на батарею) в ответ на поток германских снарядов. Фронт стабилизировался только осенью, на линии Рига, Двинск, Пинские болота, Волынь, Тарнополь. Наш батальон был отведен в глубокий тыл, в городок Осташков. На первых порах нам не удалось даже обмундировать наших солдат; они были одеты в разноцветные рубашки и маршировали босиком.

В нашем батальоне было некоторое число кадровых офицеров, и я мог познакомиться с типом этих людей. Студент и офицер давно были антагонистами в русском обществе. К моему удивлению, я не встретил никаких затруднений в новом обществе и не нашел здесь людей, описанных Куприным в его «Поединке»; после японской войны и нравы и порядки в армии переменились. Мой ротный командир шт.-кап. Шмигельский был интеллигентный человек, доброжелательный к сослуживцам и сдержанный с солдатами, критический к начальству; со мной он

обращался дружественно. Бывало ли у нас битьё солдат? Большинство офицеров было либо из запаса, либо молодежь, как я, и таких приемов, конечно, не практиковали. Во всяком случае, рукоприкладство было исключением и не делалось открыто. Монотонная жизнь в уездном городе — занятия в поле, «словесность», маршировка.

Командиром батальона был полк. Водяга, офицер старой службы и со старыми взглядами. Он не был жесток, но суров с солдатами и резок с офицерами; высшее начальство ценило его за строгую дисциплину. Ко мне он относился снисходительно, вероятно, из-за моего университетского звания. Раз, однако, я подвергся строгому взысканию, и должен сказать, что заслужил это.

К зиме на фронте установилась окопная война, и для нее понадобились новые приемы. Вместе с другими офицерами я был командирован для изучения траншейных орудий на артиллерийский полигон под Петроградом. Перед нами демонстрировались орудия разного типа. Артиллерийское начальство остановилось на бомбометах, очень примитивном оружии с неправильным полетом снаряда, и на минометах — прообраз нынешнего ракетного оружия. Когда были предложены снаряды, которые разбрызгивали серную кислоту, наше правительство признало такой прием варварским. Немцы, введя позже огнеметы, таких стеснений не испытывали.

В начале 1916 года я был переведен в Свеаборг, входивший в состав 6-й армии, расположенной на финском берегу. Местное население было ненадежно, из-за националистической политики правительства перед войной; однако, зимой опасаться немецкого десанта не приходилось. Наоборот, поблизости от нашей крепости был Гельсингфорс, с его удобствами и удовольствиями; для пользования тем и другим, правительство любезно снабжало нас деньгами, уплачивая жалованье финскими марками по высокому курсу рубля.

Между тем положение на фронте изменилось к лучшему. За зиму войска были хорошо снабжены орудиями и снарядами, ружьями и патронами; прибывали хорошо обученные пополнения, с которыми попал и я на юг России. Подготавливалось наступление, сначала на западном, а потом на юго-западном фронте, которым теперь командовал ген. Брусилов. Он уже получил известность своими победами в Галиции, когда командовал

8-ой армией, и не было важно, было ли это только военное счастье, как говорили его противники. По первому плану, главный удар предполагался на западном фронте, а войскам Брусилова отводилась второстепенная роль. Но успех его превзошел ожидания, и осуществился знаменитый «Брусилловский прорыв»; он состоял из последовательных ударов по всей линии фронта, включавшего четыре армии, так что неприятель не мог концентрировать войска для отпора.

Наступление началось 4 июня 1916 г. Наибольший успех проявила 9-ая армия, которой командовал ген. Лечицкий и в которую входил наш полк. Это был выдающийся боевой генерал, сделавший карьеру своим трудом и способностями еще со времен русско-японской войны. Позже он был начальником дивизии, и армейской, и гвардейской, и командовал Приамурским военным округом. Он заботился о боевой тренировке своих войск, был строг к подчиненным ему начальникам и, один из немногих генералов, умел маневрировать. 9-ая армия зашла далеко вглубь Галиции, но на правом фланге фронта (в направлении на Луцк) продвижение не было таким быстрым, и армия Лечицкого была передвинута на юг в Буковину. Наступление Брусилова расшатало австрийскую армию, потерявшую 700.000 человек (вместе с 375.000 пленными); но и наши потери были велики, доходя до 500.000. Брусилловский прорыв был большим тактическим успехом, но не изменил общего стратегического положения.

Нам, офицерам и солдатам, участникам этих боев, такие соображения были чужды, мы только знали, что мы наступали и имели успех как никогда. Эти большие события, взятые в пределах одного полка, развертывались так. Наступлению предшествовала тщательная подготовка за боевой линией; воздушная разведка выясняла характер и расположение неприятельских окопов. Бою предшествовала продолжительная артиллерийская подготовка, разбивавшая проволоку перед окопами и самые окопы. Это было так непохоже на то, что происходило при нашем прошлогоднем отступлении из Галиции. Войска, видя энергичную поддержку артиллерии, действовали уверенно. Наш Грязовецкий полк пользовался известностью не только в нашей дивизии, но и в рядах противника; недаром наш командир ген.-майор Наставин получил, за отличие полка, свой высокий чин, что было возможно только в гвардейских полках.

Перейдя австрийскую границу (на Украине), наш полк начал быстро продвигаться вперед, захватывая с боем малые городки и большие города Галиции; происходили серьезные сражения при взятии Коломыи и Станиславова. Последний был хорошо укреплен, и его падение было неожиданным для австрийских властей. Противник вообще держался стойко, пока чувствовал поддержку своей артиллерии; опасным моментом для нас было, когда мы попадали под заградительный огонь; но пройдя эту полосу, мы уже были готовы к атаке. В этом, впрочем, не всегда была надобность; в ответ на призыв наших солдат к сдаче, солдаты австрийской армии часто не принимали штыкового боя и, действительно, сдавались. Иная картина получалась, когда перед нами стояла германская пехота: немцы поливали нас пулеметным огнем, когда мы доходили до самых окопов. И если отступали, то не спеша, обороняясь и в порядке.

К вечеру, как было под Станиславовым, определился наш полный успех; число пленных было больше численности нашего полка, но и наши роты, только что получившие пополнение, были сильно потрепаны. Наступление продолжалось немедленно, но еще быстрее шло отступление противника, и нам оставалось лишь смотреть по пути на брошенные окопы, с несколькими рядами проволочных заграждений.

Здесь уместно вспомнить некоторые наблюдения, которые я мог сделать при нашем наступлении. Все знали, что Германия первая объявила войну России и что часть русской земли была занята немцами. Положение с Австрией было более сложное, особенно в Галиции. Австрийцы были разбиты и потеряли часть своей территории. Здесь наши солдаты встретились с родственным населением — украинцами и русинами. Среди австрийских солдат было много «братьев-славян». Попав в плен, они считали свою военную карьеру законченной. Вражды у них к нам, а у нас к ним не было. Это нам благоприятствовало.

Та неуловимая сила, которая называется духом войска, была тогда на большой высоте. Наше начальство при желании могло поддерживать порыв солдат, и наш начальник дивизии ген.-лейт. Шипов умел это делать. Это был представительный старик с суворовскими манерами: требовал быстрых и точных ответов от офицеров, всегда хвалил молодцов-солдат. Он был в восторге, когда я сказал о своих солдатах: «они все хороши». Посещая окопы, он бывал в опасных местах или вылезал на бан-

кет (насыпь), причем раскрывал громадную карту, а его шинель развевалась по ветру. Самый захудалый солдат, видя своего начальника чуть не перед врагом, подтягивался и ободрялся.

Русские офицеры, даже по признанию противника, всегда отличались храбростью, подвергая себя излишней опасности. Но что такое храбрость? По определению Толстого, храбр тот, кто в бою делает свое дело; действительно, перед боем никто не думал о смерти, а заботился, чтобы не быть голодным в этот день, и в бою старался смотреть за солдатами и их продвижением вперед. Среди офицеров было много, получивших георгиевский крест, — высокую боевую награду за храбрость. Что касается страха, то это было чувство самосохранения, естественное в такой обстановке, о чем верно пишет ген. Головин. Но страх сдерживается и побеждается чувством долга. Мне пришлось видеть, как младший офицер моей роты не мог контролировать себя; это был человек с повышенной чувствительностью, и он совершенно потерял голову. Но я знаю другой пример, когда кадровый офицер, человек храбрости и долга, был так потрясен видом атаки, что покончил самоубийством после боя.

Война родит героев, это верно; но война же развязывает и темные инстинкты человека. Это особенно сказывается на отношении к чужому населению, где становится возможным всякого рода насилие. Население Галиции от нашего вторжения не страдало; могли быть насилия над женщинами, как отдельные случаи, но не как распространенное явление. Прискорбным явлением был грабеж. У немцев он велся организованно; ценное имущество чужого населения захватывалось и отправлялось в тыл; не брезговали этим и офицеры. У нас для рядового пехотного солдата это было просто невозможно: как он мог унести захваченную добычу? Но для конных частей, особенно казачьих, это было доступно. Помню, как при нашем движении к Станиславу пострадал от них городок Тысменица, после чего был отдан приказ, в котором «запрещалось приобретать у населения товары без уплаты стоимости таковых».

Как я уже сказал, армия Лечицкого была передвинута на юг в Буковину, где заняла линию Делатин-Кимполунг. Это была прекрасная страна, предгорье Карпат. Дороги, кстати сказать, построенные трудом русских военнопленных, пролегли в долинах, поросших густым лесом, а повыше, среди фруктовых

садов стояли живописные городки. Места были красивые, но неудобные для действий артиллерии. Тем не менее, наши войска взяли столицу Буковины — Черновицы, чего мне не пришлось наблюдать. В это время была предпринята новая организация армии; четырехбатальонные полки сводились в трехбатальонные, для удобства маневрирования; за этот счет формировались новые полки. Таким образом появились 60 новых дивизий, для которых не хватало, однако, ни артиллерии, ни старших начальников. В один из таких полков, Острогожский, я и был назначен на должность ротного командира.

Наш полк был третьеочередной во всех отношениях; до самого конца войны, он не обзавелся достаточным техническим имуществом, среди солдат было много ополченцев; подстать были и командиры: первый из них был престарелый офицер, живший воспоминаниями о Турецкой войне, второй был помоложе, но «военный опыт» его ограничивался службой полицмейстером. Наконец, командиром полка был назначен полк. Степанов, боевой офицер с многими отличиями; он знал меня еще по старой службе. Начальником нашей дивизии был ген.-лейт. Лихачев — новый для меня тип начальника. Видимо, чтобы поднять боеспособность дивизии, он насаждал в солдатах страх своими неистовыми угрозами, вполне реальными при его власти, и был невероятно груб с офицерами. Своими приемами воспитания войск, он прямо вызывал к себе вражду. Мне пришлось познакомиться с манерами генерала, когда на одной станции, во время передвижения войск, он обрушился на меня с криком и бранью, могу сказать, ни за что, ни про что. Мы были рады, когда наш полк был временно передан в другую дивизию, которая должна была занимать позиции в Карпатах.

Перемена начальства была приятной. Нас встретил командир корпуса ген.-лейт. Миллер (позже председатель Русского Общевоинского Союза за границей, похищенный большевиками в Париже). Он произвел смотр, нашел полк в порядке и похвалил солдат и офицеров. Дивизия была «тихой», значит, позиция не была опасной. Это случилось зимой, мы стояли среди леса в горах, а против нас в таком же положении находился противник, на этот раз германская пехота. О форсировании Карпат, помня прежний опыт, вряд ли приходилось думать. Но оборона Валепутны имела ключевое значение; отсюда шла дорога на Дорна Ватру, и открывался спуск в равнину Венгрии, что создавало беспокойство для австрийского командования.

Между тем 9-ая армия, в состав которой входил наш полк, перешла в Румынию, где образовался новый фронт. Это было результатом вступления в войну Румынии, долго колебавшейся в выборе союзников (17 авг.). Ее армия была быстро разбита германскими войсками, и несколько русских армий было перебросено в Румынию. Мы сразу увидели недостатки ее как союзника; здешний транспорт был плох для перевозки войск, и мы должны были сделать свой поход холодной зимой в глубоком снегу. Наше мнение о румынской армии было нелестное; артиллерия была малыми 2½-дюймовыми снарядами, пехота вооружена устарелыми ружьями. Солдаты были плохо одеты и еще хуже питались, зато офицеры заботились о своей внешности и косметике. В этой стране мы были гостями, но фактически оказались хозяевами, по крайней мере, в военном отношении.

Находясь в Румынии, мы получили известие о февральской революции 1917 г. Из киевских газет, которые мы читали, мы знали об отсрочке заседаний Государственной Думы и о волнениях в рабочих районах Петрограда. Революционный взрыв нам казался возможным, но известие о нем было все-таки неожиданным. Для высшего же начальства это было и невозможно и неожиданно. Что думали солдаты, нам оставалось только гадать. Два документа, которые нам были прочтены — манифест об отречении Императора Николая II и о передаче власти вел. князю Михаилу и приказ его же о назначении нового правительства (все министры из думской оппозиции) были неясны. Высшее начальство делало вид, что произошла только смена верховного командования и в армии все остается по-прежнему. Но не надолго. Пришел приказ об обращении солдат к офицерам и генералам по чинам, без обычного титулования. Другой приказ, делавший отдавание чести необязательным, на фронте привился не сразу. Эти перемены были чисто внешние, но важные в военном быту, если припомнить, сколько времени и труда тратилось на это титулование и отдавание чести.

Наше положение в Румынии стало двусмысленным. Ведь революция произошла у нас, а у них оставались свои порядки. Мало того: румынский король Фердинанд официально был нашим главнокомандующим, а наш ген. Щербачев лишь его помощником. Трения были неизбежны. Наши солдаты чувствовали симпатию к здешним крестьянам; те жили в плохих полутемных избах, скот был малорослый, земля бедная, в общем все было даже хуже, чем в России. Румынские социалисты вели агитацию

среди крестьян, один из них — Раковский — сидел в тюрьме. Наши солдаты вступились и освободили его; впоследствии он был одним из комиссаров советского правительства.

Между тем наш полк уже оставил позиции в Карпатах и был размещен в северной Молдавии. Первой важной переменной в жизни армии было устройство комитетов от полковых до армейских. Это не была какая-то самочинная организация, они были введены по приказу военного министра от 16-го апреля, № 213. Правила о комитетях были разработаны комиссией известного ген. Поливанова, и к ним были прибавлены правила о дисциплинарных судах. Офицеры лишались права налагать дисциплинарные взыскания, что не избавляло их от ответственности за врученное им дело. Как сторонники войны, теперь они могли подвергаться всяким нападкам и угрозам. Бывали случаи прямого насилия, даже убийства.

Роль комитетов в армии мало освещена в литературе; по мнению командного состава она была просто вредной; это мнение было особенно решительно высказано ген. Деникиным на совещании главнокомандующих в июльские дни. Надо различать высшие (армейские) и низшие (полковые) комитеты; первые были больше оборонческими, вторые поддавались агитации против войны. Имело значение также и место на фронте; в северных армиях чувствовалась близость столиц, и началась большевицкая деятельность, как это было в 12-ой армии; этого не было в южных армиях, которые были расположены в более отдаленных областях или за границей (Кавказ, Румыния). В общем, можно сказать, армейские комитеты поддерживали Временное правительство, что обуславливалось их более высоким образовательным уровнем и демократическими симпатиями. Отношения с командующими армий были различны, бывали случаи хорошего сотрудничества, как например, во 2-ой армии (ген. Данилов) или у нас в 9-ой (ген. Келчевский). Во время Корниловского выступления, армейские комитеты стали на сторону Временного правительства, а при большевицком перевороте, наоборот, держались пассивно. Конечно, было соперничество между армейскими комитетами и командирами, но комитеты не стремились подрывать власть последних. Без их посредничества всякий авторитет в армии был бы уничтожен, и было бы много больше эксцессов против командного состава. Показательно мнение большевиков об армейских комитетах; по

их словам, это были волки в овечьей шкуре, которые всячески старались продолжать войну.

Обращаюсь теперь к моему личному опыту. Наш полк выбрал двух делегатов, офицера и солдата, в дивизионный комитет; офицерским кандидатом был я. В дивизионном комитете можно было еще раз убедиться в страхе, который вызывал ген. Лихачев, несмотря на происшедшую перемену обстановки. Я предложил программу наших пожеланий, говоря военным языком, в области внутренней службы и дисциплинарного устава. Мне и поручили осуществлять эту программу в армейском комитете 9-ой армии и особенно добиваться смены нашего начальника.

Штаб армии стоял в городе Роман. Там и собрался наш комитет, в числе более чем 40 членов, так как наша армия включала более 20 дивизий. В комитете было довольно много офицеров, некоторые в чине полковников. В его составе оказалось несколько старых партийных работников (соц.-демократов и соц.-революционеров), которые образовали свои фракции и стали руководить работой комитета. Политических вопросов нам в нашем далеке решать не приходилось, это делалось в Петрограде, но обсуждать их было можно, и речей было много. Вопросы, возникшие перед нами, были чисто армейского характера, и по их обсуждению они представлялись командующему армии на утверждение. Председатель комитета регулярно докладывал командующему. Председателями в течение 1917 г. были врач Ланда, прап. Шмелев и я. Комитет, однако, не был новым бюрократическим учреждением для обсуждения деталей военного быта; он выполнял более ответственную задачу.

По идее наши комитеты должны были заботиться о сохранении боеспособности армии в условиях революционного времени. Посмотрим, насколько это удавалось. Мы получали разные жалобы из частей 9-ой армии, расследовали их и представляли на решение командующего. Комитет стал как бы фильтром, сквозь который выливалось накопившееся недовольство солдат. При столкновениях между солдатами и офицерами, полковое начальство часто вызывало нас в тот или другой полк и наши делегаты старались убеждать, мирить, находить приемлемое решение. Бывали случаи, когда столкновения переходили в насилие (раз было даже убийство начальника), и надо было много труда и такта, чтобы предотвратить открытый бунт.

Большевицкая пропаганда мало проникала на наш фронт, но бывало, что где-нибудь возникал опасный очаг агитации. Я помню дело пор. Ременникова, действия которого прямо вносили разложение в дивизию. Так как высшее начальство не могло здесь ничего предпринять, армейскому комитету пришлось взять на себя полицейскую функцию; несколько членов комитета отправились на место, потребовали выдачи Ременникова и доставили его к командиру корпуса. Он был предан военному суду, но что это для него значило при возраставшей незаконности? Более благодарная роль выпала на долю комитета, когда началось июльское наступление на юго-западном фронте. Члены комитета отправились на фронт 9-ой армии и участвовали в наступлении на Сату Нову, идя впереди солдат.

Я не хочу сказать, что все шло без трений и срывов. Отнюдь нет. Сложность и необычность работы армейского комитета, недоброжелательность штаба армии, неопределенность функций и ответственности комитета приводили часто к недоумениям и крайностям. Когда июльское наступление кончилось неудачей, ген. Корнилов был назначен верховным главнокомандующим. Совершенно неожиданно для себя мы узнали, что он хотел предать суду весь состав комитета за обсуждение боевого приказа. Но это дело скоро уладил прибывший комиссар Временного правительства. В это время уже была введена такая должность при армиях.

Благодаря моей работе в армейском комитете, я получил возможность встречаться с лицами командного состава в высоком ранге и с различным складом характера. Однажды ген. Левицкий, открыв заседание комитета, сказал, что он не может отвечать за армию, не имея полноты власти, и отметил начавшиеся нарушения дисциплины. Служить при новых порядках он не мог и подал в отставку, как ни просил его военный министр остаться. Сменивший его ген.-лейт. Ступин сделал карьеру во время войны; то был боевой генерал, прямой и скромный; с комитетом он как-то не поладил, может быть, под влиянием своего штаба. Командующего армией потом заменяли командиры корпусов, из которых мне запомнился ген.-лейт. Юнаков, из штабных генералов, военный историк, как ни странно, сочувствовавший анархизму (теоретически). Рост анархии в армии, при утрате авторитета, он считал неизбежным. При частой смене командующих, главную роль стал играть начальник штаба,

ген.-лейт. Келчевский, с которым у комитета установились доброжелательные отношения.

После боевых генералов появились генералы-честолюбцы. Первым из них был ген.-лейт. Черемисов, с успехом проведенный в июле наступление на Калуш (в Галиции) и назначенный командующим 9-ой армии. Он был хороший оратор и большой дипломат. Своему товарищу по Военной академии, Келчевскому, он внушил какие возможности открываются для него при новом положении, что и оправдалось. С уходом Черемисова на пост главнокомандующего Северным фронтом, Келчевский был назначен командующим нашей армией, с производством в ген.-лейтенанты, чего он никак не ожидал.

На румынском фронте мы получали мало сведений, кроме газетных, о том, что делалось в Петрограде, в политических и военных кругах; чтобы выяснить то и другое, в конце мая, в Петроград были отправлены я и другой член комитета. У нас был ряд пожеланий относительно работы армейского комитета, которые мы и представили тогдашнему военному министру Керенскому. Посещая Таврический дворец, мы нашли там и других делегатов, прибывших с фронта, с которыми составили группу фронтовиков. Так как наше положение таким образом укрепилось, мы могли теперь просить нужных разъяснений у ответственных лиц.

Солдаты на фронте смотрели на петроградский совет с какой-то особой верой, и было естественно, что мы заявили туда с нашими вопросами. Один из видных членов совета (не помню кто) говорил нам об отношении социалистических партий к войне; противники «империалистической» войны, в данном случае они стояли на оборонческой позиции. Почти то же сказал пом. военного министра, ген.-майор Туманов, осведомивший нас о предположенных изменениях солдатского быта; но демократизация армии не должна была нарушать ее боеспособности. Настроение петроградского гарнизона нам было известно, и мы относились к нему критически, что и вызвало недовольство с той стороны. Для ознакомления с настроениями рабочих я посетил большой Путиловский завод, работавший на оборону, и рассказал там, в чем нуждался фронт; рабочие слушали меня терпеливо, и лишь раз я услышал крик: «Передайте там, чтобы скорей кончали войну!» 3-го июня в Петрограде открылся Всероссийский съезд советов, и так как там были также армейские

представители, мы могли оставить столицу и вернуться на фронт, где ожидалось большие события.

18 июня Керенский отдал приказ о наступлении, которое было начато на юго-западном фронте и сначала велось успешно, особенно в армии ген. Корнилова, где были взяты Калуш и Галич. Но когда немцы двинули туда ударные части, русское наступление сменилось поражением, которое перешло в бегство; всякий порядок был утрачен, солдаты занимались грабежом и насилиями. 11 июля русское отступление остановилось, генерал Корнилов вскоре был назначен верховным главнокомандующим. Как председателю арм. комитета, мне довелось близко наблюдать последствия этих событий. 20 августа Ставка вызвала в Могилев всех председателей арм. комитетов вместе с представителями армейских штабов, на совещание. Официальной целью было ознакомление с новыми правилами о комитетах, объемистый проект которых нам читал граф И. Толстой; проектом предполагалось ввести эти комитеты в точные рамки военных учреждений. Но за этим стояло что-то большее, в Ставку прибыл зам. военного министра Савинков и вел какие-то секретные переговоры с комиссаром Временного правительства Филоненко, который осуществлял связь между Керенским и Корниловым.

Мы не без удивления смотрели на недавнего революционера, теперь старавшегося сохранить боеспособность армии всякими средствами, вплоть до устрашения смертной казнью; но он не мог отрешиться от старой привычки — недоверчиво смотрел на офицеров. Был на совещании и зав. политическим отделом военного министерства пор. Степун. При разговоре с ним я увидел, что он пессимистически смотрел на положение на фронте; армия разваливалась, лучше было бы демобилизовать ее, оставив меньшую, но крепкую силу для обороны фронта и поддержания правительства. Цель такого необычайного совещания — военная, политическая или какая иная, оставалась для нас неясной.

Наконец, мы встретились и с самим верховным главнокомандующим ген. Корниловым, в котором одни видели спасителя отечества, другие — будущего Бонапарта. Он явился на совещание в сопровождении высших чинов Ставки и обратился к нам с краткой, но сильной речью. Он нервно говорил о разложении армии, о падении дисциплины и особенно об опасности на Северном фронте, где была возможна потеря Риги, а тогда и угроза

самому Петрограду. Это надо отметить, потому что в советской литературе проводится мысль о намеренной сдаче Риги немцам. Совещание кончилось, можно сказать, ничем; лишь по дороге на фронт мы узнали о приказе Керенского об отставке Корнилова. Дальнейшие события известны; в армии они еще более усилили недоверие солдат к офицерам, на которых они стали смотреть, как на заговорщиков. Высший командный состав остался на стороне правительства, вольно или невольно, исключая Западный фронт, где ген. Деникин и высшие чины его штаба примкнули к Корнилову.

Но вот настали октябрьские дни, когда в результате большевицкого переворота Ставка осталась без главнокомандующего, место которого заступил начальник его штаба ген.-лейт. Духонин. Советское правительство потребовало от него начать переговоры о мире, но с кем? Ведь Германия была не одна, у нас был союзник в Румынии. 15 ноября Духонин спешно вызвал председателей арм. комитетов в Ставку; юго-западный и румынский фронт обещали ему поддержку, но вряд ли сами были в ней уверены. Между тем новое правительство отправило «завоевательную» экспедицию против Ставки — отряд в 5.000 балтийских матросов под командой прап. Крыленко, сделав его «главковерхом». Этих сил оказалось достаточно, чтобы арестовать на Северном фронте генералов, которые отказались вести переговоры с немцами.

В самой Ставке возник проект о переходе на один из южных фронтов, и уже начались приготовления к эвакуации аппарата Ставки; но невидимая рука остановила эти приготовления. Сам Духонин решил остаться на месте, потому что некому было передать пост. Он явился на собрание, где обсуждалась возможность сопротивления. Это был молодой генерал, с георгиевским крестом, ближайший сотрудник Брусилова в 1916 г.

Помню, как он сказал уходя: «Я не совершил никакого преступления и надеюсь на доброе русское сердце». И верно, у него не было никакого политического честолюбия; но надежда его не оправдалась: на другой день он был убит (20 ноября). Есть разные рассказы о его смерти; как я тогда слышал, прибывший с отрядом Крыленко вызвал его к себе, и когда Духонин выходил из вагона, на него бросились большевицкие матросы и солдаты. Духонин был убит сразу, но труп его был еще изувечен. Перед приходом большевиков были освобождены заключенные

в Быхове (около Могилева) генералы Корнилов, Деникин и другие. Не будь этого, они подверглись бы той же участи, но им удалось скрыться на юг.

Убийство Духонина вызвало страх, но вместе с тем и возмущение, как можно было видеть на городском собрании в тот же вечер. Крыленко поспешил «отгородиться» от совершенного злодеяния и выразил сожаление о случившемся. Видимо, и ему стало ясно, что даже для демобилизации армия нуждается в командирах и штабах; на помощь пришел предс. местного совета ген.-майор Бонч-Бруевич (брат известного большевика), который рекомендовал «вычистить» персонал Ставки. Большевики были довольны, у них нашелся свой начальник штаба, да еще генерал.

Вернувшись в нашу армию, я увидел, что там и в штабе и в комитете положение было такое же, как в Ставке, с той только разницей, что наш фронт в Румынии был недосыгаем для советского вторжения. Но телеграф продолжал работать и принес нам приказ о выборном начале в армии и уничтожении всех знаков отличия.

По соглашению с румынским правительством, наш главнокомандующий ген. Щербачев назначил в начале декабря делегацию для переговоров о перемирии; ее главой был ген. Келчевский, и она состояла из нескольких штабных офицеров, представителя румынского командования и представителя арм. комитетов. Переговоры велись в прифронтовом городе, занятом немцами, куда русская делегация прибыла на поезде. Ее состав произвел впечатление на немцев, и их делегация имела внушительный характер; германский генерал во главе, штабные специалисты, представители австрийской, турецкой и болгарской армий. Соглашение было достигнуто по всем пунктам, кроме одного; переброска войск во время перемирия. Германская делегация настаивала на этом праве, русская возражала, хотя сама не могла бы его никак использовать. Была предложена формула: переброска войск предоставляется воинской чести обеих сторон, и немцы это приняли. Это была последняя русская услуга западным союзникам. Несколько бытовых черт: немцы с комфортом расположились в городе, наши без всяких удобств жили в поезде, но ни о чем не просили немцев; среди германской делегации были турецкий и болгарский полковники, турок держался дружелюбно, а с болгаринном у русских не было никаких сношений.

Перемирие было заключено: румынский фронт пал. Делать было нечего и можно было отправляться домой: война кончена, армия демобилизуется, арм. комитет закрылся. О гражданской войне, да еще на чужой территории, тогда еще никто не думал, да и победа большевиков нам казалась кратковременной. Обстоятельством, решившем исход войны, была усталость солдат. На нашем фронте они, правда, голосовали при выборах в Учредительное Собрание за соц.-революционеров, но еще больше они хотели мира. Доказательством был рост дезертирства. По сведениям ген.-майора Нокса, британского агента при Ставке, число дезертиров уже в 1916 г. дошло до миллиона, а в конце 1917 г. их было свыше двух миллионов. Даже у нас шайки дезертиров бродили около самого штаба армии. Русская армия не могла больше воевать; но через год то же самое произошло и с германской армией.

И. И. Гананович

СОВЕТСКАЯ АГЕНТУРА В ЛАГЕРЯХ ВОЕННОПЛЕННЫХ В ГЕРМАНИИ

(1941—1945 гг.)

О положении советских военнопленных в немецких лагерях написано не мало, но почти ничего нет об отношении КПСС (советского правительства) к своим пленным. Задача настоящей статьи — осветить вопрос о «заботе» партии о военнопленных советской армии, попавших в плен к немцам. Эта «забота» является как официальными документами, так и работой советской агентуры в лагерях военнопленных.

Но сначала немного истории.

1. ФИНСКАЯ КАМПАНИЯ 1939 ГОДА

Во время войны СССР с Финляндией автор был подполковником Красной армии. В 1940 г. ему пришлось говорить со многими командирами, участниками этой кампании, но ни разу не пришлось встретить бывших пленных, а их вернулось в СССР десятки тысяч. О судьбе их, все же многое известно. Эшелоны с бывшими пленными, не задерживаясь в европейской части СССР, направлялись прямо в Сибирь — в концлагеря НКВД. Там особые комиссии НКВД расследовали дела каждого военнопленного и затем передавали их в Военный трибунал.

Приговоры Военного трибунала были суровые — бывшие пленные обвинялись по статье 58 пункт 1б (измена родине) и статье 193 пункт 22 (сдача в плен) УК РСФСР. Во всяком случае, никто из этих бывших пленных не вернулся в армию. Они остались долгосрочными заключенными концлагерей. О такой судьбе советских военнопленных финской кампании писалось достаточно и поэтому останавливаться на этом не будем.

2. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ О ПЛЕННЫХ

Уголовный кодекс РСФСР, Москва, 1957 г. Глава 10. Преступления воинские: — «Статья 193 пункт 22. Самовольное

оставление поля сражения во время боя, сдача в плен, не вызывавшаяся боевой обстановкой, или отказ во время боя действовать оружием, а равно переход на сторону неприятеля, влекут за собой высшую меру социальной защиты с конфискацией имущества».

О том как понимать эту формулировку «сдачи в плен, не вызывавшейся боевой обстановкой», разъясняет второй документ.

Устав внутренней службы вооруженных сил СССР, Москва, 1967 г. Глава 1: — «3. Военнослужащий обязан до конца выполнять в бою свой воинский долг перед Советской Родиной. Ничто, в том числе и угроза смерти, не должна заставить военнослужащего вооруженных сил СССР сдаться в плен. Если же военнослужащий, оказавшись в беспомощном состоянии вследствие тяжелого ранения или контузии, будет захвачен противником в плен, он должен использовать все возможности для освобождения себя и своих товарищей из плена и возвращения в свои войска».

3. ОТНОШЕНИЕ КОМПАРТИИ К ПЛЕННЫМ

Чем объясняется эта суровость партии (правительства) к своим пленным? Прежде всего тем, что партия не считала благонадежной Красную армию и предвидела возможность массовой сдачи в плен и перехода на сторону неприятеля. И не только потому, что были случаи выявления открытых антисоветских настроений в армии. Партия в принципе не доверяла крестьянам, составлявшим большинство армии, она не считала их сторонниками социалистического строя. В ее глазах крестьяне были всегда мелкими собственниками, врагами коммунизма. Еще в 1927 году Объединенный Пленум ЦК и ЦКК коммунистической партии был вынужден открыто признать, что: — «...нерабочие элементы, которые составляют большинство нашей армии — крестьяне, не будут добровольно драться за социализм. Целый ряд фактов указывает на это». (Резолюция Пленума от 29 июля 1927 года).

В 1939 году — во время войны с Финляндией — эти выводы партии подтвердились. В плен к финнам сдались десятки тысяч красноармейцев. Но не только в психологии красноармейцев были эти «пережитки капитализма». Многие командиры были выходцами из крестьян, следовательно, и они не могли считаться партией абсолютно надежными. Кроме того, в армии были и

другие люди, потенциально опасные для режима: при объявлении тотальной мобилизации, в действующие войска вливались миллионы запасников.

Партия отчетливо сознавала эту опасность. Именно поэтому она и провела массовую чистку населения СССР в 1936-1938 годах, ввела драконовские законы о пленных, а после финской кампании изменила и воинские уставы, выкинув пункт о возможности невыполнения приказов, могущих быть понятыми как контрреволюционные, и наделив командиров правом применять силу и оружие по отношению к военнослужащим, не выполняющим приказ.

Эти опасения партии полностью подтвердились в первый же месяц войны с Германией. Красная армия «за коммунизм» драться не хотела! Ее надо было заставить драться. И одной из мер принуждения явился переход снова к институту военных комиссаров. 16 июля 1941 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР «О реорганизации органов политической пропаганды и введения института военных комиссаров в РККА».

Напомним, что в годы гражданской войны «комиссарам были предоставлены очень широкие полномочия. Они имели право задержать вызывающий сомнение приказ, арестовать командира, назначить вместо него временного заместителя» (Н. Смирнов. Комиссары. «Нева», № 4, 1970). Такие же права получили и новые комиссары. В новом Положении о военных комиссарах говорилось: «Военный комиссар является представителем Партии и Правительства в Красной армии». — «На совещании в Смольном 8 окт. 1941 г. А. Жданов (член Военного совета фронтов Северо-западного направления. В. П.) говорил, что комиссарам необходимо решительно вмешиваться в действия командиров».

Приведем еще одну цитату, чтобы подчеркнуть неограниченность прав комиссаров: «В трудные дни, когда над Родиной нависла смертельная опасность, когда надо было любой ценой повернуть ход военных действий в нашу пользу, институт военных комиссаров сыграл чрезвычайно важную роль».

Понятно, что и в плену военные комиссары сыграли свою особую роль, выполняя, с одной стороны, «долг коммунистов», а с другой — искупая этим вину за то, что сами попали в плен. Но об этом позже...

4. ЧИСЛО ПЛЕННЫХ

В первые же дни войны у немцев оказалось значительное число пленных и перебежчиков из советской армии. Оно росло в катастрофических для коммунистической партии размерах. Армия драться и умирать за советскую власть не хотела. Именно этим объясняется, что «среднесуточный темп наступления противника в первые 18 дней войны равнялся на Северо-западном направлении 26 км, на Западном — 30, на Юго-западном — 20 километрам». (А. Кривицкий. «Подмосковный караул». Роман-газета, № 9, 1970).

Только группа немецких армий «Север», действовавшая на направлении Рига-Псков-Луга-Ленинград, до 1 авг. 1941 г. взяла в плен или, вернее, ей сдались до 800.000 бойцов и командиров Красной армии! Всего же за первый год войны немцы взяли в плен до 3.000.000, а до конца войны — более 5.000.000 военнослужащих советской армии.

5. ТАКТИКА КОМПАРТИИ

По отношению к пленным — военнослужащим Красной армии

Надо было остановить такой рост пленных и перебежчиков. Обычные меры — комиссары, суды Военного трибунала, заградительные отряды НКВД и пр. — не помогали. Партийные органы, в том числе НКВД, приняли особые меры — они организовали агентурную работу среди военнопленных в немецких лагерях и среди самих немцев, провоцируя нацистов на разного рода репрессии по отношению к пленным. Нацисты легко и охотно поддавались такой провокации — это ведь соответствовало их «восточной» политике. Для коммунистов задача была ясна: создать для пленных в немецких лагерях невыносимое положение и широко оповестить об ужасах плена советскую армию, чтобы угрозой смерти в лагерях удержать бойцов от сдачи в плен. Партия была заинтересована в том, чтобы погибло как можно больше пленных. В идеале — почти все...

Известно, что советское правительство (по решению партии!) отказалось подписать Женевское соглашение о военнопленных и во время войны, партия устами Сталина объявила, что у СССР нет пленных, а есть изменники, продавшиеся немцам, которым правительство, конечно, помогать не станет.

«По-моему, товарищ Бессонов, в плен часто попадают политически и морально нестойкие элементы. В какой-то мере недовольные нашим строем...» (Разговор Сталина с генералом Бессоновым в конце 1942 г. у Ю. Бондарева, «Горячий снег». Роман-газета, № 4, 1970 г.).

Член Военного совета танковой армии Попель говорит с бойцом:

Попель: ...забывать, что гитлеровцы сформировали влассовскую армию, которую назвали «русской освободительной», тоже нельзя.

Боец: То — из пленных...

Попель: Из людей, которые до плена считались советскими». (Н. Попель. «Танки повернули на запад», М. 1960).

Оснований для такого отношения к пленным было несколько:

1. Партия знала, что если военнопленные, находящиеся в Германии и не были активными врагами коммунизма, то после плена они могут стать ими и, следовательно, помогать им нельзя.

2. Тяжелое положение пленных в немецких лагерях заставляло бы бойцов Красной армии удерживаться от сдачи в плен.

3. Помощь миллионам пленным загрузила бы транспорт и отняла бы массу продуктов, ставших столь дефицитными во время войны.

Нацистов такое решение коммунистической партии весьма устраивало и они равнодушно наблюдали гибель от голода и болезней миллионов пленных. Вообще же немцы, рассматривая советских пленных как врагов, все же уделяли им за счет своего населения, питавшегося по карточкам не так уж хорошо, миллионы килограммов муки и др. продуктов в день. Советское же правительство не дало этим миллионам своих пленным ни одного грамма продуктов за все время войны!

По отношению к «окруженцам» и бежавшим пленным

К военнослужащим Красной армии, попавшим в окружение и побывавшим, следовательно, в тылу противника, а также и к пленным, бежавшим из немецких лагерей, отношение партии было тоже особое.

«Выходцы из фашистского плена подвергались самому суровому испытанию боем. Майор Бурнин и Сергей Логинов ока-

зались в штурмбате в равном положении — оба рядовыми бойцами.

— За что же нас так, товарищ майор?! — с горечью спрашивал Сергей. — Мы ведь к матери-родине шли... Разве так мать встречает своих сыновей?!!

— Э, Сергей, не все ли равно — штрафбат, не штрафбат! Нам с тобой штрафбат до первого боя. Докажем как бывшие пленные лупят фашистов. А проверять людей боем нужно. Мало ли кто придет оттуда да скажет «бежал из плена»... Проверка боем — честное дело». (Стр. 798, т. I, С. Злобин. «Пропавшие без вести», М. 1962).

6. ОФЛАГ-57 В ГОРОДЕ БЕЛОСТОКЕ

В качестве военнопленного, автор попал в лагерь № 57 поздней осенью 1941 года. На работу пленные командиры не назначались. Наш паек состоял из 350 гр. хлеба, утром — жидкий овощной суп, днем — густой, на костях, с кониной или требухой, и вечером — эрзац-кофе с кусочком маргарина, масла, сыра или колбасы. Табак не выдавался.

Немцы наблюдали за работой лазарета и кухни, посещая их, но в бараках бывали чрезвычайно редко. Территория лагеря была обнесена изгородью в один ряд колючей проволоки. За изгородью стояли одиночные посты часовых-немцев на расстоянии зрительной связи. Ночью они патрулировали. Собак не было. К изгороди можно было подойти и даже говорить с часовыми. Ночью немцев в лагере не было. Лагерная полиция тоже не несла ночью никаких нарядов и полицейские спали в своем помещении. Периодически в лагерь приезжали на лошадях (с бочками) поляки-ассенизаторы. Бежать из лагеря не составляло большого труда, но за 7-8 месяцев пребывания в лагере, автор не слышал ни об одном побеге. Всего в лагере было 11-12 барачков, в каждом находилось от 600 до 1000 пленных. Командиры размещались в двух бараках.

Русская администрация лагеря

«Головку» лагерной администрации составляли: русский комендант, два начальника полиции (секретной и лагерной), старший группы по сбору разведывательных данных для Абвера, старшие барачков и кухни, старший врач лазарета.

Комендант — киевский студент Леонид Х., хорошо говорил

по-немецки, интеллигентный и вежливый, несомненно еврей, скрывавший это. Он выполнял роль переводчика в сношениях с немцами и в лагерную жизнь не вмешивался. Например, ни разу не был в командирских бараках. Вообще, он старался не общаться с пленными. Был под влиянием начальника секретной полиции, который, видимо, использовал шантаж.

Начальник секретной полиции действовал по указаниям представителя гестапо или СД лагеря. У него была агентура во всех бараках, но сам он никогда барачников не посещал. Его агенты были и среди лагерных полицейских. Ему непосредственно подчинялся старший штрафного блока, в котором находились евреи и политсостав. Это был грубый и невежественный тип, вероятно, из уголовников или младших сотрудников НКВД. Сам начальник полиции выдавал себя за бывшего политзаключенного и имел соответствующую справку. У автора создалось твердое убеждение, что он был в прошлом оперативным работником НКВД.

Начальник лагерной полиции — лейтенант Красной армии — интересовался только физкультурой и все дела по управлению полицией поручил своему помощнику — бывшему старшему политруку Красной армии.

Старшие барачников, как правило, были из младших командиров Красной армии или лейтенантов. Все они назначались немцами. К пленным относились плохо и думали только о себе.

В лагерной полиции было 45-50 человек. Кроме того, у каждого старшего барака было по 2 полицейских. Большинство полицейских были младшие командиры, но среди них были и офицеры, а также и политруки. Полицейские дежурили во время раздачи пищи, сопровождали пленных, вызванных в комендатуру или прибывших в лагерь, а также вызываемых лагерной администрацией в свой барак. Никаких других нарядов в лагере они не несли.

Военнопленные командиры удивлялись грубости обращения полицейских с пленными и не раз жаловались на это коменданту и начальнику полиции. Правда, командиров полиция не трогала и случаев избиения их не было, но остальных пленных, особенно во время раздачи пищи, полицейские часто били своими палками. Жалобы отклонялись под предлогом необходимости соблюдать порядок.

Советская агентура действует

Примерно в ноябре 1941 года, более или менее терпимое

положение пленных резко ухудшилось. Началась эпидемия сыпного тифа. Умерло несколько немцев, посещавших лагерь. Немцы объявили карантин, не стали входить в лагерь и брать пленных на работу. Продукты для кухни привозились к воротам лагеря, немецкий персонал отходил от грузовиков, а наряд полицейских и поваров разгружал машины и относил продукты на кухню. Полными хозяевами продуктов и вообще жизни в лагере стали лица лагерной «головки». И так продолжалось до мая 1942 года. Ни один немец за это время не был на территории лагеря. Русский комендант подходил к воротам лагеря, протягивал свою записку (заявку на продукты и медикаменты), немецкий постовой брал ее длинными щипцами и относил в комендатуру.

Началась жуткая зима... Лагерный лазарет был забит. Лекарства немцы давали, но, конечно, их не хватало. Особенная нужда была в камфоре и сердечных медикаментах. Умирало по несколько десятков человек в день. Не только в лазарете, но и в бараках. Никаких мер к прекращению эпидемии принято не было, ни один врач не был в бараках, а «головка» администрации даже переводила пленных из барака в барак, помогая тем самым распространению эпидемии.

Санитары не только отвратительно ухаживали за больными, но и съедали их паек, особенно диетический. Но некоторых больных санитары подкармливали — за счет других. Это отмечают и советские писатели:

«Вишенин (старший врач лазарета, В. П.) с едкой усмешкой посмотрел на Баграмова. — Святая невинность, товарищ писатель! — иронически сказал он. — А вас, Кравец и Костик (санитары, В. П.), я видел как-то раз, потчевали колбаской? Откуда она? Не из пайка ли больных?» (стр. 772, т. I, С. Злобин. «Пропавшие без вести», М. 1962).

«Каждый день медицинский персонал нелегально получал за умерших, не вычеркнутых из списков лазарета, несколько лишних пайков. Чернявский (санитар-подпольщик), получая такой «мертвецкий» паек, приносил Балашову (подпольщику, В. П.) то пайку хлеба, то ложечку сахара, то баланды» (стр. 478, там же).

Врачи, конечно, знали об этом, но... С одной стороны, они питались лучше, получая законную добавку к своему пайку, с другой — и главным образом — на них действовал террор, применявшийся советскими агентами.

« — Господин Баграмов, знаете что приказал оберштаб-

артц? Он сказал, что германский рейх довольно богат, чтобы прокормить одного большевистского писателя и приказал вас зачислить на врачебную добавку к пайку» (стр. 574, там же).

Разговор Баграмова (подпольщика) со старшим врачом туберкулезного лазарета Гладковым в 1942 году:

« — Ты думаешь, что в плену укрылся от коммунистов и комиссаров? — спросил Баграмов. — Рановато считать, что фашисты победили!

— Я не считаю, — ответил Гладков.

— Молчи! — остановил Баграмов. — Слушай. Сейчас же иди к штабартцу, скажи, что ты болен. А вместо себя — именно ты — рекомендуешь штабартцу Соколова как самого опытного врача. Ясно?

— Ясно, — беззвучно подтвердил побелевший Гладков.

— И помни: советские люди везде. А если ты вздумаешь нас обманывать — крышка! Тебя просто выбросят в нужник» (стр. 760, т. I, там же).

Лагерная полиция Офлага-57, санитары, повара стали есть «от пуза» за счет пленных. Они отъелись до безобразия... Вся эта публика нарядилась в кители и диагональные брюки, одели хромовые сапоги и командирские шинели, выменяв их за хлеб и котелок баланды у пленных или просто отняв их у них. У многих появились часы, портсигары, кольца. Иногда тот или иной полицейский, а в особенности — старшие барачников были пьяны. Самогонку привозили ассенизаторы, опустив привязанные бутылки в свои бочки.

За раздачей пищи все чаще и чаще происходило избивание пленных. Зверствовали и старшие барачников, вымогая у пленных какие-либо ценности.

За эту ужасную зиму в лагере умерло не менее 4-5.000 человек. Мысль о сознательном уничтожении своих же товарищей по плену — по приказу коммунистической партии — нам тогда в голову не приходила. Никто не думал, что в лагере и лагерном лазарете «хозяйном» была советская агентура...

Как пленные узнали о советской агентуре

К весне 1942 года эпидемия тифа в Офлага-57 пошла на убыль. В мае карантин был снят. В лагере появились немцы и относительный порядок на кухне и в лазарете был восстановлен. Пища улучшилась, стали выдавать добавку более истощенным.

В мае 1942 года, 35-40 лагерных полицейских были отпу-

щены (без конвоя, **В. П.**) в город Белосток в кино. Они не вернулись в лагерь... От немцев стало известно, что они бежали к партизанам в Беловежскую пущу. Связь была установлена, вероятно, через поляков-ассенизаторов. Кроме того, отдельные лица из лагерной администрации — до этого побега — тоже побывали в городе, без конвоя. Позже, от новых пленных (партизан) стало известно, что бежавшие полицейские не пойманы и благополучно соединились с партизанами.

Только тогда стало понятно — почему лагерная полиция так зверствовала. Ясно, что в лагере существовала просоветская группа, руководимая опытными чекистами и комиссарами, которая захватила власть в администрации, полиции, на кухне и в лазарете. Она ставила себе целью ухудшение, а точнее — истребление массы пленных, чтобы, с одной стороны — другим было не повадно сдаваться в плен, а с другой — расправиться с «изменниками родины» руками немцев и возбудить еще большую ненависть к врагу. Это были общие задачи советской агентуры во всех лагерях. Проникновение этой агентуры в полицию, канцелярии немецких комендатур, в число переводчиков, лагерные лазареты и бани — было общим явлением. Об этом свидетельствуют и советские писатели:

« — Я комсомолец, товарищ писатель, — совсем беззвучно сказал полицай.

— А чего же в полиции? — с недоверием задал вопрос Баграмов.

— Значит, надо! — оборвал усач и добавил: — Каждому свое место на нашей планете. Все места хороши, если знаешь, что делать и как!» (стр. 650, С. Злобин. «Пропавшие без вести», М. 1962).

« — А записи передашь Владиславу.

Этому полицаю? — Андрей даже остановился от удивления.

Владислав коммунист. И форму полицай носит по заданию центра» (стр. 159, Г. Свиридов. «Ринг за колючей проволокой», М. 1966).

« — Товариши, слушать внимательно, — сказал Баграмов. — Поваров и полицию — немцы угоняют. Надо составить список надежных людей. 40 человек из них будут нашей новой полицией, 25 — поварами.

— Ну, в полицию кто пойдет, — заикнулся Кострикин (санитар, **В. П.**).

А мы тебя имеем в виду поставить начальником полиции.

Ты с ума сошел! — возмутился Кострикин. — Я старший политрук и комиссар флотилии торпедных катеров.

— Ну, слушай товарищ Кострикин, — сказал Муравьев (санитар, В. П.). — Мы можем сейчас захватить в свои руки весь лагерь.

Я же сказал, что я старший политрук! — перебил Кострикин.

А я по званию полковой комиссар, по должности начальник политотдела армии, — воскликнул Муравьев. — Пишите вместо него меня. Вы свободны, товарищ Кострикин.

— Я... согласен... — мрачно сказал Кострикин. — Товарищ полковой комиссар, разрешите идти выполнять?» (стр. 29, т. II, С. Злобин. «Пропавшие без вести», М. 1962).

Изменение обстановки и приход новой агентуры

Летом 1942 года, после окончания эпидемии сыпного тифа в лагерях, обстановка изменилась. Сведения о жутких условиях в лагерях военнопленных дошли до советской армии. Бойцы уже менее охотно сдавались в плен. Конечно, этому способствовали и другие мероприятия коммунистической партии. С другой стороны, немцы стали контролировать жизнь в лагерях военнопленных — карантин повсеместно были сняты, питание и обращение с пленными несколько улучшилось. Немцам не хватало рабочих рук и они были вынуждены все больше использовать труд военнопленных и, следовательно, принимать меры к сохранению их работоспособности. А число свежих пленных все уменьшалось и уменьшалось... Стала развиваться и тенденция немецкого командования (большие потери!) все шире использовать перебежчиков и пленных в качестве «хиви» (вспомогательных солдат — без оружия), в составе немецкой армии появилось значительное число добровольцев из советских граждан, были сформированы различные боевые отряды из пленных — для охраны тыловых объектов и борьбы с партизанами. К началу 1942 года таких добровольцев было уже до миллиона человек.

Все это повлекло за собой и изменение задач советской агентуры среди военнопленных. Новые задачи потребовали и новых людей — старая агентура их выполнить не могла, так как была скомпрометирована в глазах военнопленных своей прежней

«деятельностью». Вот почему лагерная полиция Офлага-57 почти в полном составе ушла к партизанам.

7. ШТАЛАГ 1 Б

Изменение настроений пленных

В июле 1942 года, автор из Офлага-57 был отправлен в Берлин — в Шталаг 3 Д. Оттуда его послали в лагерь Вульхайде — на курсы пропагандистов. В декабре 1942 года, окончив эти курсы, он был послан в качестве старшего пропагандиста в Шталаг 1 Б. В нем были не только солдаты, но и офицеры, а также и генералы советской армии. Офицеры не работали и получали нормальный паек военнопленных. Рабочие команды снабжались лучше. Питание военнопленных улучшилось настолько, что вопрос можно ли выжить в лагерях уже не подымался.

С этого времени настроения пленных значительно изменились по сравнению с зимой 1941-1942 года. Ненависть к нацистам усилилась, но проявление открытого антисоветизма сильно уменьшилось. Многие пленные уже не сомневались в поражении Германии. Все, в том числе и лагерная администрация, думали о том, что их ожидает после победы СССР и возвращения на родину.

Новые задачи в работе агентуры

Теперь советская агентура вела просоветскую агитацию, чего совершенно не было до 1943 года, и применяла террор по отношению к антисоветским элементам. Начали создаваться массовые просоветские организации. Эти организации связывались между собой, собирали разведывательные данные, переправляя их на ту сторону, организовывали побеги военнопленных и саботаж на немецких предприятиях, где работали пленные, всячески препятствовали поступлению пленных в РОА и другие военные формирования.

Террор в лагерях военнопленных

Автор был в Шталаге 1 Б с января по март 1943 года. За это время произошло несколько убийств военнопленных членами просоветских групп. Например, в Офлаге-57 заведывал баней киевский инженер — лейтенант запаса Николай Иванов.

Симпатичный, скромный, вежливый, с нескрываемыми антисоветскими взглядами. Все офицеры из Офлага-57 к концу 1942 года были переведены в Шталаг 1Б. Иванов попал в общий офицерский барак и в январе 1943 года был убит — ночью ему раздробили голову. В феврале был убит бывший старший штрафного барака Офлага-57, а также несколько пленных, которых автор не знал. За январь-март месяцы умерло несколько пленников в лагерном лазарете. Автору стало известно, что эти пленные, с определенными антисоветскими взглядами, не были серьезно больны и им «помогли» умереть врачи лазарета.

8. ОСОБАЯ РОЛЬ ЛАГЕРНЫХ ЛАЗАРЕТОВ

Лагерные лазареты использовались советской агентурой самым различным образом. Об этом рассказывают и советские писатели:

«Степка-повар... Кровь ударила Баграмову в голову. Эта гадина будет лежать здесь... (в лагерном лазарете, больной тифом, в 1942 году, В. П.). Баграмов решительно взялся за шприц.

— Кузмич, ему доктор назначил укол камфоры, — сказал Баграмов.

Санитар ловко зажал руку повара, Баграмов направил острие иглы в ускользящую вену. «Попал!» (а надо было не в вену! В. П.).

Баграмов отошел к своей койке и сел. Со Степкиной кровати донесся мучительный стон, и почти в тот же миг тело повара охватили корчи. Хрипы и стоны умолкли. Мертвец лежал, выгнувшись, как гимнаст.

— Как мороженный лещ! — с усмешкой произнес санитар» (стр. 511, т. I, С. Злобин. «Пропавшие без вести», М. 1962).

Коммунисты действовали не по врачебной этике, а по положению Ленина: «Все, что ведет к победе коммунизма — морально!»

9. МАССОВЫЕ ПОДПОЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВОЕННОПЛЕННЫХ

Начиная с осени 1943 года, советская агентура приступила к созданию массовых просоветских организаций в лагерях военнопленных. Это стало возможным потому, что борьба за ключевые позиции в лагерях во многих случаях увенчалась успехом советской агентуры.

«От Петрова я узнал о БСВ — Братское Сотрудничество Военнопленных — подпольной организации советских военнопленных, действовавшей в Южной Германии с марта 1943 года. 18 мая 1943 года в Перлахе, за срыв власовского митинга, направленного на вербовку военнопленных в РОА, гитлеровцы арестовали зачинщиков — это и были организаторы БСВ» (стр. 166, В. Бондарец. «Военнопленные», М. 1960).

Эти подпольные организации иногда имели радиоприемники и информировали пленных о положении на фронте:

«Я каждый вечер вижу с Иваном. Докладываю ему о наших делах в мастерских, получаю информацию о положении на фронте (у нас есть свой радиоприемник, спрятанный на угольном складе)» (стр. 241, Ю. Пиляр. «Люди остаются людьми», М. 1966).

О том какие задачи ставили себе эти подпольные организации довольно много говорится в советской литературе, но только с одним умолчанием... Задачи этих организаций были явно невыполнимы и носили только провокационный характер — ведь коммунистической партии пленных было не жалко, зато пропагандный эффект мог быть большим...

«Еще в середине 1943 года, совет БСВ назначил майора Озолина руководителем будущих повстанческих отрядов. Озолин разработал план создания групп, примерные сроки готовности к выступлению и т. д. Советские военнопленные должны были сыграть основную роль в освобождении заключенных из концлагерей и тюрем, в овладении мюнхенским гарнизоном и военными объектами. Из Мюнхена восстание должно было перекинуться на другие города Германии и оккупированных ею стран» (стр. 216, В. Бондарец. «Военнопленные», М. 1960).

Но кое-что у военнопленных было и реально:

«— Теперь, Степан, ознакомь товарищей с положением в нашем арсенале.

— Мы имеем 1 ручной пулемет, 87 немецких винтовок, около 10.000 патронов, 98 пистолетов, 152 самодельные гранаты, более 20 бутылок с самовоспламеняющейся жидкостью и 50 ножниц для резки проволоки» (стр. 262, Г. Свиридов. «Ринг за колючей проволокой», М. 1966).

В заключение этого раздела приведу одну цитату о существовании прямой связи этих подпольных организаций с советской агентурой:

«Оберфельдфебель и комендант любили держать вблизи себя угодливых и туповатых людей из военнопленных. Вася Синичкин уже год работал уборщиком немецкой канцелярии и снискал благоволение оберфельдфебеля. Он был в работе сообразителен, трудолюбив, но неграмотен даже по-русски и не мог постичь хотя бы нескольких слов немецкого языка. Немцы уже давно не стеснялись вести при нем разговоры между собой и говорить по телефону, забывали на столах канцелярии бумаги, пока выходили в лагерный блок или в главную комендатуру. Не только немцы, но даже русские (кроме членов подпольного центра, В. П.) не подозревали, что «Базиль» — лейтенант, переводчик нашей разведки и владеет немецким не хуже, чем русским» (стр. 299, т. II, С. Злобин. «Пропавшие без вести», М. 1962).

10. СУДЬБА БЫВШИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ ПОСЛЕ ВОЙНЫ

Ю. Пиляр около трех лет провел в немецких лагерях военнопленных, совершил несколько побегов, попал в концлагерь Маутхаузен. Он так описывает возвращение на родину (колонна бывших узников Маутхаузена пришла в советскую зону Австрии в мае 1945 года, В. П.):

«Мы шагаем в головной колонне. Шагают генерал Порогов, полковник Шаншеев, Валерий. Идут в пешем строю, как простые солдаты. Идут герои — организаторы подпольной борьбы в концлагере. Идут коммунисты (стр. 269, Ю. Пиляр. «Люди остаются людьми», М. 1966).

«Вероятно, мы на городском стадионе. И я вижу вдруг на углу поля автоматчика. Зачем? И я вижу второго автоматчика на противоположном углу поля. Зачем? И еще одного солдата с автоматом наготове. Зачем? Зачем?» (стр. 272, там же).

«— Это нужно. Пойми, в среду пленных, таких как ты и я, могли затесаться власовцы и полицаи. Тут, мой дорогой, необходимость, суровая, но необходимость, — Порогов испытующе смотрит на меня» (стр. 274, там же).

Из Австрии и генералы и солдаты поехали под конвоем на родину. Эшелон приходит в Сибирь...

«Опять шагаем усталые. Опять мглистое небо, и грязный снег, и вороненные стволы винтовок за плечами стрелков (конвоя, В. П.).

Лагерь появляется перед глазами внезапно. Нас пересчи-

тывают, и мы проходим в открываемые со скрипом ворота. Неровная, с обледенелыми пеньками площадь, обмазанные глиной ветхие жилища с крохотными окнами и вдоль бревенчатого частокола — колючая проволока. Она натянута на невысоких столбиках. Дозорные в шатровых вышках обязаны стрелять в каждого, кто переступит проволоку, войдет в запретную зону» (стр. 304, там же).

На другой день выход на работу. Конечно, под конвоем.

«У меня за плечом лучковая пила, за поясом топор, сбоку — котелок. Путь наш не близок, километров пять.

Разгребаю деревянной лопатой снег вокруг комля, делаю надруб и берусь за пилу. Это уже не спорт. Это необходимость. Неужели Порогову и Шаншееву приходится сейчас так же, под такой же сосной, в снегу, на морозе, таскать взад и вперед пилу, таскать до ломоты в плечах, до испарины, до горячего пота?» (стр. 309, там же).

Другой автор, описывая Тайшетский концлагерь, так вспоминает пленных:

«Спустя минуту пришел в канцелярию Ватолин — на месте правого глаза темный кружок на узкой ленте. Ватолин был летчиком. Его сбили в бою. Раненый, попал в плен. Бежал. Схватили. Больше уже не мог вырваться... А когда вернулся из плена, был обвинен в умышленном переходе на сторону врага» (стр. 117, Б. Дьяков. «Повесть о пережитом», М. 1966).

«Во время войны Акимов был разведчиком. Семь раз проникал в тыл к фашистам. На восьмой раз все-таки схватили. Убежать из плена не удалось. Освободила советская армия. Но Акимову приписали такое, что и во сне не снилось. Осудили на 10 лет... — Была вся грудь в орденах, а теперь номер ношу на спине! — с болью говорил он» (стр. 156, там же).

Война окончилась в 1945 году, а ведь Дьяков пишет о заключенных, находившихся в лагере в 1952-м! Они уже провели в нем семь лет — эти бывшие пленные...

Что нужно добавить к тому, что пишут о бывших пленниках сами же советские писатели? Только одно... «Культ личности» тут не причем. Это — ложь. Так расправлялась партия с советскими военнопленными при Сталине, так расправляется и после Сталина! Устав внутренней службы 1967 года и Уголовный Кодекс 1963 года доказывают это неопровержимо.

ИЗ ИСТОРИИ ПАРТИИ С.-Р.*

ПОКАЗАНИЯ В. М. ЧЕРНОВА ПО ДЕЛУ АЗЕФА В СЛЕДСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПАРТИИ С.-Р.

2 февраля 1910 г.

По инициативе финской партии Активного Сопротивления, в Париже состоялся съезд различных оппозиционных и революционных партий. «Союз Освобождения» подготовлял тогда открытую кампанию — банкетную. Социал-демократы тоже первоначально дали согласие на участие в съезде. В это время за границей из ЦК был налицо только один человек — Азев, значит, он и должен был отправиться представителем на съезд. (Гоц был болен). При обсуждении этого вопроса с Гоцем и Бабкой было решено, что едет на съезд Азев для вопросов практических, как член ЦК, а для вопросов тактических, программных и всяких других — я (финны говорили о больших средствах на революцию от американских миллионеров). На конференции все беседы и прения вращались главным образом вокруг вопроса о всеобщем избирательном праве. Среди них Вф (Милюков?) сильно колебался и не хотел этого, а Струве и Вт (?) говорили «да», в особенности после того как за это высказался Долгоруков. Его голос был решающим. После этого Вт и Струве тоже очень настаивали на этом, а также на том, чтобы вообще это их выступление было обставлено по возможности бóльшей помпой. Вф (Милюкову?) это очень не нравилось. Мне он говорил, что, дескать, вы нас форсируете, что те элементы, которые вы имеете в виду, давно уже использованы революционными партиями, а те новые элементы, которые мы хотим привлечь, их ничем нельзя пугать.

Азев принимал очень небольшое участие в практических разговорах, но главным образом он говорил отдельно с ППС и с финнами, давал им различные сведения и т. п. Там же были

* См. кн. 100 «Н. Ж.».

разговоры об организации большого транспорта оружия, — и действительно впоследствии был снаряжен целый корабль «Джон Крафтон», который, впрочем, не мог исполнить своего назначения; шли также разговоры о денежных средствах и т. п. Роль Азева на конференции была очень молчаливая.

Я читал письмо Плеханова к Ц. (Циллиакус?), где он писал, что он очень и очень сожалеет, что его мнение теперь в меньшинстве и что решено не принимать участия на этой конференции. Плеханов выражал сожаление, что решено не так, как он предполагал в разговоре с Ц. (Циллиакус?). Из этого письма я заключил, что сам Плеханов был за участие — конечно, может быть это только так писалось. Я мог предположить, что встречу Струве, Вф (Милюков?), но я встретил также Вц (?) и Вт (?), что было для меня полной неожиданностью. Также и личный состав ППС для нас определился только тогда, когда приехали эти делегаты. Михелин был в Париже, но не был на конференции.

Я прочел по дороге манифест 17 октября, пришел к М. Гоц. Там был уже Азев. Азев говорил, что с террором все кончено, точка, все. Стал на точку зрения вполне серьезного и окончательного конституционного переворота в России. Михаил Рафаилович занимал приблизительно среднюю позицию между нами, а я занял самую скептическую. Они надо мной даже немножко посмеивались на счет того, что мой старый радикализм не может улечься и не хочет верить даже тому, что вполне очевидно. Вот тут и начались первые споры о том, как быть. Эти споры возобновились в Петербурге. Сначала Азев стоял на такой позиции: «с террором все теперь кончено; нужно объявить, что партия прекращает террористическую деятельность и становится на ту почву, на которой вообще стоят западно-европейские социалистические партии в конституционных государствах».

К моим более скептическим позициям присоединился Тютчев. В этом споре возникли некоторые практические вопросы, напр., продолжать ли динамитную школу за-границей. По этому вопросу был большой спор, но Азев этим мало интересовался, он тогда махнул рукой на все, что происходит за-границей. Тютчев был представителем ЦК, он высказывался, что нам еще придется продолжать эту школу. Я говорил, что несомненно надо продолжать, так как нам придется вернуться к

террору. Как быть с Боевой Организацией? В самом ЦК обнаружилось две точки зрения: необходимо продолжать террористическую деятельность и сейчас же произвести террористический акт, например, против Витте (Савинков — но он тогда не был в ЦК). Я стоял за то, чтобы БО не распускать, так как мы должны ждать прихода контр-революционных попыток; если во главе их встанет Витте, покончить с ним, для чего нужно уже теперь следить за ним, но сейчас его не трогать. Азев и Савинков настаивали на индивидуальной психологии — или действовать немедленно или совсем остановить. Категорические заявления Азева и Савинкова превозмогли, было решено, что БО распускается и вместо нее учреждается Боевой Комитет, главной задачей которого является подготовка технических средств вооружения для возможных будущих столкновений. Соответственно этому — боевиками были проданы лошади и пролетки, следящая организация была распущена, но продолжался ряд действий по доставке и приобретению оружия и было поставлено сразу несколько лабораторий для изготовления в больших количествах взрывчатых веществ, которые предназначались уже не для террористических актов единичного характера, а для действий массовых, для вооружения бомбами целых отрядов, причем эти бомбы должны были быть более, так сказать, демократического образца.

Это было в конце ноября и в начале декабря 1905 года, когда все съехались. Азев приехал одним из последних, Вл (Натансон?) — также. Савинков говорил: или БО распускается вовсе или, если она остается, она должна действовать — если она существует, она должна действовать, а если она не должна действовать, она должна перестать существовать. Однажды Азев имел со мной чисто приватный разговор; он говорил, что террор теперь уже кончился; наступает совершенно новая эпоха, что мое недоверие ему просто смешно и он вдруг сказал: — «Разве только одно... вот это бы я понимал!... вот если бы сейчас уничтожить всю Охранку!...» И он начал доказывать мне, что в этом учреждении воплощена вся предыдущая эпоха бесправия и всякой мерзости, что такое учреждение должно быть совершенно уничтожено, сметено с лица земли, что все Охранное, должно быть сравнено с землей без всякой жалости — он был очень недоволен тем, что я сделал совершенно изумленные глаза и сказал, что уж этого я совершенно не понимаю, что-

бы в такой момент, когда Охранка бездействует и когда это не имеет ровно никакого политического значения, — взрывать ее, это уж менее всего необходимо. После этого он уж больше таких разговоров не возобновлял. Что касается дела царя, то к этому он всегда относился довольно положительно, что да, нужно будет поставить его на очередь. Когда этот вопрос особенно обострился, у нас в ЦК обнаружили два течения, это было сейчас же после разгона первой Думы. Тогда перед нами вопрос о цареубийстве встал совершенно конкретно (Чернов был решительным сторонником этого). По этому поводу возникли споры. Представителем мнения более осторожного и даже отрицательного отношения к цареубийству выступил главным образом Натансон. Азев отзывался очень пренебрежительно и резко о Натансоне, в особенности потому, что тот настаивал, чтобы были опрошены наиболее влиятельные и видные люди партии. Я и другие согласились на это, но с тем, чтобы опрос был произведен достаточно быстро. Азев же протестовал и говорил, что это одно затягивание дела и проч. Он решительно высказался за постановку на очередь вопроса о цареубийстве. Он и раньше несколько раз заговаривал об этом, потому что в БО были сторонники этой постановки вопроса, напр., Каляев, Савинков. Они говорили уже тогда, что нужно прямо после Плеве поставить дело царя.

На Лондонской конференции Вс (Чайковский или Волховской) был инициатором предложения о том, что партия отказывается в настоящее время от всякой работы по боевой подготовке масс и не считает таковую подготовку своевременной. Я был противником в ЦК этого предложения. В ЦК голоса разделились почти поровну, а во время пребывания ЦК в Выборге — даже поровну. Я, Ву (м. б. Авксентьев) и Вг (Русанов?) стояли против этого предложения, а Вс (Чайковский или Волховской), Азев и Гершуни за него. Натансон, находившийся тогда за границей, присоединился к моему мнению и таким образом в ЦК составилось большинство одного голоса. Так что на Лондонской конференции я был докладчиком от имени большинства ЦК, а Н. Д. (Авксентьев?) — от меньшинства. Азев очень стоял на своем и все старался склонить на свою сторону и других. Я вряд ли ошибусь, если скажу, что он в этом вопросе несколько повлиял на Григория (Гершуни), так как Григорий в этом вопросе и раньше несколько колебался. Мотивировал эту

точку зрения главным образом Н. Д. (Авксентьев?), но и Азев довольно много говорил по этому поводу и говорил очень решительно и настойчиво.

В Берлине была, так сказать, заключена коалиция — был окончательно подписан акт коалиции Северного Союза и южных групп, акт слияния их в объединенную партию. Мне казалось, что это и есть момент вступления Азева, как представителя Северного Союза, получившего все связи от Аргунова, в ЦК. Но я не уверен в этом, так как я сам тогда еще не входил в ЦК и не знаю этого. Может быть было и иначе. Было такое правило, что член ЦК должен быть в России. В момент образования первого выборного ЦК положение Азева было положением одного из самых деятельных членов партии, если не самого деятельного. Одно время он оставался почти один и своими собственными личными силами восстановил ЦК. После ареста Гершуни одно время был такой момент, что почти все были переарестованы. Я помню момент, когда приехал к нам Азев, это было уже после Плеве. Приехали также Слетов и Селюк. Между ними возник такой конфликт, кончившийся довольно резкой ссорой между Азевым и Слетовым, причем Слетов заявил о своем выходе из состава ЦК. В то время Слетов и Селюк устроили в Киеве фактический центр, через который многие города и действовали и вели сношения с границей, получали литературу, а иногда и денежную помощь, помощь людьми и всякого рода советы. Это были тогда единственные остатки ЦК, потому что кроме этих двух лиц существовал еще только Азев, который разъезжал по России.

Когда они съехались, предстояло решить отдельные частные вопросы, в частности, возник вопрос о так называемых «аграрниках». Около Бабки был кружок молодых, которые были под ее влиянием; они думали, что партия слишком мало действует для возбуждения боевого духа в массах. Раздумывая об этом, как бы этот боевой дух возбудить в наибольшей степени, этот кружок пришел к идее, что наилучший путь к этому — аграрный террор. Первоначально эта идея у них была недостаточно ясна: они вообще сначала говорили о возбуждении боевого духа в массах, чтобы крестьянин умел защищать свое достоинство с оружием в руках, и в число лиц, на которых нужно воздействовать оружием, входили и помещик, и земский начальник и исправник; словом, первоначально идея аграрного

террора в собственном смысле этого слова не была ясна и определена, но затем она начала выясняться все более и более. Это особенно усилилось в то время, когда Бабка была в Америке для пропаганды там. Тут с ними много было всяких разговоров и переговоров, всего понемножку, так как им ставились всевозможные вопросы, напр., почему только аграрный террор, почему тогда уж и не фабричный террор? Они через некоторое время пришли к тому, что и фабричный террор очень хорошая вещь. Аграрный террор они сначала связывали с захватом земли, а от идеи фабричного террора перешли к мысли, почему же не захватить и фабрику? Словом, тогда уже начинали бродить некоторые идеи максимализма. Некоторые из них отчасти хватались и за кое-какие идеи, высказанные в различных прокламациях отдельных комитетов, в особенности ссылались они на прокламации Ву (?), говоря, что такие идеи в партии уже высказывались, что это не новость для партии, что не логично было, стоя на такой точке зрения, не выводить дальнейших логических последствий, именно аграрного и фабричного террора.

По отношению к этому течению Азев занял совершенно непримиримую позицию. Он говорил, что это течение ничего не имеет общего с социалистами-революционерами, что его нужно вышвырнуть из партии. Я и Гоц занимали по отношению к этому другую позицию, чем Азев; Бабка — тоже. Селюк и Слетов стояли на той точке зрения, что надо предоставить им полную свободу защищать свои взгляды, что если они доберутся до анархизма, то они потом и сами уйдут, но что пока им нужно поставить только одно условие: чтобы, пропагандируя свои взгляды среди партийных людей, они отказались от всякого рода призывов к массам в этом духе. На этом и состоялся с ними компромисс: они сформулировали свои взгляды в особой резолюции; те, кто с ними не сходил, тоже сформулировали свои взгляды в особой резолюции. Обе эти резолюции и теперь находятся в архивах партии.

Вот это и было одним из поводов к разногласиям между Азевым и Слётовым. Разногласия эти в виду такого категорического тона и упорства Азева и в виду нервности и раздражительности Слётова, которые в то время достигали своего максимума, так как он был переутомлен работой в России, — привели к резкому конфликту между ними, причем сколько я, Гоц и Селюк ни старались быть посредниками между ними, это не

удавалось. Селюк в споре по существу стояла на точке зрения Слётова, но когда на основании этого конфликта Слётов отказался участвовать в ЦК, то она находила это его поведение неправильным.

В разгаре этих теоретических споров Азев однажды вдруг заявил: «Вы напрасно думаете, что если вы думаете так двое, а я один думаю иначе, то ваше мнение должно взять верх — ничего подобного! Из всех оставшихся я один имею право восстановить ЦК. И если я вас принял в ЦК, то только условно, так как не считаю еще свою задачу законченной, что же касается привлечения новых членов ЦК, то я буду их привлекать, а не вы. А вот когда составится весь коллектив, тогда мы и будем говорить. Вы получите решающий голос только тогда, когда весь коллектив будет собран». Так вот в ответ на это его заявление Слётов сделал свое заявление, что он в таком случае выходит из состава ЦК, что если его присутствие там условно, то он лучше вовсе не будет в нем присутствовать.

Этим примером характеризуется положение Азева в партии в это время. Это было положение одного из самых деятельных членов ЦК, который в известный момент обладает таким влиянием и силой, что берет на себя миссию воссоздания ЦК в России. Всем кроме того было известно, что он является товарищем Гершуни по боевым делам, его заместителем, под главным руководством которого БО достигла целого ряда определенных успехов — Плеве, Сергей и др.

ЦК ко времени первого съезда партии был колоссальным, громадным. Все те, кого он накооптировал, были старики и у них в один прекрасный момент явилось стремление пополнить свой состав кое-кем из молодежи. Выдвинуто было много новых кандидатов. В конце концов или ни один из них не должен был пройти или должны были пройти все. Судили, рядили и решили, что все должны пройти. Пополнение ЦК пошло довольно быстро. Были кооптированы Б. (Бунаков?), А. (Авксентьев?). Затем кооптировали К. (Колосов?) и тогда возник вопрос, что в таком случае нужно кооптировать еще такого-то и такого-то. Таким образом состав ЦК рядом кооптаций дошел до времени моего приезда (в Москву) человек приблизительно до 30.

В партии это положение дела вызывало видимое недовольство. На съезде слышались разговоры, что нужно ограничить количество лиц, которых может кооптировать ЦК. Съезд решил

избрать 5 человек и предоставить им право кооптировать еще 5 человек; было поставлено условие, чтобы число кооптируемых не превышало числа избранных.

Агитация за определенный список лиц велась молодой публикой (А. Гоц, Бунаков, Зензинов и др. ПРИМЕЧАНИЕ В. ЗЕНЗИНОВА). По рукам ходил список, чуть ли не единственный: Тучкин (Чернов) — теоретик, писатель... В списке стояло пять имен и все эти лица были избраны. Против каждого имени — полторы-две строчки с краткой характеристикой. Напр., Натансон — человек опытный, обладает таким-то громадным опытом революционного движения, муж совета. Тов. Дулин (Азев) — практик, организатор, заведующий боевыми делами... Весь список прошел очень значительным большинством. Кто-то один даже получил чуть ли не все голоса или все кроме одного. Представительство на съезде было довольно полное. Правда, оно не было особенно урегулировано, потому что еще не было определенного критерия для избрания делегатов. Было просто так, что каждая организация посылала делегата. Представительство от областей было довольно полное, кроме Кавказа, потому что там в это время был разгром. Многие были с совещательными голосами (все члены накооптированного ЦК). ЦК взял себе первоначально только один голос, но затем съезд решил ему увеличить число голосов.

Выборы второго ЦК происходили на экстренном съезде партии как раз в то время, когда Азев удалился от дел, т. е. подал в отставку вместе со всем составом БО. Он на этом съезде не присутствовал и поэтому его кандидатура в члены ЦК не выставлялась, тем более, что в это время только что явился Гершуни. На этом съезде была также и Бабка. Те пять человек, которые были избраны, были избраны единогласно: Гершуни, я, Бабка, Натансон — пятого в точности не помню. Не помню, кто был кооптирован. Тогда же Гершуни говорил, что Азев придет тоже, потому что он его видел за границей. Они с ним много говорили о боевых делах. Азев ему изложил те мотивы, по которым он подал в отставку. После этого разговора они решили, что Азев все-таки вернется к работе и тогда они вдвоем возьмутся за это дело.

Тем не менее кандидатура Азева на выборах не выставлялась, а ожидали, что когда он придет, то либо вновь встанет у дел, либо уйдет совершенно от всяких дел, потому что тогда

был разговор, что он может совершенно уйти от работы. Когда Азев подавал в отставку, у них, как потом оказалось, в среде БО было не совсем все ладно; некоторые действия Азева вызывали среди некоторых членов БО большое недовольство и критику. Это был первый факт подобного рода в истории БО. В это время в БО создался особый дух, специально боевистский, специально военный; боевики немного сторонились партии и предпочитали по отношению к ней выступать всегда как единое целое, которое имеет в данный момент такое то вот мнение. То, что происходило в их собственной среде, нам, как оказалось потом, было слишком мало известно и степень единства и единогласия боевиков нам казалась большей, чем она была на самом деле.

Некоторые странные обстоятельства в поведении Азева в то время выяснились уже после разоблачения. Эти странные обстоятельства касаются вопроса о слежке за Столыпиным. Два члена БО позднее возлагали на Азева ответственность за то, что дело не шло тем темпом, которым оно должно было идти. Знают подробнее об этом Вч (?) и его жена.

Азев и Савинков, как представители БО, заявили ЦК, что они уходят в отставку и что с ними солидарны все остальные члены БО. Все они убеждены, что при теперешних технических средствах террористы бессильны в борьбе с правительством. При этом Азев несколько больше упирал на то, что может быть они и не были бы так бессильны, но что темп жизни слишком быстр и благодаря этому только при очень длительной работе можно было бы рассчитывать на успех. Между тем при теперешних условиях выходило, по его словам, вот что: был, скажем, Дурново; поставили слежку — она еще не дала достаточно положительных результатов, а Дурново уже ушел, на его место стал Горемыкин, но слежка за ним не успела дать нужных результатов, как уже поставили Столыпина. При таком быстром темпе жизни и при задачах, так часто меняющихся, террористический отряд никаких ударов правительству нанести не может, так как при теперешних технических средствах борьбы слежка поневоле должна принимать слишком затяжной характер, а жизнь идет быстро.

Ссылаясь на это обстоятельство, Азев впоследствии говорил, что он готов встать вместе с Гершуни на работу, если только будет поставлено на очередь дело царя, т. е. дело, которое

может тянуться вплоть до достижения известных результатов и которое уже не может прекратиться так, как прекращаются дела на министров, из-за их ухода.

ЦК решил, приняв отставку Азева и Савинкова, обратиться непосредственно к боевикам, чтобы склонить хотя бы часть их продолжать работу. Переговоры эти были поручены Чернову. Первое время все мои убеждения разбивались о простое заявление тем или иным от имени всех собравшихся. Говорил тогда главным образом Зильберберг: все эти неудачи, по его словам, не случайны, они лежат в природе вещей; если уж с такими руководителями, как Азев и Савинков они ничего не могли сделать, то тем более — без них. Поэтому они тоже приходят к заключению, что нужны какие-либо новые технические средства, а до тех пор, пока этих новых средств нет, в террористической работе ничего нельзя делать. Чернов обратил внимание на организацию информации (информационный метод), от чего до сих пор сознательно отказывались. Можно иметь небольшие вспомогательные организации, которые можно было бы распределять в тех местах, которые сулят разные зацепки в террористической работе: один работает в железнодорожном батальоне, другой — среди матросов тех судов, на которых иногда бывают высочайшие особы или министры и т. д. Эти лица должны были бы вести там общепартийную работу, но обращать внимание и на свои специальные задачи — заводить всякие связи и знакомства, которые могут пригодиться для террористических целей. Все эти лица должны быть агентами БО, ловить всякие слухи и сведения, затем, по расследовании их, передавать непосредственно в БО. ЦК не в праве в настоящий момент отказываться от террористической борьбы — это налагает обязательства и на боевиков, как на людей, имеющих максимальный опыт в этом деле. Придется набирать совершенно новых людей, не имеющих в этом деле опыта. С самого начала боевики согласились, что ЦК обязан продолжать террористическую борьбу — тем самым они брали и на себя известные обязательства. В результате долгих переговоров я нашел дорогу к их уму и сердцу, и тут обнаружилось, что не все боевики так уж едины в этом. В конце концов некоторые из них решили вновь пойти на работу: пошел Зильберберг с маленьким отрядом и пошел В. (?) тоже с небольшим отрядом.

В организационном отношении в последнее время в БО

было так: существовала БО и во главе ее маленький комитет из 2-3-4 лиц, это менялось. Этот комитет и заведывал всей суммой дел БО, решая все вопросы ее внутренней жизни и ведая всей деловой стороной. Фактический контроль над действиями Азева был у этого комитета. Но перед ЦК никакого фактического контроля, отчета быть не могло. Контроль мог быть чисто бумажным: Азев на таком-то заседании сообщает, что истрчено столько-то денег, что им удалось то-то и то-то, что он думает теперь о том-то и том-то, но проверить, что под каждым из этих слов скрывается, члены ЦК, как не принимавшие сами участия в боевой работе, само собой разумеется, не могли.

Пока был Гершуни (он был член ЦК и в то же время один из главнейших работников БО) ЦК фактически бывал обо всем осведомлен вполне, и отчетность и контроль могли быть через него полными. Но как только эта личная связь стала выражаться в Азеве, то, понятно, Азев уже не был таким элементом, через который ЦК мог бы иметь действительный контроль. С другой стороны, Азев, очевидно, и сам старался поддерживать в БО несколько особенный душок, естественный у каждой организации, немного себя обособляющей и немного себя противопоставляющей другим организациям, общепартийным. Азев поддерживал этот душок обособления БО, благодаря которому БО всегда стояла перед нами, как нечто совершенно единое, совершенно целое, где никаких трений нет и которая, как инстанция, сносится через своих представителей с партией, как с другой инстанцией.

В самое последнее время, перед Лондонской конференцией, Азев даже с некоторой настойчивостью стал каждый раз на заседаниях ЦК делать что-то вроде короткого доклада о том, что успели сделать в БО, какие у них имеются виды и намерения на будущее и т. п.

Азев был кооптирован во второй ЦК. БО в то время не существовало. Была речь о том, чтобы возобновить БО и при этом Гершуни, при проезде через границу, столкнулся с Азевым относительно работы в боевом деле. У нас считалось так тогда: Азев подал в отставку, он пока временно удалился; может быть он снова вернется к работе и вернется, вероятно, тогда, когда найдет что-нибудь новое в области технических средств террористической борьбы; ведь Азев и Савинков заявили нам, что удаляются за границу, где и будут главным образом зани-

маться вопросом о новых технических средствах борьбы. Мы и считали, что пока этих новых средств не найдено, вероятно, Азев в работе не будет, а может быть и совсем он не будет, потому что в новые средства мы не очень верили. Но когда Гершуни приехал, то он частным образом сказал нам, что он виделся с Азевым, что он нашел дело так-то, что Азев приедет сюда и что тогда они поставят вопрос о возобновлении БО. Такой вопрос и был действительно поставлен ими, причем фактически Гершуни, еще живя в Финляндии, уже вел ряд таких боевых дел, совещаясь постоянно при этом с Азевым. Затем ими формально был поставлен вопрос о том, что ЦК отпускает Гершуни специально на боевые дела. Но вопрос этот оставался открытым, потому что несколько членов ЦК очень решительно протестовали против того, чтобы Гершуни уходил главным образом в боевое дело.

Так что Азев, избранный в ЦК на первом съезде партии, на втором экстренном съезде не был избран и даже не выставилась его кандидатура, в виду удаления его в то время от дел, и он был кооптирован в ЦК, когда приехал, по уговору с Гершуни, и когда снова взялся вместе с ним за боевое дело.

Ко мне лично Азев обращался с несколько особыми разговорами, говоря, что ему сейчас не с кем посоветоваться. Как быть, у него есть проекты, на которые нужно затратить много денег, что он не хотел бы этого делать, не поговорив предварительно со мной. У него тогда было два проекта: устроить чайную Союза Русского Народа в местностях царской охоты. Второй — так как дело с первым проектом замедлилось, то он решил устроить в Царском Селе или в Петергофе, не помню уж точно, большой фруктовый магазин. В это время в БО поступили кандидатуры нескольких товарищей с Кавказа — наших партийных товарищей армян и грузин. Думая о том, как бы их пристроить, думая вообще о способах слежки, он и выработал проект устройства фруктового магазина в Царском Селе, куда рассчитывал поместить этих новых товарищей. Он рассчитывал, что таким способом можно будет завести некоторые связи с разными лицами, что этот магазин сможет даже делать поставки некоторых продуктов во дворец и т. п.

Фактическая осведомленность ЦК о делах БО затруднялась, как я уже говорил, своеобразным психологическим душком, господствовавшим среди боевиков, душком военного

ссловия по отношению к штатскому. Этому содействовало еще и то, что некоторые из товарищей-боевиков считали, что и тактическая их позиция в вопросе о терроре несколько иная, чем позиция партии; они считали, что партия недооценивает террор, что она ставит их в слишком большую зависимость от тех или иных общих тактических партийных перспектив, от тех или иных расчетов партии на массовую борьбу, что в этом отношении террор должен был бы занять в тактическом отношении более центральное, самодовлеющее и самостоятельное значение.

Все это вместе с влиянием особо конспиративных условий, в которых они жили — а жили они ультра-конспиративно — доводило до минимума всякое их общение с партийными людьми; благодаря этому фактическая осведомленность ЦК была, конечно, очень небольшая.

Предупреждение получил Ростковский в ПБ. Это письмо было им переправлено с «Павлушей» (Павла Андреевна Левенсон) Вщ (?). Вщ это письмо выучил наизусть, а подлинник его уничтожил. Затем это письмо, вернее список с него, было им отправлено уже письменно нам. Но еще раньше, чем мы получили это письмо — а первый раз оно до нас не дошло — мы получили список этого письма, привезенный Савинковым. Этот список был неполный, а совершенно в таком виде, в каком он из воспоминаний Савинкова был перепечатан в воспоминаниях Ракитникова в «Знамени Труда». Конец (ненапечатанный) гласил: «я могу и впредь сообщать для партии различные сведения, но нужна крайняя осторожность, потому что не все шпионы известны, есть риск всегда наткнуться на кого-нибудь еще неизвестного. Поэтому я пока предлагаю следующее: в случае, если вы желаете поддержать сношения, то напечатайте такое-то объявление в «Новом Времени» и одновременно ответьте в почтовом ящике «Революционной России» (приблизительный текст). Автор письма — Меньшиков. Приблизительно в это время в почтовом ящике было: «Анониму. Откройте, кто вы» (Чернов не знает, является ли это ответом Меньшикову).

Когда мы получили это письмо, у нас уже возникали серьезные подозрения против Татарова, почти уже кооптированного или даже уже кооптированного в ЦК. О привлечении его к партийному делу уже давно думали. Еще Гершуни останавли-

вался на нем, как на очень крупном революционере. В Иркутске (или в Красноярске) он уже практически вошел в партийные ряды, был там в комитете, устраивал типографию и т. п.

В Женеве, когда уже возникли первые смутные подозрения против Татарова, Савинков рассказал, что в Нижнем Новгороде, где у них было свидание с Азевым, Азев обратил внимание на слежку за ними. Они сначала отрицали этот факт, затем, присмотревшись более внимательно, признали его. Слежка была очень тонкая и внимательная, хорошо поставленная. Тогда они собрались еще раз вместе и выработали подробный план, как им всем разъехаться из Нижнего, кроме того специально для Азева и для Савинкова решили, что каждый из них на две недели удалится совершенно от боевых дел с одной специальной целью — избавиться от слежки. Так как слежка в данном случае была очень внимательная, очень тонкая и хорошо поставленная, то и меры для того, чтобы избавиться от нее, требовались самые энергичные. Было затем назначено одно местечко под Москвой, в котором они, по истечении этих двух недель должны были встретиться. Савинков уехал, избавился, по его мнению, от всякой слежки, прожил некоторое время на одной железнодорожной станции, убедился, что совершенно избавился от агентов и, пожив там и чувствуя себя совершенно чистым, выехал оттуда. Явился он в назначенное подмосковное село, в экономию, принадлежавшую одному из сочувствовавших партии лиц.

На следующий день какой-то из служащих в экономии, бывший на железнодорожной станции, рассказал, что вслед за гостем, приехавшим вчера, там, на этой станции, сошли два человека, которые осведомлялись о данной экономии. После этого Савинков постарался бежать оттуда, запутал следы и пришел к заключению, что теперь уж наверное избавился от слежки. По приезде в Петербург он опять увидел, что это ошибка, что слежка продолжается. Он старался снова избавиться от слежки, воспользовался проходными дворами и проч. В конце концов ему показалось, что на этот раз он уж окончательно избавился от слежки. Он явился к своему знакомому, присяжному поверенному Въ (?), но вскоре туда пришел один из знакомых Въ (Моисеенко?) и сказал, что за домом есть наблюдение. Один из них вышел из дому, чтобы убедиться и, действительно, увидел и даже не слежку, а целую блокаду, дом был совершенно окружен. Тут они пришли в некоторую отчаянность духа, ре-

шили, что все равно их сейчас заберут и что остается только ждать. Тогда Моисеенко накинул на себя пальто Савинкова и побежал в лавочку, но когда он вышел, то немедленно был арестован — его приняли за Савинкова. Подождавши Моисеенко четверть часа, полчаса, час, наконец, больше часа, Савинков и В. решили, что дело ясное, шпионы почему то не хотят брать его в квартире, а хотят арестовать на улице. Сначала вышел В., потом и Савинков. К удивлению, никого на улице не оказалось. Савинков ушел оттуда на вокзал, сел на поезд и уехал в Финляндию. Уже впоследствии он узнал, что через 3/4 часа или через час после его ухода, на квартиру явилась полиция и искала его, так как они убедились, что ошиблись.

У некоторых было тогда ощущение, что над партией нависла какая-то гроза, туча.

В Саратове являлся писарь к партийным людям и предупреждал: «начальству известно, что на даче у Ракитниковых скрывается Бабушка, что приехали из Петербурга особые агенты для ее ареста». Азев рассказывал также свои два случая, как на железной дороге его предупреждал какой-то железнодорожный служащий, что вот, мол, господин, за вами следят... «Ты дурак! это чепуха. Это за каким-нибудь жуликом следят, как же это может ко мне относиться? Разве я жулик какой-нибудь?» — «Мне, господин, все равно, конечно, но только мне вы напрасно не доверяете. Я служил в железнодорожных мастерских и тоже понятие имею, что не только за одними жуликами следят. А вы, господин, все-таки обратите внимание ваше — там вон два человека едут в таком-то отделении...» Он тогда обратил внимание и увидел двух шпионов. Не доезжая до того места, куда он ехал, Азев выпрыгнул из вагона на какой-то станции, когда поезд уже тронулся и таким образом избавился от слежки. Но когда приехал в Саратов, снова заметил за собой слежку и должен был оттуда удирать. Исчезла Якимова после одного из свиданий с ним — ехала в Петербург. В Москве случайно повстречала знакомого и просила передать: «меня преследуют, еду в Питер, буду стараться избавиться, передайте, что я в опасности» (шепнула). Исчезла неизвестно куда — арестована.

Вот та картина, которую передал нам Савинков. По его мнению, надо ждать колоссальной ликвидации партии в России, что партии грозит удар, положение дел тревожно. Затем он передал нам это самое письмо. Это было в августе или сентябре 1905 года.

Мы сообщили ему о наших подозрениях против Татарова (особенно настроен был против него Гоц). Собирались на квартире у Гоца — Савинков, Чернов, Бах, Тютчев, Зензинов. Только на первом из этих собраний был Азев. На нем было доложено письмо и он заявил, что считает необходимым со своей стороны никакого участия в дальнейших работах по этому делу не принимать. После этого он уехал в Италию. В это время мы уже почти сами были убеждены, что Татаров был провокатором.

Первое саратовское предупреждение было сделано приблизительно в то же время, что и петербургское — предупреждение, что за Бабушкой следят. Из Саратова письмо было прислано незадолго до болезни Гершуни. Прислано это письмо было М. (?), которая раньше об этих предупреждениях ничего не слыхала.

Меньшиков уверял, что по отношению к Азеву уже давно в охране было некоторое недоверие, в особенности не доверял Медников: «это не честный сотрудник, а мерзавец». Азев, мол, выдает только часть того, что знает — поэтому он мерзавец, поэтому ему нельзя доверять. Но доверие к тому, что он выдавал, было безусловное. Герасимов и арестовал Азева в 1906 году, чтобы забрать его в свои руки совсем. Арест Азева был вполне рассчитанный ход Герасимова, чтобы ценного, но не совсем верного сотрудника, как следует припугнуть и взять его совершенно в свои руки, что и удалось.

О саратовском письме Азеву не сообщали, и Гершуни взялся расследовать это дело. Он сначала послал общее успокоительное письмо в Саратов такого содержания, что те факты, о которых вы говорите, как о новости, являются новостью только для вас, а нам это отчасти было уже известно раньше и кое что уже расследовалось. Ничего угрожающего тут нет. Затем туда был послан человек. Если я не ошибаюсь, он поручил расследование этого дела, там на месте, В. (?), чтобы тот повидал этого самого письмоводителя и его расспросил и постарался выяснить все дело, все, что для него оставалось неясным. Но В. был арестован и никакого следствия произвести не мог. Через кого потом Гершуни стал производить расследование, я не знаю.

О саратовском письме был осведомлен весь ЦК кроме Азева. Когда Гершуни говорил, что в конце концов Азеву не стоит говорить об этом письме, то руководился при этом не недоверием к Азеву (и я был с ним в этом согласен), а мы считали, что

Азев вообще очень нервен, что перед ним сейчас огромное ответственное дело, царское дело — и что если он узнает об этом, то бросит дело и выйдет в отставку и тогда опять настанет общий кризис боевого дела (только что преодоленный). Тогда вышло бы так: Азев уходит, Гершуни остается, но о Гершуни вопрос в ЦК оставался еще открытым, его не все были согласны пускать в это дело. Есть К(арпович), но он, конечно, не станет вести этого дела один да и не сможет вести. Не сообщая о саратовском письме Азеву, мы руководились этими соображениями, а не недоверием к нему. А насчет расследования этого дела, — да, мы думали, что нужно расследовать, потому что всякое такое дело нужно расследовать.

Перед этим произошло еще следующее. В Одессе к Ве (?) явился С (?), охранный чиновник, и указал ему нескольких мелких одесских агентов. Указания его были проверены и вполне подтвердились. Затем он дал указания на Киев, но эти его указания не подтвердились, хотя тут могла произойти и ошибка. С. кроме того сказал Ве, что у него имеются еще сведения об одном очень крупном провокаторе, который работает где-то наверху, но он может о нем дать сведения только таким-то и таким-то (назвал трех-четырёх лиц). Одного из них, Тютчева, мы туда отправили, однако, он свидания с С. не добился, а через некоторое время С. был арестован по обвинению — по слухам — в краже денег.

Провал царского дела был объяснен, но провал Северного летучего отряда казался далеко менее разъясненным. Выдача Масокина могла объяснить лишь провал Карла и арест квартиры в Колломяках, но арест Северного отряда мог быть объяснен только карточкой (группа) — этого было недостаточно для ареста. Поэтому после провала Северного отряда было решено образовать особую комиссию. Сначала это было предложено Н. Н. (Н. Н. Слётовой-Черновой) в Петербурге. Потом уже были получены сведения о заграничных слухах и о поведении Бурцева. Решено было образовать специальную комиссию для расследования всех этих слухов за границей (Натансон, Бунаков, Зензинов). Комиссия эта вынесла накануне Лондонской конференции резолюцию, которая признавала все слухи «несостоятельными». Она сделала ошибку, не допросив Бакая.

Тютчев был командирован в Одессу без ведома Азева.

У Слётова относительно Азева были некоторые сомнения, но он о них никому не говорил. Рассказ Лопухина Слётова по-

разил меньше, чем других. Слётов сказал: «Я должен сказать, что у меня были и раньше подозрения относительно Азева, конечно, я ни в коем случае не думал, что он был агентом полиции, но я считал, что он мог послать какую-нибудь анонимку просто, чтобы устранить человека, с которым он очень резко поссорился и вообще я его считал за человека, который в некоторых случаях может взять да и освободить себя от морали. Но так как это касалось только меня лично, то я не считал возможным высказывать каких-либо подозрений по этому поводу, тем более что никаких доказательств у меня быть не могло. Это было только мое личное, субъективное настроение». Кроме Слётова, сколько мне известно, ни у одного члена ЦК таких сомнений не возникало.

Селюк вместе со Слётовым принимала участие в резком инциденте против Азева, но абсолютно ему доверяла. На Лондонской конференции она была очень нервна. Там у нас был один разговор. Она высказала подозрение против ряда лиц — человек восьми. Конечно, это было просто следствие ее нервности. Но и тогда она выражалась об Азеве, как о человеке, которому она безгранично верит. Раньше она очень не любила Азева и Савинкова, они оба ей не нравились, но в последнее время, уже после смерти Гершуни, с ней произошла перемена в этом отношении. Это прямо-таки курьез.

М. Гоц имел одно время переписку по поводу Азева. Это в Петербурге происходил маленький разбор, связанный со студентом Крестьяниновым. Тогда его обвинение разбирали Г(уковский), Пешехонов и Мякотин и Азев дал им объяснения, которые вполне удовлетворили, и этот самый студент еще извинялся перед Азевым (из тюрьмы?). Тогда вот, кажется, приехала Селюк и рассказала Вх (Струве?) о слухах, которые идут в России. Это дошло до Гоца. Он тогда ужасно взволновался по этому поводу и говорил: «Вот уж беда, награбил же, действительно, Бог человека такой физиономией, что при первом взгляде у каждого является мысль, что вот этот прямо из полиции». И он говорил, что к Азеву нужно присмотреться, присмотреться к его глазам и в особенности к его детской улыбке и что тогда, мол, его лицо совершенно преобразается. Так что не один Савинков писал о «прекрасных глазах Азева».

Слётов говорил другим о своих подозрениях против Азева только после разоблачения последнего.

Петербургский случай. М. Гоц однажды получил письмо от

одной дамы, если не ошибаюсь, Т. (?). Она только что приехала из Петербурга и работала у Струве в «Освобождении». Она писала, что в Петербурге существует некая личность по прозвищу «Толстяк» (а может быть она даже назвала и фамилию Азева), инженер, возбуждающий серьезные подозрения. Гоц вступил с ней по этому поводу в переписку и узнал, что в Петербурге, действительно, распространялись относительно Азева слухи, для него очень не выгодные в смысле его политической благонадежности. Некоторую роль в распространении этих слухов играл некий инженер Горнберг. Через некоторое время или даже приблизительно в это же время мы получили от членов комитета ряд указаний на сомнительность в политическом отношении этого Горнберга, а именно, что он был заподозрен в провокации. В Женеву после этого приезжал член петербургского комитета, который изложил нам ряд фактов, бросающих, действительно, тень на поведение Горнберга. Мы посоветовали этого Горнберга от дел отстранить. Впоследствии обвинения Горнберга в политической провокации подтвердились Бакаем и Меньшиковым.

Студент военно-медицинской академии Крестьянинов получил от Азева рабочий кружок. В составе этого кружка оказался один рабочий — провокатор. Когда это было открыто, Крестьянинов был этим фактом очень взволнован и так как он получил кружок от Азева, то у него явились некоторые подозрения. О своих подозрениях он сообщил Р. (Рубакиной?) и еще кому-то. С этим совпали какие-то разговоры, которые вел с разными лицами Горнберг, и в результате Мякотин, Пешехонов и Г(уковский) взяли на себя выяснение этого дела. Это не носило характера третейского суда, вообще не было оформлено. Они расспрашивали Крестьянинова, Р. (Рубакину?), а Крестьянинов обратился к Р. (Рубакиной), потому что с Азевым его познакомила жена Р. (Рубакина). Потом они вызывали к себе и Азева, сообщили ему об этих слухах и просили у него разъяснений. Он дал разъяснения, которые их удовлетворили, а через некоторое время Крестьянинов принес, насколько было тогда слышно, Азеву свои извинения, в особенности после дела Плева. Крестьянинов сидел в тюрьме по какому-то делу, очень волновался и мучился тем, что он в свое время так необдуманно выставил такие подозрения по отношению к такому человеку, как Азев.

По словам Меншикова, в то время была ликвидация дела Клитчоглу. Занимались этим делом двое: Зубатов в Москве и Сазонов в Петербурге, причем для Зубатова кружок Клитчоглу обслуживал Азев, а для Сазонова тот же кружок обслуживал Горнберг. Таким образом Зубатов и Сазонов столкнулись на этом деле. Но так как Зубатов имел источник осведомления обо всех шагах и действиях Клитчоглу гораздо более непосредственный — сама Клитчоглу обо всем советовалась с Азевым, в то время как Горнберг мог только узнавать кое-что случайно и сбоку, и так как удельный вес Зубатова в полицейском отношении был выше, чем удельный вес Сазонова, то департаментом полиции и было решено, что дело это будет разработано и ликвидировано Зубатовым и что Сазонов не должен его касаться. А так как Сазонов, со своей стороны, рассчитывал на этом деле значительно выдвинуться, то отсюда возникло и соперничество между Сазоновым и Зубатовым. Сазонов, догадавшись или узнавши, что Зубатова обслуживает Азев, через посредство Квицинского пустил «душок» на Азева в революционной среде. Вероятно, Горнберг сыграл в этом распространении слухов роль посредника. Это дело вспомнилось после первого петербургского предупреждения (через Ростковского), и нам эта анонимка казалась продолжением того дела, в котором Горнберг старался замаскировать свою собственную роль пусканием «слушка» против Азева.

Резолюция конспиративной комиссии: «Выслушав все сведения, опросивши Бурцева, Во (?), Вг (?) и других свидетелей, комиссия пришла к заключению, что по отношению к Азеву не представлено никаких сколько-нибудь доказательных обвинений. Что касается вопроса о провалах в партии вообще, то комиссия считает, что этот вопрос требует очень серьезного расследования, так как некоторые из провалов возбуждают большие сомнения в существовании какой-то значительной провокатуры. Поэтому комиссия считает, что ее функции должны быть продолжены».

Азев приехал в Таммерфорс только к концу съезда.

Масокин в царском деле, действительно, дал откровенные показания, но его товарищи по процессу считали его не злым банкротом, а несчастным. Настроенные в виду смертного приговора в определенном смысле, в смысле умереть самоотверженно, они амнистировали несчастного Масокина и прошались

с ним, как прощались друг с другом. Отсюда группа Юделевского приходила к убеждению, что Масокин не выдавал, что было неверно (они на этом строили обвинение против предательства Азева, а ЦК его защищал, отстаивая факт предательства Азева).

Саратовское письмо Азеву было неизвестно. Сам Азев высказывался в том смысле, что партия бессильна против сведений, исходящих из полицейского источника, так как не может их проверить (надо допрашивать агентов Департамента полиции). Поэтому всего лучше ему совершенно от всякой работы и из партии (уйти?), освободить ее от его присутствия.

Саратовское письмо намеренно было зачитано в ЦК в отсутствие Азева. Обращено было внимание на то, что показания этого лица давались несколько раз и каждый раз отличались одно от другого, с каждым разом они были также полнее. Решено было выяснить личность автора их. Гершуни говорил по этому поводу, что самая убийственная вещь для партийной работы это то, что не успел еще Азев приступить к работе, как против него уже был пущен, при явном участии провокатора Горнберга, слух, имеющий целью его очернить, что этот слух сразу привился среди непартийной публики, в особенности освобожденской, затем этот слух разошелся дальше, с тех пор существование этого слуха стало известным полиции, и вот теперь полиция наигрывает на этом слухе, причем он тогда же говорил, что он находит только один путь разрешить это дело, что если мы решим серьезно ставить дело на царя и разрешим ему всецело отдаться этой работе, то он должен вместе с Азевым идти на это дело, и тогда вопрос разрешится как в том случае, если они победят, так и в том случае, если они погибнут.

В частности, относительно наличия этих новых слухов Гершуни предполагал так, что у полиции это есть своего рода определенная тактика, что раз она установила, что однажды эти слухи уже привились к Азеву, такому крупному революционному деятелю, то она теперь, для прикрытия уже существующих агентов и для внесения дезорганизации в партию будет пускать эти слухи и впредь. Так было и раньше, когда Судейкин иногда пускал ложные слухи о провокации, в то время как действительных провокаторов он скрывал, конечно. Ему казалось и он говорил так по этому поводу, что это вообще, по его мне-

нию, полная нелепость даже если допустить такую вещь, что Азев агент, то каким же образом какой-нибудь второстепенный чиновник саратовской охраны может это знать?

Азев в Боевой Организации: уже Гершуни очень занимал вопрос о динамитной технике и он очень интересовался им, потому что в делах БО чрезвычайно быстро назрела потребность в этой технике, в особенности же после неудачи дела Качуры, когда Качура, превосходный стрелок, имевший даже призы за стрельбу, не убил Оболенского, а только ранил его. Уже тогда Гершуни говорил, что надо бы перейти к другому методу борьбы и что, мол, недаром в «Народной Воле» говорили, что «мало веры в револьверы». А в это же время Бурцев очень много писал и говорил о панкластите и о том, что в размере апельсина можно изготовить из него такую бомбу, которая произведет громадное действие. Гершуни обратился к Бурцеву, но очень скоро убедился, что тут он не получит того, что действительно нужно. Вопросом о динамитной технике занялся фактически и пришел в нем к некоторым результатам только Азев. При этом делался ряд опытов. Первые опыты происходили недалеко от Женевы. Динамитной техникой непосредственно ведали Покотилов, Дора Бриллиант и Б(илит?). Главным образом пробовали они в это время гремучую ртуть. С этой гремучей ртутью делались некоторые опыты, напр., на выбранном, очень уединенном месте, в одной полуразвалившейся мельнице ставили тачку, а в ней было живое существо — собака — и в эту тачку бросался снаряд. Мне лично тоже приходилось участвовать в этих опытах. Но опыты дали результаты недостаточные: гремучая ртуть оказалась материалом настолько чутким, настолько легко реагирующим, что выяснилось, что она пригодна для устройства запалов, но негодна для самого действия, что она чрезвычайно сильна, но действует только на очень ограниченное расстояние.

После этого делались еще опыты с различными взрывчатыми веществами. Производились такие опыты, в частности, в Бретани, где Азев работал вместе с Поливановым, который, впрочем, принимал в этом очень малое участие, т. к. у него в это время происходила его личная трагедия. Затем снова была устроена мастерская уже недалеко от Женевы, наконец, были еще две мастерские — одна недалеко от Ниццы, другая в Париже. Динамитные мастерские устраивались за границей пять-шесть раз.

Первоначально изготавливали ряд продуктов, затем пробовали их в различных опытах. Лица, работавшие в мастерских, сменялись: Билит, Покотиллов, особенно выдвигался в работах Швейцер, но все разыскания и общий контроль над работами принадлежали Азеву. Без преувеличения следует сказать, что разрешение вопроса о новой динамитной технике принадлежало Азеву. Он за это дело взялся, он довел его до конца, он имел всегда в нем решающий голос, т. е. избирал место, где нужно устроить мастерскую, принимал предложения, проверял и принимал их или отвергал, отчасти он руководил и самими работами. Первые неудачные опыты производились в его отсутствие, а те, которые окончательно привели к цели, были, насколько мне известно, опытами, поставленными в Бретани, где он непосредственно работал, и работы производились в его квартире, в которой он жил вместе со своей семьей. Тут же иногда шли и различные разговоры с боевиками о способах будущей работы.

Самая идея слежки путем постановки извозчиков, разносчиков, папиросников и т. п. была идея Азева. Ему же принадлежала и общая идея о том, что в боевом деле непременно принципом должна быть поставлена полная изоляция БО от всей общепартийной организации, т. е. свои, по возможности, паспорта, добываемые не через партию, а непосредственно, свои явки, свои квартиры, свои места свиданий, своя касса и т. д. Ему же принадлежали и те проекты, очень крупные по замыслу, которые им разрабатывались, но не были осуществлены, напр., проект с автомобилем, впоследствии им оставленный, проект постановки крупного магазина, устройства меблированных комнат, чайной Союза Русского Народа. Словом, все, что предполагалось и что было осуществлено, все это принадлежало главным образом ему. Сами боевики считают Азева создателем всего метода БО, который был применен в деле Плеве, Сергея и во всех последующих делах. Однажды я присутствовал при процессе выработки в техническом отношении одного акта — Азев с несколькими людьми подробно обсуждал все возможности. Я бы уподобил этот процесс тому анализу всевозможных комбинаций, который делают опытные игроки в шахматной игре. Все возможные случаи обсуждались чрезвычайно точно, предусматривались все возможные мельчайшие детали, все возможные отступления от плана и т. д. Эта подробность обсуждения меня очень тогда поразила, необычайно точная выра-

ботка деталей и предвидение всех возможных вариантов. В этом обсуждении роль Азева была такова, которая мне наглядно показала, почему Гершуни или Гоц, при которых часто обсуждались такие дела, говорили об Азеве, как о человеке с математическим складом ума, у которого если и есть известный недостаток в построении планов, то только один: он рассматривает людей уж черезчур как шахматные фигуры, которые всегда точно исполняют все так, как им полагается по диспозиции, что он рассчитывает людей не как человеческий материал, а просто как шахматные фигуры.

Азев также играл чрезвычайно важную роль в деле приема новых людей в БО. Он в особенности настаивал на чрезвычайной строгости подбора и малейшее обстоятельство заставляло его требовать самого решительного отклонения предложения данного человека. Он, например, отверг Б(элу?), как слишком нервного человека; она долго добивалась принятия и так как ее очень долго в этом напряженном состоянии держали, то она перед отъездом своим за границу была слишком нервна, иногда по малому поводу с ней происходило нечто вроде нервного припадка, она начинала рыдать и т. д. Он нашел ее слишком нервной и экзальтированной. Также он нашел недостаточно выдержанной Коноплянникову и слишком порывистой.

В деле Плеве он настоял на том, чтобы боевики продолжали дело, когда, как видно из записок Савинкова, они вследствие долгого его (Азева) отсутствия даже уехали из Петербурга и взялись было за мелкое сравнительно, провинциальное дело. БО именно ему обязана делом Плеве. Также все его практические указания оказались очень верными и ценными. Он дважды критиковал планы боевиков, которые уже хотели привести их в исполнение. В обоих случаях его критика оказалась совершенно справедливой. В первом случае его послушались и не произвели покушения, но во втором — не послушались и выступили: но ничего не вышло и было удивительно, как все они не были арестованы. Справедливость его критики, сила характера, с которой он настаивал, чтобы раз крупное предприятие начато, то оно должно быть доведено до конца во что бы то ни стало, верность его диагноза (напр., в деле Плеве: «ну, теперь уже все готово и можно действовать») — все это импонировало всем. В деле Сергея он уже не принимал такого непосредственного участия. но он посылал людей. он распределял места, так

как тогда БО разделилась на три отряда — Петербург, Москва и Киев. Верность оценки отдельных людей в смысле их способностей к самостоятельному ведению дела, все это вместе взятое и давало ему в БО такое положение.

Наконец, даже во время последних актов, когда БО преследовали неудачи — казалось, что где он лично участвует, там дело идет хорошо. Дело Дубасова: долгая работа под руководством Савинкова не давала результатов; наконец, Савинков был вынужден, преследуемый, бросить дело, всех снять — организация была ликвидирована, все вернулись в Финляндию. Азев заявил, что они, по его мнению, уехали преждевременно и проявили недостаточную выдержку. Впоследствии он ссылаясь, в подтверждение своего мнения, на то, что бомба, оставленная в чемодане в одной гостинице, была отнесена служащими на какой-то чердак и там взорвалась — следовательно, не было необходимости в поспешном отъезде, ибо и слезки не было... Он сам поехал на место, организовал дело — и покушение произошло (Борис Вноровский, 23 апреля 1906). Нам казалось, что там, где он лично участвует, там он своей выдержкой, настойчивостью делает в короткое время то, над чем другие трудились много и долго и все-таки безуспешно. У боевиков было ощущение, что нередко только благодаря исполнению некоторых предписаний и требований Азева БО спасалась от разгрома. Савинков доказывал, что при той массе дел, которая была у БО, количество провалов следует признать ничтожными. И лица проваливались большей частью благодаря какой-нибудь несчастной случайности, причем ряд лиц был арестован в такой обстановке, что их даже не обвиняли в принадлежности к БО.

Гершуни советовался с Азевым по делу Максимовского. Типография «Школьное и Библиотечное Дело» в 1906 и 1907 гг. была фактически типографией ЦК, выпустившей легально, полуполюгально и нелегально огромное количество партийной литературы — руководил ею за это время Азев. Боевики отзывались об Азеве, как о человеке, который необычайно внимателен и сердечен по существу, несмотря на свою видимую черствость и холодную внешность; он чрезвычайно хорошо относился к ним, входил во все их мелкие заботы, все личные нужды и т. д. В общем авторитет Азева не имел в БО себе равного за все время ее существования.

Когда «аграрники» ехали в Россию, с ними был заключен

компромисс: они имеют право отстаивать свои взгляды, но обязуются не пускать своих лозунгов в массы и не действовать в смысле аграрного террора, пока партия не приняла такого метода в свою тактику. Азев приехал за границу уже после того, как такое соглашение было с ними заключено, он был очень против такого соглашения и даже ссорился. И не успели еще все аграрники разъехаться, как в бундовском листке «Последние Известия» появился секретный циркуляр, что, мол, в Россию ожидается прибытие таких-то и таких-то людей — они были переименованы. Это обстоятельство послужило предметом особого разбирательства (в смысле выдачи), занимался разбором М. Гоц — но разбор ничего не дал, так как Гоц обнаружил слишком много: большую болтовню об этой поездке в Женеве и большую переписку по этому поводу; в то время как раз наблюдалась большая перлюстрация писем, а в Женеве был только что пойман агент русской Охранки, который подкупал почтальонов и получал нужные ему письма.

По словам Лопухина, Азев был первоначально осведомителем по транспорту. Азев сообщил также о типографии в Пензе. Вначале, повидимому, сведения Азева касались общепартийной деятельности и только позднее — боевой. Несомненно, вначале давал и фиктивные сведения — напр., совершенно фантастический состав ЦК как раз в то время, когда он уже сам был его членом.

По словам Лопухина, дело Плеве свалилось на них совершенно неожиданно, они сначала даже думали, что это дело ППС. Дело Богдановича было для Департамента полиции неожиданным. Уже после убийства они командировали в Уфу Медникова для выяснения того, чье было это дело. Неожиданным для Департамента полиции было и дело Оболенского, не знали и о подготовке второго покушения.

ИЗ ДАВНИХ ЛЕТ*

СТРАНИЦЫ ВОСПОМИНАНИЙ

Я знал, что Иркутск славился как центр революционных политических ссыльных и как культурный город. Целый месяц мы ехали в товарных вагонах. По дороге подбирали таких же, как я, которые тоже сидели в разных тюрьмах. Наконец, мы прибыли на какой-то полустанок. Нам велели взять свои вещи и сказали: «Тут вы будете служить». Никакого Иркутска я не видел. Это был «Военный городок», расположенный в восьми верстах от Иркутска. Во время русско-японской войны «Военный городок» был пунктом для раненых русских солдат. Когда война кончилась бараки были превращены в казармы. Там стояло несколько пехотных полков. Я был зачислен в 125-й Сибирский стрелковый полк. Потом я узнал, что этот полк во время революции 1905 года перешел на сторону революционеров и после подавления восстания был раскассирован. Теперь его пополняли солдатами отсталых народностей Урала — чувашами, киргизами, татарами. Многие из них ни слова не понимали по-русски. Сюда же посылали многих бывших политических заключенных, чтобы они тут были изолированы и не могли иметь влияния на солдат.

Будучи в полку, я был уверен, что никто не знает, почему я прибыл в полк на два месяца позже. Меня никто об этом не спрашивал. Но однажды пришел к нам ротный командир и через несколько минут фельдфебель вызвал меня в канцелярию: «Ротный командир хочет тебя видеть». Я вошел. Командир поздоровался со мною, и вдруг спросил: «Ты за что сидел под арестом в России?» Я смутился, не зная, что ответить. «У нас, — сказал я, — крестьяне рубили помещичий лес, их арестовали, когда их вели, под охраной, я громко сказал: «Что же, если они даже рубили помещичий лес, беднякам дешевле дрова будут». За это меня арестовали и присудили к наказанию». Я так

* См. кн. «Н. Ж.» 98, 99, 100.

сказал, потому что в приговоре, который мне был прочитан перед отправкой в Дисненскую тюрьму было сказано: «За подстрекательство крестьян к захвату чужой собственности».

Ротный командир курил свою папиросу и вдруг, улыбнувшись, сказал: «Я хорошо знаю, что ты революционер, но помни, теперь ты солдат 125-го Сибирского стрелкового полка. Забудь свои революционные мысли. После того, как ты кончишь службу, можешь делать что хочешь, а теперь не делай этого потому, что ты только себя погубишь, меня подведешь, а эти идиоты все равно тебя не поймут». Я поблагодарил его и ушел. В тот же день, кажется, он меня назначил учителем неграмотных солдат. Я их обучал грамоте и ротный командир хвалил меня за «успехи».

Несмотря на то, что мое непосредственное начальство, фельдфебель и взводные унтер-офицеры считали меня «самым большим грамотеем» и «образованным солдатом» и относились ко мне с уважением, первые три месяца я был в подавленном настроении. Особенно меня угнетало то, что я был совершенно отрезан от цивилизованного мира, газет не видел пять-шесть месяцев, не знал, что происходит. После Нью-Йорка, Лондона, Парижа, Женевы и революционной России попасть в такую глушь, да еще в казарму, где днем и ночью я был окружен чуждыми мне людьми, это приводило меня в отчаяние. А в город первые три месяца не разрешали пойти. Я был под надзором.

Но вот настал день, когда всех нас, молодых солдат, должны были приводить к присяге. Нас выстроили на большой площади и разделили на пять групп: православные, католики, евреи, мусульмане и язычники. Каждую группу приводил к присяге священнослужитель. Евреи были самой малочисленной группой. Нас приводил к присяге общественный раввин города Иркутска. Человек образованный, культурный, он расспрашивал солдат — откуда они, чем занимались до военной службы. Так как я был единственный интеллигент, то раввин беседовал со мною дольше. Когда я рассказал, что я еще «поднадзорный» и мне не разрешают пойти в город, он тихо сказал: «Я постараюсь выхлопотать у вашего начальства, чтобы вас отпустили на еврейскую Пасху вместе с остальными еврейскими солдатами на всю пасхальную неделю в город и устрою вас там в интеллигентной еврейской семье. Не унывайте!» И действительно, накануне ев-

рейской Пасхи ко мне подошел фельдфебель и сказал: «Тебя на неделю отпускают в город. Вот тебе записка и адрес еврейского адвоката, у которого будешь жить всю неделю». И я вместе с другими евреями-солдатами отправился в Иркутск.

Помню, это был март месяц; день был солнечный, снег таял... Меня направили к одному еврею-адвокату по фамилии Винер. Он и его жена оказались добрыми, симпатичными интеллигентными людьми. Жена была одета в черном и сначала мало говорила. Но потом рассказала, что в октябрьские дни 1905 года черносотенцы убили ее двух сыновей, студентов Томского университета. Боевой отряд партии социалистов-революционеров, во главе которого тогда стоял Н. С. Калашников, убил главаря этих черносотенцев — убийц братьев Винер. (Калашников подробно описал это в своей автобиографии на английском языке, вышедшей лет тридцать тому назад в Нью-Йорке). Но это, конечно, не утешило мать. Она была интеллигентнее мужа и, познакомившись со мной поближе, любила со мною беседовать. На первый «сейдер» (трапеза в первые два вечера Пасхи) у Винеров были гости, евреи и христиане. Меня со всеми познакомили. Одна дама почему-то особенно заинтересовалась мною, расспрашивала о моем прошлом, о моей жизни в казарме, а под конец вечера, перед уходом тихо сказала: «Я Анна Абрамовна Цукасова. Я хотела бы вас видеть у себя, когда у вас будет свободный час. Вот мой адрес». И она дала мне записку. На завтра, когда я спросил у Винер, кто эта Цукасова, она сказала, что это прекрасный человек и все политические ссильные у нее бывают.

Дня через три я пошел к ней. Она сразу сказала мне, что она член местной нелегальной социал-демократической организации, которая получила обо мне письмо еще три месяца тому назад от Северо-западного комитета РСДРП, но они не знали в каком я полку. Представители местной организации меня искали. Случайно ли А. А. Цукасова встретила меня у Винеров или узнала от общественного раввина, с которым была хорошо знакома, не помню; но с тех пор я стал постоянным посетителем дома А. А. Цукасовой.

Вскоре Винер, по моей просьбе, пошел в редакцию местной либеральной газеты и взял там комплект газеты за последние три месяца. Целых два дня я читал эти газеты и узнал из них, что за эти три месяца произошло в России и за границей. Помню, в

одном из первых номеров я прочитал описание побега с каторги Григория Гершуни, который через Японию бежал в Америку. Но с особым захватывающим интересом я читал отчеты о заседаниях Второй Государственной Думы. Тут я узнал о партийном составе Думы и о лидерах каждой фракции. Многие имена депутатов были мне хорошо знакомы. В частности, я знал, что петербургский депутат Григорий Алексинский — видный большевицкий журналист. В Иркутске выборы депутата в Думу почему-то произошли гораздо позже, чем в других городах, — в последний день еврейской Пасхи. Помню, когда я возвращался из города в «Военный городок», я шел мимо городской думы и увидев большую толпу около здания, спросил одного на вид интеллигентного человека: «В чем дело?» Он ответил: «Депутатом во Вторую Думу избран социал-демократ Виктор Мандельберг. Он все время скрывался, теперь ждут его в городскую думу». К моему крайнему сожалению, я не мог ждать, я должен был явиться в казарму, а было уже довольно поздно. Через недели две ко мне пришел денщик полкового адъютанта и сказал, что меня ротный командир рекомендует как одного из «актеров» для солдатского театра. Театр скоро должен был открыться здесь, в «Военном городке» и денщик позвал меня пойти с ним в барак, предназначенный для будущего театра. Я, конечно, с большим удовольствием пошел. Там я застал группу солдат и несколько офицеров. Один из них — штабс-капитан Редигер меня проинтервьюировал и после краткой беседы сказал мне: «Мы именно таких, как ты и ищем». Потом я узнал, что штабс-капитан Редигер был племянником морского министра. Это был культурный, образованный офицер, талантливый художник и большой театрал. Но он очень любил выпить. Из моей роты я был единственным «актером». Большинство будущих «актеров» были саперы. Объяснялось это тем, что среди саперов было много лиц, окончивших всякие технические училища и между ними были довольно интеллигентные молодые люди.

Нашим режиссером был молодой поручик, большой театрал и очень либеральный человек. Ставили одноактные пьесы и водевили. Несколько раз в неделю мы собирались в театре на репетиции. Режиссер распределял роли, — каждый из нас тут же заучивал роль и после генеральной репетиции, на которой обычно присутствовали Редигер, наш режиссер и еще два-три офицера, ставили спектакль. Все роли, включая и женские,

играли солдаты. Я участвовал в нескольких пьесках, и не плохо сыграл роль врача-немца, потому что встречал таковых в жизни; к тому же знал немецкий язык. После каждого спектакля нас, «актеров», в театре же чествовали «вечеринкой», на которой присутствовало пять-шесть офицеров. Вместе выпивали, вместе пели народные песни. Среди «актеров» оказался один прекрасный баритон.

Однажды, когда я был в театре на репетиции, ко мне подошел один из «актеров» — сапер, дал мне какую-то смятую газету, сказав: «На, почитай что там пишут» и ушел. Я открыл газету, оказалось, что это — нелегальный номер «Военного голоса», органа ЦК РСДРП. Я, конечно, сейчас же стал читать и так углубился в чтение, что не заметил как сзади ко мне подошел штабс-капитан Редигер и спросил: «Что ты читаешь?» Я смутился и ответил: «Газетку рабочей партии». Редигер ничего не сказал и пошел дальше. Через недели две, после одного спектакля, когда мы сидели и выпивали, один из молодых офицеров предложил баритону спеть «Дубинушку». Тот охотно негромко запел и все остальные, включая и некоторых офицеров, ему подтягивали. Я сидел рядом с Редигером. Он налил мне рюмку водки, выпил со мной и сказал: «По-моему, солдат не должен быть ни правым, ни левым... Алексинский такой же хулиган как Пуришкевич». Я посмотрел на него удивленно, он заметил мой взгляд и сказал: «Подумай только, когда депутат Думы Гессен, редактор петербургской «Речи», протянул Алексинскому руку, Алексинский ему сказал: «Я защитникам помещиков и буржуазии руки не подаю» и отвернулся от него. Ну, разве это не хулиганство?» Я Редигеру ничего не ответил. Алексинский тогда был ярым большевиком, но я не верил, что даже Алексинский мог так поступить.

Штабс-капитан Редигер ко мне почему-то очень хорошо относился; он часто расспрашивал меня о моей жизни. Кто-то ему рассказал, что я провел больше двух лет за границей; был в Америке. Он особенно интересовался Америкой и Парижем.

В начале апреля ко мне в казарму пришел какой-то унтер-офицер и позвал пойти с ним к капельмейстеру полкового оркестра. Когда я пришел к капельмейстеру, тот сразу сказал: «Я хочу, чтобы ты вступил в музыкантскую команду. Штабс-капитан Редигер мне сказал, что ты очень музыкальный». Я рассмеялся: «Откуда он это взял?» — «Нет, нет, ты не

отказывайся, — сказал капельмейстер, — можешь выбрать себе инструмент какой хочешь и научишься на нем играть. Таких интеллигентных солдат как ты — в нашем полку мало».

Некоторое время я колебался — принять ли предложение. Редигер меня тоже уговаривал вступить в музыкантскую команду. Когда я его спросил: «Откуда вы взяли, что я очень музыкален?» Он, смеясь, ответил: «Все евреи музыкальны». В конце концов я принял предложение и был переведен в музыкантскую команду. После того, как я перепробовал все музыкальные инструменты, я выбрал баритон. И капельмейстер начал со мной заниматься. Я усердно занимался и делал большие успехи. Я уже играл «Боже, Царя храни». Этот гимн играли не из патриотических соображений, но потому, что после гамм — это самая несложная музыка. Многие офицеры знали, что я революционер. Помню, однажды я проходил мимо двух офицеров, стоявших около палатки (мы были тогда уже в лагере). Одного из них я знал, другого нет. Когда я поздоровался — офицер, который меня знал, сказал другому: «Ваня, ты знаешь, Шуб уже играет 'Боже, Царя храни'». Незнакомый мне офицер, смеясь, ответил ему: «Небось, 'Марсельезу' он раньше научился».

В музыкантской команде я чувствовал себя гораздо лучше и свободнее, чем в роте, где долгое время не было ни одного солдата, с кем я мог бы хоть пять минут поговорить. Многие из татар ни слова не понимали по-русски. Большинство чувашей и киргизов говорили по-русски очень плохо. Но даже среди солдат-сибиряков было много совершенно невежественных. Помню, был один солдат из Тобольской губернии по фамилии Черемных. Словесность ему особенно тяжело давалась. Он никак не мог ответить на вопрос: «Что такое знамя?» Вместо того, чтобы сказать: «Знамя — есть полковая святыня», он почему-то всегда говорил: «Знамя — есть святая полковыня». Другой солдат, с Урала, тоже был таким же, как Черемных. Его фамилия была Плеханов и офицеры любили потешаться над ним. Они спрашивали: «Ты что из тех Плехановых?» и он неизменно отвечал: «Так точно, ваше благородие».

В моей роте было и несколько евреев, почти все они были из Подольской и Волынской губерний и крайне отсталые и невежественные. В музыкантской команде я нашел среди старых музыкантов несколько более интеллигентных людей, один даже оказался эс-эром. Это я узнал позже от А. А. Цукасовой.

Однажды, когда я пришел к ней, я застал там не то секретаря, не то главного передовика местной демократической газеты, которая выходила после закрытия «Восточного обозрения», и в которой сотрудничали Владимир Короленко, когда он был в ссылке; а позже и Л. Троцкий.

Когда мы сидели втроем за чайным столом, Цукасова ему рассказывала, что не то она сама, не то ее приятельница, получила письмо из Америки от их приятеля, оставившего три месяца тому назад Иркутск. «Он пишет, — сказала она, — что он живет и работает в Бруклине, а по вечерам ездит в Нью-Йорк на лекции Гершуни». Я невольно улыбнулся. «Чему вы улыбаетесь?» — спросила Цукасова. «Я улыбаюсь, потому что Бруклин — не отдельный город, а часть Нью-Йорка, а Гершуни лекций в Нью-Йорке, наверное, не читает. В Нью-Йорке во время его пребывания там было, вероятно, одно или два массовых собрания, на которых Гершуни выступал как главный оратор». — «Откуда вы все это знаете?» — спросил меня сотрудник газеты. — «Я жил полтора года в Нью-Йорке и бывал на многих русских собраниях и лекциях».

Они оба начали меня спрашивать об Америке вообще и о русской колонии в Нью-Йорке. Я им много рассказывал. Под конец сотрудник газеты сказал: «Ведь это очень, очень интересно, почему бы вам не написать для нашей газеты несколько статей об этом?» — «Я солдат, — ответил я ему. — Я не могу в казарме писать; к тому же это строго запрещено. Но, когда я буду в городе, я попробую у А. А. (Цукасовой) на квартире что-нибудь написать». Потом я написал такую статью, которая была напечатана в двух номерах газеты. Кроме сотрудника газеты и А. А. Цукасовой никто, конечно, не знал — кто автор статьи.

Еще до моего поступления в музыкантскую команду, я однажды простудился, заболело горло. Когда я пришел в околодок, полковник-врач, не выслушав меня, сказал фельдшеру: «Дай ему касторки». Фельдшер дал мне выпить ложку или две касторки и отпустил. К вечеру у меня боль в горле усилилась и я чувствовал, что у меня повышенная температура, но жаловаться было некому. На утро я опять пошел в околодок и сказал фельдшеру, что чувствую себя гораздо хуже и что у меня, по всей вероятности, высокая температура. Фельдшер смерил температуру, которая была очень высокой. Когда пришел врач, между прочим, отчаянный пьяница, и я подошел к нему, он

опять сказал фельдшеру: «Дай ему касторки». Но на этот раз фельдшер ему сказал, что он мерил температуру и она очень высокая. «Так положи его в околоточную больницу и я его позже выслушаю». Меня положили в больницу, позже пришел врач и установил, что у меня сибирская свинка. Врач велел отправить меня в Иркутский военный госпиталь. За этот день все мое лицо распухло и боль была невыносимая. В приемной госпиталя я пролежал в муках несколько часов на голом полу, пока дошла до меня очередь. Но потом меня выслушал доктор и положил в палату, где было очень чисто, кормили очень хорошо и уход за больными был идеальный. Я пролежал там дней десять, пока не выздоровел.

В иркутском госпитале я лежал рядом с солдатом-сибиряком, очень добродушным парнем. Ему, кажется, сделали какую-то операцию. Однажды он у меня спросил: «Ты кто — из Грузии будешь?» «Нет», — ответил я. «Из армян?» «Нет». «Из греков?» «Нет». «Ты, не из хохлов?», — спросил он изумленно. «Нет, я из жидов», — ответил я. «Не может быть!» — воскликнул он. «Почему?», — спросил я. «Потому, что жида не такие, как ты», — ответил он. «А ты когда-нибудь видел жида?», — спросил я. «Нет, не видал, но дедушка рассказывал, что под Москвой живут жида и они совсем не такие, как мы». Я, наконец, убедил его, что я еврей и он проникся ко мне большим уважением. Когда я перед уходом из госпиталя прощался с ним, он мне сказал: «Я рад, что ты выздоровел, но очень жаль, что ты уходишь. Без тебя будет скучно».

Вообще я должен сказать, что в армии ни среди солдат, ни даже среди офицеров я не встретил ни одного антисемита. Только о командире полка некоторые офицеры мне говорили, что он «черносотенец и антисемит». Но его я никогда даже близко не видел.

Когда социал-демократ Виктор Мандельберг был выбран депутатом Второй Государственной Думы от Иркутска, иркутская военная революционная организация, к которой я принадлежал, выработала ему «Наказ» от имени иркутского гарнизона. Все группы населения посылали тогда «Наказы» своим депутатам. Я в выработке «Наказа» фактически не участвовал, но мне дали его прочесть перед тем, как отправили в Петербург и я, конечно, одобрил его. В своем «Наказе» мы требовали восстановления тех свобод, которые царь обещал народу в Мани-

фесте 17-го октября 1905 года и осуществления других реформ, за которые боролась тогда вся либеральная и демократическая Россия.

Случилось так, что перед разгоном Второй Государственной Думы на квартире у одного из социал-демократических депутатов Ивана Озоля в Петербурге был обыск. У него были все документы социал-демократической фракции. И там, между прочим, был найден и наш «Наказ». Из Петербурга сразу телеграфировали в Иркутск и, был отдан приказ об аресте целой группы солдат. Я был одним из них. Мне дали знать, что получен приказ о моем аресте. Я решил пойти к полковому адъютанту просить увольнительную записку, чтобы мне позволили пойти на зимнюю квартиру, там забрать свое белье. Я думал так: если он уже знает об этом приказе, то меня все равно сейчас же арестуют. А если он мне даст увольнительную записку, значит, он еще ничего не знает и я смогу бежать. Я получил увольнительную записку и ушел в город, пошел к А. А. Цукасовой, но ее не было дома, она уехала куда-то в деревню. Я пошел к другому представителю партии, которого знал, и его тоже не было дома. Я пошел к сотруднику местной газеты, в которой я писал, он сочувствовал социал-демократам — его тоже не было. Тогда я решил пойти к адвокату Винеру и рассказать ему в чем дело, и просить, чтобы он мне достал паспорт, деньги и костюм, чтобы переодеться и уехать. Я пришел к нему на дачу, но оказалось, что у него было какое-то собрание местных общественных деятелей. Я думал, что через полчаса все кончится. Но вижу, проходит час, другой, а они сидят и все совещаются. Тогда я сказал его невестке, которая была женой одного из убитых его сыновей: «Пожалуйста, зайдите туда и скажите вашему отцу, что мне нужно поговорить с ним по очень важному экстренному делу». Она пошла, и он сейчас же вышел. Я ему рассказал, что меня ждет арест, и что я должен немедленно бежать. «Почему же вы мне раньше не сказали? — сказал он. — Я бы мог поехать в город и достать для вас все. Но сейчас я все равно поеду». «А где я буду ночевать?» — спросил я. «У нас вы не можете ночевать, — сказал он. — В полку знают, что вы бываете у нас». И немного подумав, сказал: «Вы знаете, что я вам посоветую: пойдите опять в лагерь, но постарайтесь прийти за несколько минут до поверки и оставьте у себя эту увольнительную записку, не отдавайте, если даже у вас ее спросят. А ночью или на

рассвете вы удерете, у вас будет увольнительная записка, и никакой патруль вас не остановит. Так я и сделал. Пришел, уже было около девяти часов. Меня встретил один из унтер-офицеров, — как раз мой приятель, хохол, очень симпатичный. Он сказал: «А вот идет наш политический арестант». Я испугался. Ко мне подошел один еврей-солдат, который никакого отношения к революционному движению не имел и вообще не знал, чем я занимаюсь и сказал мне: «Ты знаешь, адъютант меня остановил на улице и спросил: «Ты Шуб?» Я сказал, что нет». — Я понял, что меня ищут.

(Продолжение следует)

Д. Шуб

ЦК ПРОТИВ ПЛАНА ЛЕНИНА О ВОССТАНИИ*

Впрочем, очень скоро, буквально через неделю, сам Ленин пересмотрит свою тактику по вопросу об отношении к эсерам и меньшевикам, пересмотрит настолько резко, насколько резкими оказались новые события — поход Корнилова на Петроград. Однако, накануне выступления Корнилова, между 21 августа (сдача немцам Риги) и 25 августа (начало похода Корнилова) Ленин был не склонен к компромиссам. Как раз в это время он препровождает в ЦК “Листок по поводу взятия Риги”, в котором выдвигает лозунг “Долой правительство Керенского”. Ленин требует, чтобы ЦК издавал такие неlegalные листки с открытыми призывами к свержению правительства.

Ленин предлагает подписывать подобные листки от имени “группы преследуемых большевиков”, чтобы не подвергать опасности закрытия легальных газет ЦК большевиков. Характерна оговорка Ленина. Он пишет: “Я знаю, косность наших большевиков велика и что много труда стоит будет добиться издания неlegalных листков” (Ленин, ПСС, т. 34, стр. 86). Но, как сказано, выступление Корнилова резко меняет как общее положение, так и тактику Ленина.

Политика Ленина этого периода — большое тактическое искусство. Корниловский поход не был авантюрой генерала, вызванной честолюбием. Корнилов хотел предупредить второе восстание большевиков, к которому Ленин начал призывать свой ЦК после сдачи Риги. Войска, которые затребовал Керенский для укрепления петроградского гарнизона, генерал Корнилов считал полезным использовать в борьбе с революционным экстремизмом. Поэтому двигая на Петроград третий конный корпус ген. Крымова, Верховный главнокомандующий Корнилов потребовал себе

* Это глава из готовящейся книги А. Авторханова «Ленин и ЦК».

полноты военной и гражданской власти, пока в тылу не будет наведен полный порядок. Фактором беспорядка в глазах Корнилова несомненно был и весь Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. В ответ на это требование Керенский сместил Корнилова с поста Верховного главнокомандующего и обратился к Совету за помощью, а Совет, в свою очередь, обратился за помощью к ЦК большевиков. Это была ошибка, равной которой не знала история России и Ленин мастерски ею воспользовался.

На первый взгляд большевики были поставлены перед сложной дилеммой: либо, воспользовавшись восстанием Корнилова, попытаться свергнуть Керенского, либо поддержать Керенского, как “меньшее зло”, против Корнилова? Дилемма не оставляла возможности третьего решения. Меньше всего допускала дилемма и решение, основанное на чувстве. Не эмоции, не чувство мести в отношении Керенского, который арестовал Троцкого и Каменева, загнал в подполье Ленина и Зиновьева, а реальный расчет, — таков должен был быть большевицкий подход к решению этой проблемы исторической важности не только для судьбы Керенского, но и судьбы большевизма.

Троцкий писал: “Все понимали, что если Корнилов вступит в город, то первым долгом зарежет арестованных Керенским большевиков” (Л. Троцкий, *Моя жизнь*, ч. 2, стр. 39). Более сложная дилемма стояла перед Керенским: либо калитуляция перед Корниловым и тогда военная диктатура, либо открытая борьба против Корнилова, опираясь на левый революционный фронт, включая сюда и большевиков, и тогда вероятный разгром Корнилова с возможной перспективой установления большевицкой диктатуры.

Как правительство Керенского, так и эсеро-меньшевицкие Советы переоценили опасность первой перспективы и недооценили опасность второй. В этом помог им и сам генерал Корнилов. Направляя генерала Крымова на Петроград, Корнилов говорил, что Крымов “не задумается, в случае если это понадобится, перевешать весь состав Совета рабочих и солдатских депутатов” (Воспоминания генерала А. С. Лукомского, т. 1, Берлин, 1922, стр. 228). “Перевешать весь состав Совета” означало вешать не только Ленина и Троцкого, но и Керенского вместе с Церетели и Черновым. Такая перспектива советским лидерам менее улыбалась, чем все еще проблематичная победа большевиков. Ленин, как всегда, вопрос связывал с перспективой взятия власти: допу-

стимо ли выступление большевиков против Корнилова и тем самым косвенная поддержка Керенского с точки зрения завоевания власти? Приближает или удаляет это большевиков от власти?

В письме в ЦК РСДРП(б) от 30 августа Ленин дает такую тактическую установку: “Мы будем воевать, мы воюем с Корниловым, как и войска Керенского, но мы не поддерживаем Керенского, но разоблачаем его. Это разница. Это разница довольно тонкая, но архисущественная и забывать ее нельзя... Мы видоизменяем форму нашей борьбы с Керенским... Не отказываясь от задачи свержения Керенского, мы говорим: надо *учесть* момент, сейчас свергать Керенского мы не станем, мы иначе подойдем к задаче борьбы с ним... теперь главным стало: усиление агитации за своего рода “частичные требования” к Керенскому: арестуй Милюкова, вооружи питерских рабочих... узаконь передачу помещичьих земель крестьянам, введи рабочий контроль... Неверно было бы думать, что мы дальше отошли от задачи завоевания власти пролетариатом. Нет. Мы чрезвычайно приблизились к ней, но *не прямо*, а со стороны. И агитировать надо сию минуту не прямо против Керенского, сколько косвенно против него же, именно: требуй активной и активнейшей, истинно революционной войны против Корнилова. *Развитие этой войны одно только может привести нас к власти* и говорить в агитации об этом поменьше надо” (Ленин, ПСС, т. 34, стр. 120-121).

Надо заметить, что ЦК независимо от Ленина наметил и вел приблизительно ту же самую политику “условной поддержки” Керенского, начиная с первого же дня кризиса — 25 августа. Поэтому в приписке к своему письму Ленин констатирует полное совпадение своих взглядов с политическими статьями последних шести номеров (с начала кризиса) центрального органа ЦК (газ. “Рабочий”) (там же, стр. 121). Правда, в ЦК была небольшая группа, которая выступала за поддержку Временного правительства без всяких оговорок, даже за блок с эсерами (там же, стр. 119), но после письма Ленина о ней уже больше ничего не было слышно.

Когда эсеро-меньшевицкий ЦИК Советов образовал “Комитет народной борьбы с контрреволюцией” и обратился к ЦК большевиков с предложением о вступлении в этот Комитет, то ЦК РСДРП(б) послал туда своих представителей. Чтобы объяснить такой резкий поворот в отношении к меньшевикам и эсерам, ЦК 29 августа разослал местным партийным организациям телеграмму в которой говорилось: “Во имя отражения контрреволюции

работаем в техническом и информационном сотрудничестве с Советом при полной самостоятельности политической линии” (“КПСС в борьбе за победу великой октябрьской социалистической революции”. 5 июля — 5 ноября 1917, стр. 44). ЦК большевиков энергично взялся за организацию рабочих дружин и Красной гвардии в рабочих районах Петрограда. Оружие они получали из правительственных складов и даже непосредственно с заводов (так, Путиловский завод дал Красной гвардии 100 артиллерийских орудий) (История КПСС, т. 3, кн. 1, стр. 220). На военно-политическое обучение Красной гвардии большевики выделили свыше 700 инструкторов (там же). Во всю развернула в эти дни свою работу военная организация ЦК, на этот раз при официальной поддержке правительства и Советов. Более того. Корниловские дни и свой временный контакт с правительством и Советом ЦК большевиков использовал для вооружения своих сторонников во всех узловых пунктах страны: в областях Москвы, Центральной промышленной области, Урала, Поволжья, Украины, Закавказья, Дона, Сибири, Туркестана, Прибалтики, — всюду создавались рабочие дружины и Красная гвардия.

Л. Троцкий был совершенно прав, когда писал: “Армия, восставшая против Корнилова, была будущей армией Октябрьской революции” (Л. Троцкий, Моя жизнь, ч. 2, стр. 39). Разумеется, Временное правительство освободило всех арестованных большевиков во главе с Троцким, Каменевым, Луначарским. Распоряжение Временного правительства о привлечении к судебной ответственности Ленина и Зиновьева формально отменено не было, хотя их, по-прежнему, никто не искал. Зиновьев даже участвовал на заседаниях ЦК, которые происходили легально.

30 августа поход Корнилова почти без единого выстрела провалился, а генерал Крымов, приехавший на аудиенцию к Керенскому, через час после этого застрелился. Корниловское выступление кончилось, но остались вооруженные отряды рабочих и Красная гвардия большевиков. Тот, кто их вооружил, не был теперь в силах их разоружить. Свою двуединую задачу — разгром Корнилова, чтобы разгромить Керенского — большевики выполнили только в отношении первой части. Теперь на карту была поставлена судьба самого Керенского. И вполне естественно, что ЦК большевиков постарался извлечь из своего участия в подавлении похода Корнилова на Петроград максимальный политический капитал. В решающем пункте — в вопросе об изменении партийного состава столичных Советов — этот капитал был

уже извлечен: на перевыборах Советов в Петрограде и Москве большевики вместе с сочувствующими им левыми эсерами получили большинство. Этой своей победой большевики были обязаны именно Корнилову. Однако, как ни была важна такая победа сама по себе, воспользоваться ею для захвата власти было трудно, пока во главе ЦИК Советов сидели меньшевики и эсеры. Поэтому ЦК большевиков ищет методов и путей оторвать ЦИК Советов от Временного правительства и заставить его образовать чисто советское правительство, хотя бы и без большевиков. Даже представился и случай для такого оборота дела. Так, когда после подавления корниловского восстания стал вопрос о реорганизации Временного правительства, в которое должны были войти три партии — кадеты, меньшевики и эсеры, то меньшевики и эсеры заявили, что они не войдут в правительство вместе с кадетами. ЦК большевиков решил воспользоваться созданным положением, чтобы предложить меньшевикам и эсерам компромисс: меньшевики и эсеры согласны образовать свое чисто советское правительство, а большевики согласны отказаться от требования немедленного перехода власти в руки “пролетариата и беднейшего крестьянства” (диктатуры пролетариата).

ЦК большевиков специально обсуждал этот вопрос на своем заседании от 31 августа (13 сентября) 1917. По докладу Каменева была принята резолюция “О власти”, которая была предложена ЦИК Советов, Петроградскому и Московскому Советам.

В резолюции выдвигались следующие требования: 1) устранение Временного правительства и создание “власти революционного пролетариата и крестьянства”; 2) декретирование демократической республики; 3) передача помещичьей земли без выкупа крестьянам; 4) введение рабочего контроля; 5) объявление тайных договоров недействительными и предложение немедленного мира; 6) прекращение репрессий против большевиков; 7) отмена смертной казни на фронте и выборность комиссаров; 8) осуществление права наций на самоопределение (Финляндия, Украина); 9) роспуск Государственного Совета и Государственной Думы; 10) уничтожение всех сословных (дворянских) преимуществ (Протоколы ЦК РСДРП(б), стр. 37-38).

1-3 сентября Ленин написал специальную статью об этом компромиссном предложении ЦК большевиков. Эта статья так и называлась: “О компромиссах”. Ленин пишет, что обычное представление о большевиках сводится к тому, что большевики не признают никаких компромиссов. Ленин говорит, как бы лестно

ни было для революционеров такое представление о них, но все же оно неверно. В истории большевизма бывали вынужденные и добровольные компромиссы, но большевизм оставался верен своим принципам. Ленин писал: “Компромиссом является, с нашей стороны, наш возврат к доиюльскому требованию: вся власть Советам, ответственное перед Советами правительство из эсеров и меньшевиков... Компромисс состоял бы в том, что большевики, не претендуя на участие в правительстве... отказались бы от выставления немедленного требования перехода власти к пролетариату и беднейшим крестьянам, от революционных методов борьбы за это требование” (Ленин, ПСС, т. 34, стр. 134-135).

Резолюция ЦК “О власти” была принята на заседании Петроградского Совета (за 279, против 115, воздержались 50 депутатов). Она была принята также на заседании Московского Совета (за 354, против 252). Однако, на предшествовавшем заседании ЦИК Советов 31 августа 1917 г. резолюция “О власти” ЦК большевиков была отвергнута меньшевицко-эсеровским блоком, как чисто пропагандный маневр большевиков (Протоколы ЦК РСДРП(б), стр. 257). Когда же была создана Директория (Совет пяти) во главе с Керенским, большинство ЦИК Советов поддержало ее. После этого Ленин писал: “Меньшевики и эсеры не приняли, даже после корниловщины, нашего компромисса, мирной передачи власти Советам (в коих у нас тогда еще не было большинства), они скатились опять в болото грязных и подлых сделок с кадетами. Долой меньшевиков и эсеров. Беспощадная борьба с ними” (Ленин, там же, стр. 262). Лозунг “Вся власть Советам!” оставался, но этот лозунг теперь рассматривался как лозунг восстания. ЦК большевиков и Ленин решили, что уже наступает время, когда в порядок дня становится вопрос о восстании.

Одновременно с ростом влияния большевиков в Петроградском и Московском Советах росла и численность самой партии. Следующие официальные данные показывают это:

Время	Число членов партии
Февраль 1917	23.000.
Апрель (конец) 1917	80-100.000.
Август (начало) 1917	240.000.
Октябрь 1917	350.000.

(Источник: История КПСС, т. 3, кн. 1, стр. 244).

Росла и Красная гвардия, руководимая военной организа-

цией ЦК. Перед октябрьским переворотом красногвардейские отряды насчитывали в Петрограде свыше 20 тысяч бойцов, в Москве — около 10 тысяч, тысячи и сотни красногвардейцев были и в других городах. Всех красногвардейцев из рабочих было 200.000 человек (там же, стр. 264). Быстро росло влияние большевиков и в армии. Из 12-й армии в ЦК партии сообщали: “Громадное большинство войск на нашей стороне. Примыкают к нам целые полки”, из 5-й армии сообщали в ЦК: “Большинство армии доверяет только большевикам. Это их последняя надежда” (там же, стр. 272).

Официальный историк партии, анализируя рост влияния большевиков в армии, приходит к выводу: “Даже командующие фронтами и представители Ставки вынуждены были признать, что армия выходит из повиновения, не хочет продолжать войну, слушает только большевиков” (стр. 272). Почему это так? Ответ очень простой: партия большевиков, пользуясь максимальной легальностью и безнаказанностью, твердила каждый день, каждый час одно и то же: любой ценой заключить мир, распустить солдат по домам, а пока это произойдет, немедленно отменить смертную казнь на фронте, а комиссаров и командиров не назначать сверху, а выбирать голосами самих солдат! Знаменитый “приказ № 1” по “демократизации” армии от 1 марта 1917 г., составленный меньшевиками и эсерами, оказался в конечном счете динамичным инструментом в руках большевиков по завоеванию армии.

Суханов ярко рисует общее положение, которое сложилось в России после корниловского восстания: “Никакого управления, никакой органической работы центрального правительства не было, а местного — тем более. Развал правительственного аппарата был полный и безнадежный. А страна жила. И требовала власти, требовала работы государственной машины... О земельной политике теперь не было и речи. Даже разговоры о земле застопорились на верхах, в то время, как волнение низов достигло крайних пределов. В Зимнем дворце даже не было и ответственного человека, не было министра (земледелия), а по России катилась волна варварских погромов, чинимых жадными и голодными мужиками. С продовольственными делами было не лучше.

В Петербурге мы перешли предел, за которым начался голод со всеми его последствиями. Но никакого выхода не виделось в перспективе. Органическая работа была нулем, но политический курс давал отрицательную величину. Не нынче-завтра армия

должна была начать поголовное бегство с фронта, ибо голод — прежде всего. Во всех промышленных центрах не прекращались забастовки, в которых, по очереди, участвовал, кажется, весь российский пролетариат. Положение на железных дорогах становилось угрожающим. Движение сокращалось от недостатка угля... Вся пресса, сверху донизу, в разных аспектах, с разными тенденциями и выводами, но одинаково громко и упорно, вопила о близкой экономической катастрофе. Чисто административная разруха также была свыше меры. Там, где в корниловщину возникли бойкие военно-революционные комитеты, уже не было речи о законной власти, действующей согласно общегосударственным нормам и директивам из столицы” (Н. Суханов, “Записки о революции”, кн. 6-я, стр. 73-75).

Как тут не вспомнить то, что Ленин назвал “основным законом революции”? Сравните выше нарисованную картину России накануне октября 1917 г. с тем, что Ленин говорит об этом законе. В работе “Детская болезнь левизны в коммунизме” Ленин писал: “Основной закон революции, подтвержденный всеми революциями и, в частности, всеми тремя русскими революциями в XX в., состоит вот в чем: для революции недостаточно, чтобы эксплуатируемые и угнетенные массы сознали невозможность жить по-старому и потребовали изменения; для революции необходимо, чтобы эксплуататоры не могли жить и управлять по-старому. Лишь тогда, когда “низы” не хотят старого и когда “верхи” не могут по-старому, лишь тогда революция может победить. Иначе эта истина выражается словами: революция невозможна без общенационального (и эксплуатируемых и эксплуататоров затрагивающего) кризиса” (Ленин, т XXV, стр. 223, 3-е издание).

Таковы именно и были условия в стране, когда Ленин поставил перед ЦК в четырех письмах от 12-14 сентября, 13-14 сентября, 29 сентября и 24 октября настойчиво и категорически вопрос о немедленном захвате власти. Эти письма Ленина кроме принципиального значения, имеют еще и большую историческую ценность, так как вскрывают всю остроту борьбы Ленина против ЦК именно по вопросу о своевременности или несвоевременности захвата власти. В связи с вопросом захвата власти в ЦК образовались три группы: 1) группа Троцкого — власть захватить, но самый захват приурочить к открытию II съезда Советов, назначенного на 20, а потом перенесенного на 25 октября (съезд назначал старый меньшевицко-эсеровский ЦИК Советов);

2) группа Ленина — власть захватить немедленно и не дожидаясь открытия съезда; 3) группа Зиновьева-Каменева — захват власти в данных условиях авантюра, а потому гибелен для революции.

В первом письме от 12-14 сентября 1917 г. (накануне открытия Демократического совещания) в ЦК Ленин пишет: “Получив большинство в обоих столичных Советах большевики могут и должны взять государственную власть в свои руки... на очередь дня поставить вооруженное восстание в Питере и Москве, завоевание власти, свержение правительства. Обдумать, как агитировать за это, не выражаясь так в печати” (Ленин, ПСС, т. 34, стр. 239-240).

Второе письмо Ленина ЦК от 13-14 сентября озаглавлено “Марксизм и восстание”. Это письмо представляет из себя как бы конденсированный тактико-стратегический трактат на тему: *как успешно провести вооруженное восстание*. Его центральная мысль: восстание — это искусство. Его практические предложения: “А чтобы отнестись к восстанию по-марксистски, т. е. как к искусству, мы в то же время, не теряя ни минуты, должны организовать штаб повстанческих отрядов, распределить силы, двинуть верные полки на самые важные пункты, окружить Александринку (там должно было 15 сентября открыться Демократическое совещание, А. А.), занять Петропавловку (крепость, А. А.), арестовать Генеральный штаб и правительство... занять сразу телеграф и телефон, поместить наш штаб восстания у центральной телефонной станции, связать с ним по телефону все заводы, все полки, все пункты вооруженной борьбы” (Ленин, там же, стр. 247).

Как реагировал ЦК на эти письма Ленина? На этот вопрос отвечает протокол заседания ЦК от 15 сентября 1917 г. На этом заседании присутствовало из 24 членов ЦК — 16 человек. В числе присутствовавших были — Троцкий, Каменев, Рыков, Ногин, Сталин, Свердлов, Дзержинский и др. Главным и единственным вопросом повестки дня было обсуждение цитированных выше двух писем Ленина. Из протокола явствует, что ЦК фактически отклонил предложение Ленина о восстании. Письма Ленина дали Центральному Комитету лишь повод “в ближайшее время назначить собрание ЦК, посвященное обсуждению тактических вопросов” (Протоколы ЦК РСДРП (б), стр. 55, Москва, 1958). Не было принято и предложение Сталина “разослать письма в наи-

более важные организации и обсудить их” (это был предлог, чтобы вообще уклониться от прямого ответа Ленину). Не было принято также и предложение Каменева, который очень резко требовал отклонить письма Ленина. В его предложении говорилось: “ЦК, обсудив письма Ленина, отвергает заключающиеся в них практические предложения, призывает все организации следовать только указаниям ЦК и вновь подтверждает, что ЦК находит в текущий момент совершенно недопустимыми какие-либо выступления на улице” (там же, стр. 55). ЦК принимает резолюцию, которая отклоняет установки Ленина и в своей заключительной части совпадает с резолюцией Каменева. В резолюции ЦК сказано: “Членам ЦК, ведущим работу в военной организации и в ЦК, поручается принять меры к тому, чтобы не возникло каких-либо выступлений в казармах и на заводах” (там же, стр. 55). Заседание ЦК далее выносит постановление: уничтожить все экземпляры писем Ленина, кроме одного. Это решение принимается 6 голосами, против 4, 6 воздержалось (там же, стр. 55).

Ленин считал ошибкой ЦК и участие на Всероссийском демократическом совещании, которое было созвано меньшевиками и эсерами от имени ЦИК Советов (с 14 по 22 сентября 1917 г.). На этом совещании были представлены кроме советских партий, городские самоуправления, земства, кооперативы, профсоюзы, представители деловых кругов, а также сами Советы, всего около 1.500 чел. Вопрос об участии на этом Демократическом совещании, а также в работе органа, который оно создало — в Предпарламенте (Временный Совет республики) обсуждался на многих заседаниях ЦК в сентябре 1917 г. Принципиальное решение об участии на Демократическом совещании ЦК принял 3 сентября. В циркулярном письме к местным организациям он потребовал “приложить все усилия к созданию возможно более значительной и сплоченной группы из участников совещания, членов нашей партии” (Переписка секретариата ЦК РСДРП(б) с местными партийными организациями, март-октябрь 1917 г., 1957, стр. 35). Это решение было принято без согласия Ленина, который вынужден был его признать, хотя очень условно. Но поскольку случилось так, что ЦК решил участвовать на совещании, то Ленин предлагал Центральному Комитету огласить на Совещании от имени большевистской фракции краткую декларацию и потом “мы должны всю нашу фракцию двинуть на заводы и казармы: там ее ме-

сто, там нерв жизни. Там мы должны разъяснить нашу программу и ставить вопрос так: либо полное принятие ее Советским правительством, либо восстание. Середины нет. Ждать нельзя” (Ленин, там же, стр. 247).

Ленин был, конечно, категорически против вхождения большевиков и в Предпарламент. Эти требования Ленина обсуждались на заседании ЦК от 21 сентября, на котором присутствовало 17 человек, в том числе Троцкий, Каменев, Сталин, Свердлов, Рыков, Бухарин и др. В протоколе этого заседания ЦК сказано: “По вопросу о Демократическом совещании решено с него не уходить” (Протоколы ЦК РСДРП(б), стр. 65). В отношении Предпарламента было решено 9 голосами против 8 туда не входить, но поскольку такое разделение голосов не создавало устойчивого большинства, то ЦК решил передать окончательное решение данного вопроса самой фракции большевиков на Демократическом совещании, выделив двух докладчиков: за бойкот — Троцкий и против бойкота — Рыков. Далее в протоколе ЦК говорится: “На совещании (фракции) 77 голосами против 50 принято участие в Предпарламенте, какое решение и утверждено ЦК” (там же, стр. 65). Только Троцкий и троцкисты за ленинскую тактику бойкота: “Троцкий был за бойкот. Bravo, товарищ Троцкий”, — пишет Ленин (ПСС, т. 34, стр. 262).

Однако, Ленин не успокаивается. Он продолжает бомбардировать ЦК, ПК, МК и отдельных лидеров партии письмами, записками, статьями о необходимости выправить линию ЦК и исправить ошибку об участии на Демократическом совещании. В статье “Ошибки нашей партии” (которая, впрочем, не была принята ЦО партии и впервые опубликована только в 1924 г.) Ленин пишет: “Надо было бойкотировать Демократическое совещание, мы все ошиблись, не сделав этого... Надо бойкотировать Предпарламент. Надо уйти в Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов” (Ленин, там же, стр. 262). Ленин резко критикует большевицкую фракцию за ее решение об участии в Предпарламенте. Ленин критикует также и колебание ЦК вокруг этого вопроса. Он говорит: “Невозможны никакие сомнения насчет того, что в “верхах” нашей партии заметны колебания, которые могут стать гибельными” (там же, стр. 263). Ленин категорически ставит вопрос о восстании почти во всех письмах, начиная с 12 сентября.

Однако, все это не производит на ЦК должного впечатления.

Тогда Ленин обращается в ЦК с новым письмом от 29 сентября, которое по существу является ленинским ультиматумом ЦК: или ЦК примет предложение Ленина о немедленном назначении восстания или Ленин выходит из ЦК. Вот самое важное место из этого письма: “Если бы мы ударили сразу, внезапно, из трех пунктов, в Питере, Москве и в Балтийском флоте, то девяносто девять сотых за то, что мы победим с меньшими жертвами, чем 3-5 июля... При таких шансах, как теперь, не брать власти, тогда все разговоры о власти Советов превращаются в ложь... Видя, что ЦК оставил даже без ответа мои настояния в этом духе с начала Демократического совещания, что центральный орган (газета ЦК — Сталин, А. А.) вычеркивает из моих статей указания на такие вопиющие ошибки большевиков, как позорное решение участвовать в Предпарламенте, как предоставление места меньшевикам в Президиуме Совета (25 сентября по предложению ЦК большевиков был избран Президиум Петроградского Совета как “коалиционный президиум” в составе 4 большевиков, 2 эсеров и 1 меньшевика, А. А.) и т. д. и т. д., видя это я должен усмотреть тут “тонкий” намек на нежелание ЦК даже обсудить этот вопрос, тонкий намек на зажимание рта и на предложение мне удалиться. *Мне приходится подать прошение о выходе из ЦК, что я и делаю* и оставить за собою свободу агитации в низах партии и на съезде партии, ибо мое крайнее убеждение, что если мы будем “ждать” съезда Советов и упустим момент теперь, мы губим революцию” (Ленин, там же, стр. 282-283).

Какая была реакция ЦК на этот ультиматум Ленина? В протоколах ЦК нет упоминания ни об этом письме Ленина, ни о принятии или отклонении ЦК отставки Ленина. Официальная история партии тоже обходит молчанием этот эпизод. Единственно, что имеется на этот счет в партийной литературе — это воспоминание Бухарина, члена ЦК. Еще при жизни Ленина, на вечере воспоминаний к четвертой годовщине Октября Бухарин сообщил: “Письмо (Ленина) было составлено чрезвычайно решительно и угрожало нам всякого рода штрафами. Мы все были опарашены. Никто до этого вопрос так круто не ставил. Может быть, это был единственный раз в истории нашей партии, когда ЦК единогласно постановил сжечь письмо Ленина... Хотя мы верили, что нам безусловно удастся захватить власть в Петрограде и Москве, но мы думали, что в провинции мы все

еще не в силах добиться этого (цитирую по Л. Троцкому — “Geschichte der Russischen Revolution”, стр. 601).

Комментируя это высказывание Бухарина, Троцкий говорит, что решение ЦК о сожжении письма Ленина не было единогласным, но тут Троцкий допускает ошибку, так как ссылается на протокол ЦК от 15 сент. (Протоколы ЦК, стр. 55), где обсуждались первые два письма Ленина и приводит результаты голосования по этим письмам (там было решено сохранить только один экземпляр: за 6, против 4, воздержалось 6). У Бухарина же речь идет о третьем письме Ленина от 29 сентября (как приписка к статье “Кризис назрел”, приписка предназначалась только для членов ЦК, ПК, МК и Советов. См. Ленин, ПСС, т. 34, стр. 280-283).

Письмо Ленина от 29 сентября, разумеется, возымело свое действие.

А. Авторханов

ВЕРОЯТНОЕ ПЕРЕРОЖДЕНИЕ КАПИТАЛИЗМА ПО ВЗГЛЯДАМ БОРИСА С. ИЖБОЛДИНА И ДЖОНА К. ГАЛБРАЙТА

Как указано профессором Б. С. Ижболдиным в его книге "Genetic Economics", изданной Сейнт-Луисским университетом в 1967 г., человечество стоит сейчас на распутьи. В значительной мере это вызвано второй Индустриальной Революцией, которая в основе своей является научной (технологической), возвещает начало «кибернетической эпохи» и усиливается борьбой идеологий, часто оказывающей влияние на ход истории. Либо капитализм будет сломлен под напором тоталитарного социализма марксистской окраски, либо перейдет в экономический строй «народного благосостояния», сохраняющий капиталистическую основу, и регулируемый социально настроенным и «функционально служилым» государством.

Кибернетический переворот, основанный на комбинировании электронных счетных машин (компьютеров) с саморегулирующимися средствами производства, обещает почти без-

ОТ РЕДАКЦИИ. Проф. Борис Сергеевич Ижболдин родился в 1899 г. в Москве. Весной 1917 г. окончил Императорский Николаевский Лицей в Москве с первой золотой медалью. Получил аттестат зрелости из рук Св. Патриарха Тихона на последнем Акте Лицея 13 янв. 1918 г. В 1925 г. получил степень кандидата коммерческих наук и в 1926 г. — кандидата экономических наук в Высшем Коммерческом Институте в Берлине; в 1928 г. — степень доктора государственных наук в Кёльнском университете; в 1937 г., после защиты диссертации, получил степень магистра политической экономии и статистики от Русского Института прав и экономики при Парижском университете. Был членом экономического отдела этого института в 1928-30 и 1932-39 гг.; в 1930-32 гг. работал в Русском Научном Институте при Белградском университете; с 1945 г. преподает на экономическом отделении университета Сейнт-Луис; в настоящее время в ранге заслуженного ординарного профессора экономических наук. Перу Б. С. принадлежат многие статьи и книги по вопросам экономики.

граничный рост производительных сил. Он в будущем изменит любой социально-экономический строй.

Свободный мир, однако, может ускорить и рационализировать эволюцию путем социальных реформ сверху и, избежав радикального социального переворота, сможет достичь в будущем кибернетической эры путем мирных реформ, продиктованных научным анализом текущего исторического процесса. К таким реформам, превращающим современную фазу капитализма в строй «народного благосостояния», и дающим ему возможность устоять под напором социализма, принадлежит, например, увеличение числа мелких пайщиков акционерных компаний. Это уже рационально осуществляется правительствами Западной Германии и Австрии, когда они денационализируют некоторые крупные государственные предприятия, продавая значительную долю их акций (или даже все акции) в виде «народных паев», кои могут приобретаться только небогатыми гражданами в ограниченном количестве. Эта мера увеличивает число мелких собственников и повышает симпатию трудящихся к свободному хозяйству.

Еще важнее в области «депролетаризации» попытка Западной Германии дать право служащим (пока еще не во всех предприятиях) принимать участие в управлении предприятием, где они работают. Такая «кодeterminация» (т. е. право активного соучастия) не нарушает принципа частной собственности в отношении средств производства, а только дает некоторое удовлетворение трудящимся и, конечно, реформирует капитализм.

Интересно отметить, что католическая церковь поддерживает идею «соуправления» на частных предприятиях. Это особенно заметно в трудах известного германского экономиста, иезуита Освальда фон Нель-Бройнинга, который видит в этом процессе демократизацию капиталистического строя и открыто заявляет, что в настоящее время принцип «самодержавия» не может сохраниться в структуре торгово-промышленных предприятий.

При наступлении «кибернетической эры» станет неизбежным введение «социальной ренты» (т. е. гарантированного государством годового минимального дохода), которая обеспечит покрытие «объективно-нормальных» расходов на жизненные потребности каждого гражданина. Профессор Ижболдин счи-

тает, что такая реформа должна быть осуществлена в виде конституционной прокламации права каждого гражданина на существование. Он рекомендовал эту меру в европейской печати еще в 1936 г., а теперь эта идея разделяется уже американским правительством, хотя и в более примитивной форме.

Чтобы избежать злоупотребления социальной рентой, администрация социального страхования должна быть связана с биржей труда и должна выплачивать ее лишь гражданам, не могущим получить подходящий заработок или имеющим годовой доход ниже установленной нормы. Такая рента не должна именоваться «негативным подоходным налогом», как это рекомендуется теперь некоторыми американскими экономистами, а должна быть сублимирована в виде «естественного права» гражданина демократической передовой страны.

В виду невозможности установить «нормальный» годовой расход индивида на медицинскую помощь, «социализация медицины» должна быть введена в качестве особого привеска к социальной ренте. Опыт Англии и Швеции может быть теперь использован любой передовой страной.

Добавочным положительным качеством социальной ренты является ее способность увеличить платежеспособность немущих слоев населения и сопротивляемость мелких предприятий растущей конкуренции со стороны крупных частных предприятий. Введение такой национальной ренты даст возможность упростить современную весьма несогласованную социальную политику капиталистических государств.

Развитие кибернетической революции вызовет рост технологической (структурной) безработицы из-за усиления механизации, но это будет знаком прогресса, ибо автоматы заменяют лишь «повторяемые» (нетворческие) действия человека, которые часто не согласуются с достоинством человеческого духа.

Даже в условиях дальнейшей эволюции «электронные мозги» не смогут заменить человека при создании новых идей. Когда роботы возьмут на себя функции, связанные с производством и распределением материальных благ, люди должны будут посвятить себя творческой деятельности в области духовных благ, вырабатывая новые идеи и развивая науку, искусства, образование и т. д. Психология человека должна будет измениться, так как ему придется искать смысл жизни не в

деятельности, связанной с материальными благами, а в исполнении задач, которые в настоящее время считаются «непроизводительными». Государство и общество вынуждены будут посвятить себя организации, так называемого, «творческого досуга».

Если кибернетический прогресс не будет сопровождаться одновременно ростом духовной культуры, человек может стать рабом созданного им мощного механического аппарата, что неизбежно превратит его в неодоухотворенный автомат. В виду этой опасности и явной неизбежности роста структурной безработицы при развитии кибернетической революции, уже сейчас необходимо ввести социальную ренту, которая заменит «пакет» современных разрозненных мер социальной политики и даст возможность талантливым людям без средств заняться творческой духовной деятельностью.

Необходимо также принять во внимание, что некоторое непринудительное планирование народного хозяйства, уже имеющее место во Франции и Англии, не только подчеркивает, что эволюционирующий капиталистический строй старается согласовать принцип рентабельности (наживы) с идеей народного благосостояния (социальной справедливости), но и начинает вырабатывать технику рационального планирования, которая понадобится для организации социального «творческого досуга».

В Советском Союзе имеется значительная автоматизация промышленности. Один из ее создателей профессор Кузнецов утверждает, что кибернетическая революция неизбежно ведет к коммунизму. Это обосновывается марксистской доктриной, согласно которой автоматизация хозяйства концентрирует предприятия, углубляет кризис капитализма и приводит к восстанию народных масс. Однако, на это можно возразить, что если капиталистический строй превратится в систему народного благосостояния, дарующую трудящимся право на социальную ренту и участие в администрации частных предприятий, желание стремиться к социальной революции, естественно, отмирает.

Некоторые экономисты утверждают, что «марксизм-ленинизм» привлекает отсталые народы из-за их веры в ударную мощь прогрессивной советской техники, но ведь капиталистическая Америка встала раньше на путь кибернетической рево-

люции и даже руководит в области развития «электронных мозгов».

К тому же марксизм, сублимирующий физический труд, не созвучен кибернетической эпохе будущего, в основе коей будут производство духовных благ и свободное развитие творческого гения. Важно также отметить, что идея сосуществования капитализма и социализма имеет под собой реальный фундамент, только если принять положение, что «свободный мир» и коммунистический блок оба движутся навстречу грядущей кибернетической эпохе, знаменующей победу человека над природой, но идут к ней весьма несходными дорогами. В условиях дальнейшего прогресса контроль над действующими автоматами будет совершаться мобилизованными на сравнительно короткий срок молодыми людьми под руководством опытных профессиональных техников. Напрасно некоторые экономисты думают, что такие технократы будут порабощены «рукотворными рабами»: любая гигантская машина может быть моментально остановлена с помощью особого механизма.

Возможно, что группа технократов попытается установить свою диктатуру, но это будет лишь коротким опытом, ибо техники, лишённые знания междучеловеческих отношений, исследуемых социологами, не могут встретить поддержки со стороны народных масс.

Изложенные взгляды профессора Ижболдина приводят к выводу, что вероятное перерождение народного хозяйства при любом социально-экономическом строе постепенно приведет к кибернетической эпохе. Что же касается капитализма, то он уже начинает превращаться в экономический строй «народного благосостояния», регулируемый социально настроенным государством.

Профессор Галбрайт, преподающий экономику в Гарвардском университете, в своей книге, озаглавленной «Новое промышленное государство», рассматривает эволюцию капитализма как «вероятную будущность индустриальной системы». В его учении такая система состоит из нескольких сотен динамичных, массивно оснащенных капиталом и высоко организованных производственных предприятий. Новое промышленное государство покоится на индустриальной системе.

Профессор Галбрайт подчеркивает, что индустриальная система не является конечным экономическим строем. Уже сей-

час контроль со стороны государства и планирование являются одной из характеристик капиталистического общества. По его мнению, разные индустриальные общества имеют много общего, несмотря на разницу их идеологий. В современном капиталистическом хозяйстве планирование уже фактически заменило рынок. Теперешняя акционерная компания контролирует якобы «суверенного» потребителя при помощи рекламы и продающих агентов. Цены устанавливаются ею путем контрактов и т. д. Хотя в Советском Союзе фиксирование цен является функцией государства, в нем товар будет куплен тем, кто первый попал в лавку и проявил наибольшее терпение.

Капиталистическая индустриальная система позволяет государству регулировать общий спрос на продукты и пытаться стабилизировать цены и заработную плату на уровне, устраняющем безработицу. Индустриальная система при любом социально-экономическом строе нуждается теперь в штате хорошо тренированных служащих, который предоставляется ей государством.

В настоящее время индустриальная система уже зависит от государства и печется об общественных нуждах. Постепенно общество начнет считать ее частью целого наравне с государством. Уже сейчас трудно отличить частную военную промышленность от общественной. Если любое крупное производственное предприятие получит признание в качестве автономной единицы, социальные нужды будут лучше обслужены.

Галбрайт считает, что индустриальная система уже сейчас хорошо обслуживает физические нужды человека, но он опасается, что ее тесная связь с государством повредит свободе.

Дело не в том, что свободная деятельность предпринимателя будет ограничена, а в том, что хозяйство будет подчинено целям индустриальной системы, функционирующей в тесном союзе с государством. Поэтому профессор Галбрайт заявляет, что «сословие педагогов и ученых» должно взять политическую инициативу, чтобы сопротивляться монополии индустриальной системы. В этом случае человек перестанет думать, что в жизни важно только улучшить технику, чтобы увеличивать производство материальных благ и повышать доходы.

Во взглядах Ижболдина и Галбрайта наблюдаются и сходство и расхождение. У них обоих эволюционный (генетический) подход к истории хозяйства. Однако, Галбрайт печется только

о «чистых формах», в то время как Ижболдин вкладывает в эти формы содержание созвучное данному социально-экономическому «стилю». В отличие от Галбрайта профессор Ижболдин подчеркивает, что планирование или монополия в условиях капитализма и социализма имеют общее только как «чистые формы» и потому не могут рассматриваться как аналогичные явления. Так, монополия в Америке имеет преимущественно частный и «стяжательный» характер, тогда как в Советском Союзе она имеет иное содержание (значение), ибо преследует фискальные, военные и политические цели. В то время как Ижболдин придает большое значение кибернетической революции, Галбрайт игнорирует ее и говорит только об автоматизме. Он детально анализирует в своей книге теперешнее состояние капиталистического хозяйства, но оставляет читателя в полном неведении о дальнейшей его возможной эволюции.

Есть и другая разница во взглядах обоих экономистов. Профессор Ижболдин рекомендует определенные меры (реформы сверху), которые смогут в близком будущем обеспечить существование капиталистического строя, как, например, социальная рента, активное соучастие служащих в предприятиях и т. д. Профессор же Галбрайт лишь перечисляет цели, которые, по его мнению, должно иметь будущее народное хозяйство, и заявляет, что они могут быть достигнуты только если «сословие педагогов и ученых» возьмет на себя политическую инициативу и тем ограничит власть индустриальной системы.

Читатель, однако, остается в недоумении, какими же мерами это сословие будет добиваться осуществления поставленных целей в случае одержанной им победы? В то время как Галбрайт считает, что рабочие уже теперь почти удовлетворены современной организацией крупных частных предприятий, Ижболдин сомневается, что трудящиеся будут искренно сочувствовать предпринимателям, пока они не получат права на активное участие в управлении предприятием, в котором они служат.

Оба экономиста расходятся и в оценке проблемы рентабельности. Галбрайт утверждает, что в настоящее время капиталистические предприятия не могут сильно повышать прибыль, и потому «стяжательский принцип» ослабевает, в то время как Ижболдин считает, что получение высоких прибылей было настолько ясно в американском хозяйстве в последние годы, что говорить о падении принципа стяжательства в условиях капи-

тализма в пользу других добавочных мотивов не представляется возможным.

По мнению Галбрайта, современная крупная американская компания старается уцелеть и, будучи зависимой от государства, пытается влиять на общественные цели в своих интересах. Его точка зрения была бы яснее, если бы он сказал, что крупное капиталистическое предприятие хочет получать высокую прибыль и в этом смысле оказывает влияние на правительство. В отличие от Галбрайта Б. С. Ижболдин не склонен говорить о капиталистической индустриальной системе, ибо в настоящее время большинство крупных акционерных компаний либо контролируется банком или иным финансовым учреждением, либо тайно функционирует в качестве финансирующей компании. Кроме того, в условиях современной финансовой фазы капитализма многие крупные акционерные компании (напр., страховые общества) не представляют собой промышленные предприятия.

В некоторых случаях Галбрайт и Ижболдин имеют в принципе сходную точку зрения. Так они оба придают значение духовным и эстетическим ценностям. По мнению профессора Ижболдина, кибернетическая революция постепенно выдвинет в качестве основной задачи организацию «творческого досуга», отрешенного от заботы о производстве и распределении материальных благ. Весьма отраднo следовать его мысли о том, что механизация постепенно приведет человечество к развитию культуры, которая может быть даже превзойдет культуру древней Греции, ибо будет покоиться на работе «рукотворных рабов» (роботов).

Галбрайт думает только о близком будущем и хочет, чтобы «сословие педагогов и ученых», взяв политическую инициативу, ограничило индустриальную систему в интересах духовных благ. Оба экономиста полагают, что «свободный мир» и «коммунистический блок» могут сосуществовать, но по разному аргументируют этот вывод.

Ижболдин считает, что обе системы неминуемо эволюционируют и постепенно превратятся в «кибернетическое общество» будущей эпохи, хотя и идут к этому разными путями. С другой стороны, Галбрайт утверждает, что обе «индустриальные системы» будто бы могут настолько сблизиться в своей структуре, что у них не будет повода для конфликта. К этому выводу он приходит только потому, что не учитывает значения

каждого социально-экономического строя, которые настолько разнятся друг от друга, что эта разница делает аналогию в их развитии вряд ли возможной.

В заключение надо сказать, что профессора Ижболдин и Галбрайт, несмотря на многие расхождения во взглядах, являются социально настроенными экономистами, которые стремятся к идее общества, покоящегося на явном признании большой ценности народного благосостояния совместимого с оптимальной свободой человеческой личности.

Чарльз Е. Декстер II, Сейнт-Луисский университет.

МЕТАПОЛИТИКА НАРОДОВ

Историософская мысль последних двух тысячелетий витает между двумя полюсами: эволюционной концепцией и концепцией креационистической. Учение о происхождении мира является предметом нескольких смежных дисциплин, из которых каждая подходит к нему своеобразно. Космогония и теогония, с философской точки зрения, очень близки: они трактуют о том же, но по разному. Они же являются исходной точкой историософии.

Основной темой этой статьи будет философия истории Вронского. Отметим, кстати, что германская историософская мысль локализовала целепричину человеческого существования в границах вселенной, в ее центре или на ее грани. Она — имманентна тварному миру. Славянская же историософия ищет выхода из тварной, хрематической области и в потустороннем мире находит цель и завершение истории.

Первой и самой четкой системой этого рода является философия польского мыслителя Иосифа Гозна-Вронского. Философская система Вронского называется креационизмом: ее можно определить, как метафизику разумного творчества. Название креационизма оправдано и с космогонической точки зрения, так как в отличие от пантеистических и эволюционных теорий происхождения вселенной он кладет “во главу угла” идею сотворения вселенной “из ничего”, или, точнее, “ни из чего”, Богом, существом духовным и инакородным по отношению к этой вселенной.



Историософия Вронского изложена им в нескольких трудах, из которых самые значительные: “Абсолютная философия истории или генезис человечества”, в 2-х тт. (1852) и “Мессианистическая метаполитика или абсолютная философия политики” (1840). Обе книги, как и все остальные, написаны по-французски.

Ежи Браун, один из самых выдающихся вронскистов, сводит историософию польского мыслителя к следующему.

Основная историософская ориентация Вронского это убежденность в целеустремленности исторического процесса. Целе-направленность есть мотивация воли тем пределом, к которому она направляется. Эта мотивация определяется разумом и, в зависимости от своего источника, может быть, с одной стороны внешне-объективной, если цель находится вне мыслящего субъекта, если она ему дана, и, с другой стороны, внутренне-субъективной, если мыслящий субъект сам обретает эту цель внутри своего сознания.

Назовем первую, для краткости, гетеротелией (чужецелеположность), а вторую — автотелией (самоцелеположность). Гетеротелия укоренена в историческом предназначении, т. е. в промыслительном плане Божьем, заранее определяющем цель создания человечества и путь ее достижения. Такого рода внешний детерминизм не является категорическим и неизбежным определением нашей воли, а лишь только определяет систему причин и следствий, существующую в объективном порядке. Пример: человек волен петь или не петь, но коль скоро он захочет петь, он *должен* будет воспользоваться объективно существующей системой тонов. Автотелия, напротив, должна найти стимулы для воли в самом разуме человека, в автономном, так сказать, порядке. Способность самопроизвольно создавать цели присуща творческой мощи (виртуальности), которой Бог наделил человека, создавая его по Своему образу и подобию.

Детерминирующую разумность, имеющуюся во вселенной (строение материи, физические и химические законы, процессы осуществляющиеся независимо от человеческой воли, логические законы мысли, математические истины и т. п.) назовем имманентным проявлением трансцендентной сущности Абсолюта, кратко — Абсолютом, тогда как способность спонтанно зачинать новые процессы и создавать новые реальности назовем тварным проявлением нетварного творческого начала в Боге, кратко — Логосом. Абсолют и Логос суть два столпа, утверждающие нашу историософскую истину.

Развитие творческой мощи происходит не только в области автотелии, но также и во внешней, объективной истории, в начальный период ее развития, при соучастии гетеротелии, которая представляет собой как бы костяк исторического процесса. Здесь гетеротелия исполняет роль промыслительного детоководительства, подготавливающего человечество к тому роковому моменту, когда оно станет способно само вершить свои собственные судьбы.

История, таким образом, являет собой постепенное созревание человечества, обнаруживающееся в поступательном переходе от гетеротелии к автотелии. В этом переходе мы можем различить разные этапы.

Религиозная интуиция Абсолюта развивалась, по преимуществу, на Востоке. Душе восточного человека свойственно чувство зависимости от гетерономного, внешнего, божественного начала (фатализм, дух созерцания).

Христианская религия Логоса освободила человека от внешней духовной плененности, и открыла в нем потенциально неограниченную творческую мощь (дерзновенность, дух действия).

Историю можно разделить на три эры в зависимости от целей, какие человечество достигало в результате своего развития.

I. *Эра относительных целей*: цель физическая, цель политическая и цель религиозная.

Нам будет легче постигнуть суть относительных целей, если мы осознаем, что изначально заложено Богом в человека. Ведь гетеротелическое развитие истории совершается в зависимости от тех способностей и свойств, с которыми человек, по крайней мере в потенции, входит в мир и которые в течение своей жизни развивает. Эти свойства суть: человеческая природа (тело) и человеческая свобода (душа) в том состоянии, в каком они были созданы. Для того, чтобы существовать, человеческое тело должно питаться, охранять себя от враждебных стихий, обладать, способностью размножаться. Таким образом, человек должен совершать ряд экзистенциальных действий для обеспечения физического существования. Для этого он использует богатства и силы природы, которые являются физической средой его существования. Своим трудом он достигает, таким образом, первую из относительных целей — *цель физическую*.

Хотя эта цель продиктована человеку гетеротелией, находящейся у самого основания его бытия, однако, в труде начинает выступать и автотелический фактор, так как в нем действует уже сознательная воля человека, т. е. его творческая свобода. Она овладевает природой посредством изобретательности и при помощи особых организационных методов, которые мы называем техникой. Техника уже есть продукт человеческого разума. Будучи однажды пробужденной, самодейственность нашего разума развивается самостоятельно и становится самоцелью (науки и искусства). Таким образом рождается новая относительная цель, *ин-*

теллектуальная цель, проявляющаяся в мире в качестве духовной жизни человека, в качестве его культуры. Она также подготовлена гетеротелней, так как является внутренним стремлением души к всестороннему внешнему испытанию присущих ей творческих возможностей: это дает удовлетворение, радость и даже счастье.

Здесь следует обратить внимание на то, что история в полном смысле слова начинается только тогда, когда эти цели, заложенные в каждом отдельном человеке, становятся *всеобщими и повсеместными*, т. е. когда человечество принимает их в качестве коллективного и сознательного мотива воли и создает для их функционирования соответственные учреждения. Это случается тогда, когда физическая цель преобразуется в абстрактную идею *физического благосостояния*, как показателя общих понятий и общественного строя. Лишь с этого момента индивиды связываются в организацию с соответственным подразделением труда и взаимозависимостью (специализация труда и обмен ценностей).

Связь физического и экономического благосостояния с духовным и культурным уровнем — очень строгая: они себя взаимобулавливают. Чем больше общество вкладывает духовного творчества (научного и эстетического) в технику и продукцию, тем быстрее нарастает общественный доход. И наоборот, рост благосостояния позволяет человеку работать меньше для произведения тех же самых ценностей, что дает экономию времени и энергии для духовного развития. Однако, в первый период истории связь эта еще не осознается, и духовное развитие еще не становится самоцелью.

После экономической цели человечество открывает *цель политическую* (общественной безопасности). Погоня за материальным благосостоянием вырабатывает у отдельных личностей и в целых общественных группах стремление к жизни за счет других и к эксплуатации. Пробуждается нужда в некоей юридической организации, которая бы гарантировала неприкосновенность личной собственности и ограничивала бы индивидуальную корысть соображениями общего блага. Действия, имеющие целью введение такого общественного порядка при помощи принудительных мер в области безопасности и справедливости — называются *“политическими”*. Так возникает институт Государства. Правственный закон оказывается недостаточным, возникает гражданское и уголовное право, которое от имени общества и

государства блюдет справедливость и наказывает правонарушения. На страже права стоит уже сила: правовой императив является характерной чертой государства.

Однако, весь авторитет государства не достаточен в качестве поруки справедливости человеческих поступков. Его механическая и принудительная гарантия требует восполнения внутренним нравственным императивом, этической максимой, исходящей из глубины души, которая внушала бы человеку творить добро не в принудительном порядке (страх) и не из-за материальных благ, а в силу более возвышенной максимы.

Здесь привходит религия и помогает душе определить эту высшую цель, объясняя проблему спасения, сверхъестественные средства преодоления зла в этой жизни и обретение бессмертия в потустороннем мире. Так определяется третья относительная цель: *религиозная цель*, которая с этого момента становится центральной в жизни человека и в общественном сознании. Здесь с непосредственной четкостью проявляется гетеротелия, так как здесь Бог как бы подает душе руку помощи, что особенно выражается в божественном обосновании института Церкви. Отношение между Богом и человеком кристаллизуется в форме явно промыслительной зависимости, характерной для гетеротелии.

Лишь с этого момента человечество могло осознать превосходство духовной жизни над жизнью физической и государственно-правовой. Христианское откровение Логоса и премирной, трансцендентной реальности позволило человеческому разуму вознестись над земным планом в поисках метафизической перспективы. Наступило развитие философской умозрительности и наряду с религиозной идеей Блага, данной нам в божественном откровении, была основоположена умозрительная идея Истины, что выявило общий характер тех ценностей, которые привносит с собой культура.

Культура стала ценностью сама по себе и наступил необыкновенный расцвет художественного и научного творчества. Мысль осознала свою силу и, испытав ее, потребовала для себя свободы. Люди уверовали в неограниченные возможности разума в области образования будущих, совершеннейших условий жизни в потустороннем мире. Так образовалось господство четвертой относительной цели, *цели интеллектуальной*.

И эта цель, вопреки кажущейся очевидности, была априорно заложена в тварную сущность человека: лишь с этим моментом

врожденная способность творческой мощи пробудилась и стала проявляться под видом самодейственности разума и воли.

Эти четыре относительных цели Бронский называет влиянием творческого *не-я* (с точки зрения человека) или Бога в творческое *я*: ибо посредством этого влияния божественная сила Логоса проявлялась постепенно в человеке в качестве универсальности и самопроизвольности знания в соединении с его индивидуальным бытием.

Таким образом посредством развития *нравственного чувства* в первом периоде, сперва в человеке возник чистый акт знания в виде *практического разума* (воли), и затем, во втором периоде, — наступило развитие *практического познания*; в третьем периоде, вследствие развития *религиозного чувства*, возникает *умозрительный* (спекулятивный) *разум*, и, наконец, в четвертом периоде эры относительных целей, возникает и развивается философское познание. И у предела этого относительного прогресса нашего духа, спекулятивный разум открывает трансцендентные идеи души, вселенной и Бога, как образ абсолютной реальности: в это же время практический разум открывает безусловность нравственных законов в идее императива долга, который непреложным образом определяет направление воли. Таким путем человек обрел условия: 1) выхода за пределы гетеротелии в истории и 2) определения своих собственных целей.

Это историческое шествие человечества к творческой мощи Логоса в пространстве и времени совершалось в следующем порядке: 1) древний Восток вознесся лишь только к идее физическо-экономической цели и задержался на этой ступени; 2) античный мир осознал политико-юридическую цель и осуществил ее посредством установления права и справедливости, идеи гражданства и практического героизма, одним словом — посредством этической организации государства; 3) средневековое христианство выше всего поставило нравственно-религиозную цель, идею потустороннего мира и спасения души, дало необыкновенные примеры мученичества, добродетели и святости, и создало могущественную организацию Церкви; 4) Новая Европа (Возрождение, Реформация, Просвещение) — наметила интеллектуальную цель, утвердив независимость мысли и идею всемогущества разума, что привело к грандиозным исследовательским экспедициям и небывалому развитию опытных наук.

II. *Эра переходных целей.* Это провиденциальное развитие

истории составляет первый большой этап прогресса человеческого сознания в его устремлении к Абсолюту. В первую и третью эру развилось, по преимуществу, *чувственное сознание*, во вторую и четвертую — *познавательное сознание*, т. е. те оба сознания, которые вместе составляют эмпирико-логическую точку зрения и не превосходят идеи *внешнего бытия знания*. Они расщепляют реальность таким образом, что рационально-познавательное сознание признает вселенную, как единственный метафизический факт, область и цель человеческого существования, тогда как интуитивно-чувственное сознание верит в существование потустороннего света и в нем усматривает подлинную цель, к которой должен устремляться человек. Однако, ни первое, ни второе сознание не обладает еще трансцендентальной перспективой, не замечает универсальности и безусловности знания и поэтому расценивает человека лишь только в качестве индивидуального бытия, не замечая в нем логосности. Таким образом возникает антиномия сознания, обусловленная антиномией чистого разума: одно из сознаний верит в откровение и бесконечность “Бога вне мира”, другое — признает только опыт и конечность “человека в мире”. Культурное человечество раскалывается на два, примерно численно-одинаковых лагеря: “чувственной тенденции” и “рациональной тенденции”, которые, в области политики и социологии известны под названием *правого и левого крыла*.

Так образуются две переходные цели. К правому крылу склоняются люди консервативного типа: они признают зависимость человека от Бога, а тем самым и духовную цель нашей жизни, но отрицают возможность ее осуществления посредством творческой спонтанности человека. Представители левого крыла, в свою очередь, принадлежат к прогрессивному толку: они провозглашают независимость человека и самопроизвольность его разума, но ограничивают ее только земной областью, направляя ее исключительно на материальные цели физического бытия. Это роковое смешение понятий делает невозможным, для обеих крайностей, постижение истины, что между личным бессмертием и творческой спонтанностью разума имеется тождество, и что, таким образом, цель правого направления не может быть осуществлена без помощи творческого разума, и наоборот, что спонтанность разума, признаваемая левым направлением, теряет смысл в том случае, если она не будет использована для решения проблем нашего сверхфизического бытия.

Противоречие этих целей свидетельствует о том, что они еще не абсолютны. Каждая из них, взятая отдельно, права и составляет *часть* истины, но только в качестве выполнения другой. Рассматриваемая в качестве исключительной силы, она перестает быть истинной и приводит, в пределе, к абсурду.

Это есть “социальная антиномия”, которая, с одной стороны, может стать роковой и привести к новому катастрофическому падению человечества, но которую, с другой стороны, можно считать, согласно Вронскому, “промыслительным устройением” так как она является могущественным стимулом прогресса и не позволяет человечеству примкнуть к “тихой пристани” ассимиляции и стагнации. Она понуждает человечество к переоценке его “виденья реальности” и к переходу от относительной перспективы к абсолютной.

Переход этот станет возможен лишь тогда, когда человеческое сознание превзойдет и преодолет противоречие, о котором идет речь. Для этого надо осознать, что в высшем плане эти антиномии сочетаются. Ибо цель левых есть ничто иное, в окончательном синтезе, как Истина и процесс знания; цель же правых — это Благо и бессмертие. А так как развитие знания и бессмертие взаимно обуславливаются, то человеческая мысль должна вознестись, в области философии, от относительной истины к идее абсолютной Истины, и в области религии — от относительного блага (нравственной гетерономии) к абсолютному Благу (нравственной автономии) и тогда цели и левых и правых совершенно отождествятся.

Наша переходная и критическая эра таит в себе одновременно и угрозу человечеству и единственное средство перехода от эмпирико-логической перспективы к перспективе трансцендентальной, в которой разум должен открыть идеал абсолюта. Это порождает стремление к безусловности и к осознанию творческой силы разума.

Таким образом в нашей критической эре основополагается *потенциальное* или *творческое сознание*, сила которого проявляется в овладении природой и в свободном планировании реформ. Человек созревает до сознания независимости своих целей и своего могущества прежде всего в синхронизации коллективной воли. Это влечет за собой кризис гетерономной нравственности, которая начинает казаться этикой слабых и малых, с одной

стороны, и развитие псевдо-автономной этики, расценивающей творческую силу в качестве блага и самоцели, с другой.

В критической эре переходных целей человечество начинает искать абсолютные цели, но не знает, как и где их искать; оно производит синтезы целей уже осуществленных, абсолютизируя их. Эта ложная установка приводит в тупик. Признание творческой силы в качестве абсолюта, независимого от каких-либо нравственных обязательств, было подготовлено романтизмом и предельно выражено в апофеозе человеческого "я", какой мы находим в волюнтаризме Шопенгауэра, в гегелевской метафизике и в ницшеанской воли могущества. Но все эти ложные и гипертрофические развития терпят крах: так было с гуманизмом, позитивизмом, рационализмом, марксизмом. Эти неудачи свидетельствуют о том, что европейский философский гений вообще, а германский, в частности, выдохся и обесилел.

Пробужденная творческая мощь (творческое я) не была направлена на соответственный предмет (творческое не-я) и начала разряжаться в мощных политических потрясениях и военных бурях. И если человечество не выйдет из этого лабиринта переходных целей, наступит всемирная катастрофа.

В лице Вронского польская философская мысль перенимает от Запада скипетр и указывает путь из тупика, в который зашли цивилизованные народы. Она открывает ахрематическую перспективу, трансцендентную по отношению к земной перспективе. Согласно ей, творческая мощь Логоса, развиваемая в человеке согласно нравственным законам, возлагает на него обязательство постигнуть Абсолют и обрести бессмертие. Будущее развитие абсолютного разума в человеке есть внутренний императив, который должен быть им осознан и воспринят. В результате этого должны быть открыты условия и возможности полного взаимопроникновения "творческого я" и "творческого не-я", души и Бога, Логоса и Абсолюта. Это есть высшая цель истории человечества.



Переход от гетеротелии к автотелии, который ознаменует начало *эры абсолютных целей*, связан с развитием разных аспектов человеческой воли. Воля есть свободная целенаправленность нашего я, сперва, на окружающую нас среду и, затем, на внутренний мир человека.

Прагматическая воля руководится законом индивидуальной

пользы, тогда как нравственная воля, чаще всего проистекающая из религиозного чувства, руководится универсальным законом долженствования. Переходная форма воли — это воля *практическая*, основа политических дарований, и *воля техническая*, основа художественных и научных дарований.

Если проявление воли наступает только вследствие воздействия внешних импульсов, то она остается в области *гетерономии*: носитель этой воли сильно привязан к индивидуальности своего физического бытия, руководится эгоистическими мотивами; он не способен к жертвенности. Следующей ступенью развития воли есть послушность воли человеческой религиозным приказам-заповедям: это область ветхо-заветной *теономии*. Когда же человек в свой душе свободно и непринужденно находит импульсы для своих действий, то он входит в область автономии. Эта ступень опасна тем, что человек может пойти путем *произвола*; если же он не поддастся этому искушению, а сумеет без вмешательства какого-либо внешнего авторитета или стимула поставить себе те разумные и нравственные цели, которые предвечно установлены Богом в качестве путеводных звезд для человеческого свободного, разумного и спасительного волеизъявления, тогда божественные и человеческие цели совпадут, и это будет область, которую можно было бы назвать “теоантропомией”. На пути к этому пределу воля становится *героической и альтруистической*, так как человек не только становится готов посвятить свое индивидуальное благо благу общечеловеческому, но даже отдать свою жизнь во имя высших целей, как это сделал однажды Сын Человеческий. Пожертвовать своей самостью для соборности — это самоприношение себя в жертву Богу, аналогично тому, как Бог пожертвовал собой, чтобы создать человечество и затем — спасти его.

Исторический процесс характерен и тем, что в человечестве образуются все более и более сложные и многочисленные общественные группы. В этом сказывается некая провиденциальность, так как коллективы развиваются быстрее отдельных личностей, и там, где процесс развития индивида в изолированном состоянии был бы длителен, в более сложной общественной организации создается некий общий дух, споспешествующий развитию в более ускоренном темпе. В более сложных общественных группах сильнее действует закон интеллектуального и психического “заражания”. Семья, племя, народность, народ, нация — вот естественные этапы общественного развития. Чем выше обще-

ственная организация, тем более сложны отношения между ее членами, тем больше возникает проблем, требующих неотложного решения. Проблемы эти решаются уже не индивидуальными умами, а коллективным разумом. (Пример из современной жизни: организация полета на луну потребовала синхронизированного мышления и действия десятков тысяч людей!). На историческую сцену, таким образом, вышли новые субъекты истории — народы, являющиеся коллективными человеческими организациями. В борьбе идей, культур, мировоззрений и политико-экономических интересов народы выковывают свою независимость и своеобразность: так возникают такие сущности как “единство народа”, “дух народа”, “гений народа” и т. п. Сперва эти явления детерминируются извне, гетеротелически, но в меру созревания народного сознания пробуждается творческая мощь народа, сознательное взыскание идеи-цели, как оправдания своего духовного существования. Коль скоро такая трансцендентная цель осознается народом (в лице его ведущей элиты — по крайней мере), она может начать притягивать к себе все силы и все внимание народа, как магнетический полюс притягивает иглу компаса. В народе обрисовывается все яснее и яснее образ его *предназначения*: идея миссии, посланничества, призвания.

Итак, в порядке перехода от гетеротелии к автотелии, эра Провидения сменяется эрой Предназначения, в которой народы, до времени, интуитивно, как бы впотьмах, нащупывают свои частные предназначения, не видя их общей историсофской перспективы. В этом критическом периоде народы предоставлены самим себе, так как в эпоху Провидения все гетеротелические относительные цели были уже достигнуты. Для того, чтобы синхронизировать частные цели народов, надо им указать, самую главную, универсальную и наивысшую цель истории человечества: **БЕССМЕРТИЕ ЧЕЛОВЕКА**. Эту задачу, по мнению Вронского, исполняет его “Мессианизм”, т. е. абсолютная философия, открывающая сущность абсолютной Истины и абсолютного Блага через постижения Абсолюта и актуализацию Логоса. Это есть задача *эры абсолютных целей*, над осуществлением которых человечество будет трудиться целые тысячелетия. Новый нравственный порядок, который должна установить эта эра, будет осуществлением *Царства Божия на земле*, о котором мы молимся ежедневно вопреки кажущейся утопичности этой идеи.

Новый вселенский лад будет покоиться на трех незыблемых

основах: на совершенном Государстве, на единой Церкви и на мессианическом ОБЪЕДИНЕНИИ. Первое из них, Государство, будучи политико-юридическим организмом, будет иметь задачей *санкционированное обеспечение легальности* человеческих поступков; второе из них, Церковь, будучи религиозно-этическим организмом, обеспечит *свободную* гарантию нравственности добровольных человеческих действий; и наконец третье, доселе не существующее, будет руководить человечеством в разумном и нравственном порядке его шествия к наивысшим назначениям. “Поэтому все, кто чувствует в себе зов посланничества и кто способен посвятить свою личную жизнь борьбе за эти универсальные и наиболее отдаленные цели, должны объединиться и создать единую организацию всех культурных народов, свидетельствуя этим “*ин concreto*”, что человечество не есть только абстрактная идея, но что в качестве действительного духовного единства — оно уже существует на земле” (Ежи Браун. “Очерк философии Гюэнэ-Вронского”).

Осуществление совершенного государства, по мнению Вронского, является призванием романских народов. Решение проблемы Церкви, через переход от “*кредо*” к “*когноско*”, т. е. через переход от точки зрения веры к точке зрения абсолютной достоверности, является призванием германских народов. Уделом же славянских народов будет создание Объединения, как условия перехода к абсолютной эре. Вронский приводит многочисленные обоснования такому распределению предназначений, которые он черпает из истории и характера этих народов. Отметим некоторые из них, относящиеся к славянам. “Славянская душа” склонна к спонтанному, добровольному посвящению себя общим целям, “к максимализму в области этики и разума во имя безусловной правды и блага всего человечества. Эти народы не отделяют идею Государства от идеи Церкви, политики от нравственности, как это делают романские и германские народы. У славянских народов, везде и всегда должен обязывать тот же закон любви, поусторонний и потусторонний миры должны взаимно проникаться, Царство Божие должно осуществляться на земле. Преодолевая практический интеллект романских народов, славяне (проявляют жизненную энергию) в *общественном действии*, а философская спекуляция имеет для них значение лишь в том случае, если она дает указания для практических реформ. Этот синтез теоретического и практического разума, Истины и Блага, философии и

религии, делает славянские народы способными к чистому мессианству, т. е. к решению общественных антиномий посредством создания “водительного” союза человечества” (там же).

В настоящее время мы находимся в критической эпохе, а эра абсолютных целей существует в неизмеримых временных просторах будущего: но уже редкими сполохами гениальных прозрений пророков, мыслителей, поэтов — она дает о себе знать...

Игумен Геннадий (Эйкалович)

М. Е. ВЕЙНБАУМ

К ВОСЬМИДЕСЯТИЛЕТИЮ

Редактору “Нового Русского Слова” Марку Ефимовичу Вейнбауму недавно исполнилось 80 лет. Мы приносим ему дружеские поздравления и аплодируем, как руководителю единственной русской ежедневной газеты за рубежом и единственной ежедневной *свободной* русской газеты во всем мире.

Когда в 1956 г. вышел сборник статей М. Е. “На разные темы”, редактор “Нового Журнала” М. М. Карпович писал: — “Издание этого сборника оправдано прежде всего тем местом, которое занял М. Е. Вейнбаум в нашей зарубежной журналистике, как публицист и как бесценный в течение многих лет руководитель “Нового Русского Слова”, сейчас самой большой и самой распространенной газеты в русской эмиграции... Внимательный и вдумчивый наблюдатель, одинаково хорошо осведомленный в проблемах как русской, так и американской жизни, М. Е. знает как рассказать о своих наблюдениях и передать свои мысли в точном, ясном и живом изложении”. Так оценил заслуги М. Е., как редактора и публициста, М. М. Карпович. Я мало что могу прибавить к этой справедливой оценке.

Отмечу одну небезынтересную — с точки зрения истории русской журналистики — вещь. Из “НРС” М. Е. создал газету еще небывалую ни в русской журналистике в России ни тем более за рубежом. Небывалость “НРС” заключается в том, что газета эта не “определенного направления”, а “направление” всегда было присуще русским газетам. Конечно, направление в “НРС” есть, это — демократическая газета, защищающая гражданскую, политическую и творческую свободу человека. Но узко-политического “направления” в ней нет. Этого М. Е. сознательно и счастливо избегал и избежал. В рамках широкой коалиции русских культурных сил за рубежом М. Е. печатает в “НРС” статьи разных, а иногда даже и противоположных взглядов. Он даже допускает в газете (подчас резкую) полемику между ее сотрудниками.

Людей, привыкших к газетам с партийным “направлением”, это часто шокирует. Но эту свободу мнений на страницах одной газеты я признаю оригинальным достижением М. Е. В этом смысле “НРС”, пожалуй, даже уникальная газета в русской журналистике. Думаю, что Марку Ефимовичу в этом его достижении помог и “американский климат”, с его органической любовью к свободе мнений каждого.

Теперь — несколько биографических дат. М. Е. родился в 1890 г. в Проскурове, в России. Отец был адвокатом и журналистом. М. Е. рано лишился отца. В 1913 г. М. Е. уехал в Америку. В 1914 г. поступил на работу в эту самую газету, тогда называвшуюся “Русское Слово”, на посту редактора которой он сейчас празднует 80-летний юбилей. В 1918 г. М. Е. поступил в Нью Йоркский Колледж, потом — в Нью Йоркский Университет. Но стихию свою нашел в журналистике.

Отмечая общественные заслуги М. Е. я упустил бы важный сектор его работы, если бы не сказал, что начиная с 50-х г.г. М. Е. состоит председателем Литературного Фонда, оказывающего помощь всем представителям русской культуры за рубежом, попавшим в беду. Кроме того М. Е. состоит членом Американской Академии политических и общественных наук. Все это очень важные стороны общественной работы М. Е. Но все же, думаю, что юбиляра надо приветствовать главным образом, как редактора старейшей русской газеты за рубежом во всем мире. И газеты — борющейся за свободу России и за “остатки свободы” на сегодняшней полубезумной земле.

Роман Гуль

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

ХРИСТИАНСТВО В СССР ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ СПУСТЯ ПОСЛЕ РЕВОЛЮЦИИ

Полвека, прошедшие после большевицкой революции, в корне изменили не только экономическую и социальную структуру русского общества, но и его морально-этические устои. Что касается религии, и именно христианства, то официальная советская точка зрения в этом отношении категорически однозначна: она утверждает, что в СССР «социальная база» религии безвозвратно исчезла и ее в настоящее время просто нет.

Согласиться полностью с этим утверждением было бы ошибочно даже в том случае, если признать общий упадок канонической, церковной религиозной жизни.

В западном мире такому упадку противостоят организованные усилия церкви, проявляющиеся в ревизии прежних церковных догм и канонов и во многих других мерах, цель которых — привести в соответствие жизнь церковную, христианскую с жизнью общественной. В Советской России церковь совершенно обессилена, она не в состоянии принять даже малейших мер такого рода. Ведь гонение на церковь — это официальная линия государственного аппарата, и ясно, что в таких условиях упадок христианской жизни как раз в СССР достигает наибольшей глубины. Но этому сильному внешнему фактору — гонению на церковь — в Сов. России все же противостоит некий внутренний фактор: упорство верующих, поддержанное симпатией большой части, нейтрального в отношении церкви, населения.

Переплетение этих факторов порождает скрытую борьбу между государством и верующими, и эта напряженность уже сама собой доказывает, что христианство в Сов. России все-таки имеет некоторую «социальную базу».

Известно, что основа советской философии — это исторический материализм с его диалектическим методом. За первооснову принимается аксиома, что материя первична, а идея, как отражение высоко организованной материи — человеческого мозга — вторична. Материя вечна и бесконечна. Бесконечность материи во времени и про-

Автор этого сообщения жил в Советском Союзе до 1968 года. Сведения его представляются нам интересными. РЕД.

странстве является неотделимым атрибутом материи. Значит — мир материален, а стало-быть — до конца познаваем, по мере расширения наших знаний.

Все эти положения основываются на пресловутой ленинской теории отражения, изложенной автором в «Материализме и эмпириокритицизме». Эти утверждения в СССР признаются диктатурой единственно правильными философскими установками, все остальное исключается, как «ненаучное».

И так как материализм объявлен единственно правильным философским взглядом, то исходящий из него атеизм провозглашен единственно правильным мировоззрением. Этот атеизм в СССР имеет свой постоянный эпитет — воинствующий, что указывает на его агрессивный, безкомпромиссный характер, призванный безраздельно господствовать над умами.

Но человеческая натура никогда не поддавалась категорическому опрошению, не поддается она и в условиях советской тоталитарной системы. Какой же характер носит эта неподатливость в СССР в отношении христианской веры?

В широких массах эта оппозиция порождается тем простым фактом, что с насильственным изъятием из жизни народа почти всех возможностей практики христианских обрядов, этическая сторона народной жизни стала совершенно пустой. Эта пустота не заполнена до сегодняшнего дня, что, между прочим, проявляется в абсолютном упадке — в советской жизни — всяких человеческих норм морали.

Поэтому не случайно, что в СССР среди народа все в больших размерах начинают укореняться новые формы христианского вероисповедывания, для которых характерен своеобразный пуританизм. Свообразие этого пуританизма состоит в том, что верующим, в силу советских условий, приходится совершенно отказаться от канонических форм христианской жизни. Верующие все более упрощают практику религиозного исповедания. Внешние, формальные стороны церковной христианской жизни все больше исчезают, уступая место глубокой тайной вере, содержательной и проникнутой духовной жизнью.

Этим объясняется в первую очередь и то, что в СССР становится все больше методистов, баптистов, субботников и других. Однако, советская форма этих религий в корне отличается от тождественных западных форм.

Практика этих вероисповеданий в СССР опрошена до максимума. Людям этих религий не нужны храмы, у них нет показных обрядов, чаще всего они обходятся и без богослужения, как такового. Организатор сходок (при канонических формах священник), то есть, молить, что порой равнозначно спонтанной теологической дискуссии, поочередно заменяется одноверцами. Такое отсутствие иерархии делает всех членов равными и перед Богом, и перед возможным привлечением к судебной ответственности.

Может быть, что вначале такой пуританизм был сугубой мерой предосторожности перед лицом столь яростного гонения на религию со стороны государственных органов. Вероятнее всего форма эта и сегодня предполагает не давать повода для гонения. Однако, со временем эта форма перешла в содержание, и в настоящее время такая практика стала значительным фактором усиления веры в правдивую, духовную жизнь человека.

После этого получается как-то совершенно естественно, что в этих религиях в СССР за основу, как правило, принимается Евангелие, из которого умами верующих овладевают только самые выкристаллизовавшиеся поучения Христа-Человека.

Именно так! И тут мы должны подчеркнуть, что очеловечение Христа, может быть, нигде в мире не достигло такой степени, как именно в СССР. Одним из самых ярких фактов этой эволюции в СССР является то, что простому трудовому человеку не нужны теперь сложные, затуманенные догмы, ведь они ему и недоступны.*

Земные страдания не могут быть более поясняемы, как посланные свыше, ведь в СССР это ярко выраженные злодеяния человека-деспота. И вместо покорного терпения в Сов. России людям нужна великая сила веры, внутренней убежденности, сила терпения, но терпения активного, выжидающего, чтобы пережить трудности, и познать таки хорошую, чистую радость рождением заслуженной земной жизни.

Вот почему Христос приобретает образ земного мученика, который благодаря своей непоколебимой вере, вере в праведность и обязательное наступление животворного добра не только пережил зло, но и освятил все вокруг себя силой своей веры. Великая внутренняя сила Человека здесь оказывается всепобеждающей. Эта огромная сила человеческого духа теперь, как никогда, нужна советским людям, и эту силу они находят в простых, понятных поучениях великого мученика человеческого рода.

И до чего характерно, что коварная власть, как бы чувствуя, что эти глубоко верующие люди совершенно иммунны против официальной пропаганды, что они полностью отвернулись не только от церковных, но и от государственных догм, всю силу гонения повернула против них.

Этих людей приговаривают к большим срокам лишения свободы, их увольняют с работы, более того: **им предлагают посещать церковь, «как всем остальным нормально верующим людям».** Но эти люди не идут в официальную церковь и бойкот официальных идей

* Поиск более доступных истин — характерная черта отхода от канонического христианства. В СССР этот отход из-за гонения на церковь является почти полным, ведь русская церковь совершенно не в силах противостоять ему.

коммунизма пускает у них все более глубокие корни, потому что ужасы реальной жизни более не объяснишь «великими» идеями марксизма-ленинизма, а воинствующий атеизм давно стал для них никому не нужной болтовней.

Заметьте: говоря о христианстве в СССР мы говорили исключительно о представителях простого народа. При разработке же философских основ христианства, мы должны перейти к другому слою советского общества — к интеллигенции, хоть среди активно религиозных людей представителей интеллигенции немного. Но надо сказать, что среди интеллигенции есть часть симпатизирующая религиозным людям. И вот, эта симпатия в среде русской интеллигенции не совсем пассивна. Это действенная симпатия, между прочим, проявляется и в теоретической поддержке религиозно верующей части общества.

В СССР философской основой для духовной жизни служит та простая жизненная истина, что человек, как высшее создание природы есть создание творческое, которому органически присуща интеллектуальная и духовная жизнь. Эта духовная жизнь не может быть вбита ни в какие насильственно предписанные рамки, тем более не может быть запрещена или же насильственно контролируема. Религиозные убеждения человека являются составной частью его внутренней духовной жизни и, как таковые, не могут подлежать ни регулировке, ни какому-либо иному воздействию извне.

Глубокая вера в наши духовные возможности служит для части советских людей обнадеживающим ориентиром и отнять их никому в мире не дано.

Я не знаю, покажется ли убедительным мое краткое сообщение о положении христианства в СССР. Из-за отсутствия объективной статистики сейчас невозможно достоверно установить число верующих в СССР и мы не будем его угадывать. Но по жизненному опыту можем сказать: христианство в СССР, с одной стороны, переживает глубочайший кризис. Но с другой — действительно глубокая, неколебимая убежденность верующих в своей правоте, должна быть оценена в полной мере. Эта убежденность впоследствии может оказаться тем мощным источником сил, из которого при подходящей исторической обстановке лавиной вырвутся новые бурные силы перерождения общества. Во всяком случае потенциалы такого перерождения налично.

Вероятнее всего мы являемся свидетелями того интересного процесса, когда в обществе новые, здоровые силы только лишь зарождаются. О таких явлениях принято говорить, что пусть они незначительны, но они все равно типичны, перспективны. И мы верим в эту перспективу даже в том случае, если теперь трудно предугадать ее осуществление.

Иван Русин

К ШЕСТИДЕСЯТИПЯТИЛЕТИЮ Л. Д. РЖЕВСКОГО

В августе этого года отмечалось шестидесятипяatiletie известного зарубежного литературоведа, писателя и педагога, Леонида Денисовича Ржевского. Л. Д. Ржевский рос и учился в Москве, окончил университет и аспирантуру при Педагогическом институте им. Ленина, защитив диссертацию о языке комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума».

Начиная с 1924 г. и до Второй мировой войны, Л. Д. Ржевский занимался, главным образом, педагогической деятельностью. В войне участвовал, как офицер запаса. Оказавшись в эмиграции, Л. Д. с женой Агнией Сергеевной поселился в Швеции, где с 1953 года читал лекции по литературе и истории русского литературного языка в Лундском университете.

В 1963 г. Л. Д. Ржевский был приглашен профессором русской литературы в университет штата Оклахома, в г. Норман. С 1964 г. и по настоящее время Л. Д. — профессор русской литературы Нью-Йоркского университета. Начиная с 1967 г. он каждое лето читает лекции по русской литературе и в университете Норвич (Вермонт).

Курсы и семинары по русской литературе — «Толстой», «Достоевский», «Пушкин», «Русская поэзия», «Русская литература XVIII века», «Русская литература XIX века», «Русская проза начала века», «Русская советская литература», — которые ведет Л. Д. Ржевский, неизменно привлекают большое количество студентов.

Помимо преподавания, Л. Д. Ржевский опубликовал много книг: романы «Между двух звезд» (изд. им. Чехова, Н. И., 1953), «Показавшему нам свет» (изд. «Посев», 1960), «Спутница» («Мосты», № 13/14, 1968 г. и № 15, 1970 г.), ряд повестей и рассказов, вошедших в сборники «Двое на камне» (изд. ТЗП, Мюнхен, 1960) и «Через пролив» (изд. ТЗП, Мюнхен, 1966). Из исследовательских работ Л. Д. Ржевского отметим: «Язык и тоталитаризм» (Мюнхен, 1951), «Язык и стиль романа Б. Л. Пастернака 'Доктор Живаго'» (Мюнхен, 1962) и большое количество эссе по литературе, печатавшихся в разных зарубежных изданиях.

Отдел славянских языков и литератур Нью-Йоркского университета отметил шестидесятипяatiletie заслуженного члена своего профессорско-преподавательского состава выпуском сборника литературоведческих статей Л. Д. Ржевского. В сборник, озаглавленный по названию первой статьи — «Прочтение творческого слова», вошли работы, посвященные творчеству И. Бабеля, Б. Пастернака, А. Солженицына, Беллы Ахмадулиной. Все эти статьи представляют большой интерес для всех, занимающихся исследованием художественной литературы. Сейчас Л. Д. Ржевский работает над статьями о творчестве Ф. М. Достоевского (к 90-летию со дня его смерти) и над книгой, посвященной последнему периоду творчества Л. Н. Толстого.

ТЕЛЕГРАММЫ К ВЫХОДУ 100-й КНИГИ

Торонто, Канада, 1 ноября 1970 года.

Наилучшие пожелания Роману Борисовичу Гулю и сотрудникам ко дню выхода 100-й книги «Нового Журнала». Охраняя и преумножая культурное наследие нашей родины, «Новый Журнал» свидетельствует об историческом и литературном прошлом, правдиво знакомит с современным творчеством в России и за рубежом и приоткрывает занавес над тем будущим, которое неизбежно наступит после дня Освобождения. «Новый Журнал» — гордость эмиграции.

СБОНР.

RADIO LIBERTY COMMITTEE

Roman Goul, New Review Editor.

My colleagues and I send you our congratulations on the occasion of the 100th issue of Novy Zhurnal. Your journal has been the champion of free thought and high artistic achievement since its inception in 1942. We value the association that we have had with you personally and with your outstanding magazine.

May you and Novy Zhurnal have many more years of success in your invaluable service to Russian readers all over the world.

Howland H. Sargeant,
President Radio Liberty Committee.

РУССКАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГРУППА В С.Ш.А.

28 окт. 1970 г.

Главному Редактору Р. Б. Гулю.

«Новый Журнал», Нью Йорк.

Глубокоуважаемый Роман Борисович!

От имени Русской Академической Группы в С.Ш.А. и наших «Записок Русской Академической Группы» сердечно приветствую Вас, дорогой Роман Борисович, и Ваших сотрудников с выпуском 100-го номера книги «Нового Журнала».

Это не просто издание популярного эмигрантского журнала. Это активное подвижническое служение традициям неповторимой русской культуры. Ваши журналы — это те кирпичи, из которых она будет восстанавливаться в свободной России.

Вам же желаю еще много, много лет успешной и плодотворной работы.

Искренно Вас уважающий

К. Белоусов, гл. редактор «Записок РАГ».

Dear Roman Borisovitch :

Please accept my congratulations on an historical event : the publication of the 100th issue of Novy Zhurnal. I have been a faithful reader of your distinguished magazine from its very inception. The Novy Zhurnal, following as it does the old noble Russian traditions of the "Tolstyj" Zhurnal, has achieved under your talented stewardship, a true milestone in the free world.

You have enriched your readers with the creative talents of the Russian writers living abroad, but what is more you have also enabled the many contemporary Russian writers still residing in Russia, whose lips are sealed in their native land, to publish their works in your highly prestigious publication.

As an old personal friend of yours, I salute you on a job well done.

Sincerely,

Bernard Yarrow

Senior Vice-President, Free Europe, Inc.

November 9, 1970

Текст письма Президенту США, отправленного редакцией «Нового Журнала».

**ПРЕЗИДЕНТУ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ.
БЕЛЫЙ ДОМ, ВАШИНГТОН.**

Господин Президент!

Редакция и сотрудники «Нового Журнала» возмущены насильственной выдачей советским властям литовского моряка Симаса, пытавшегося найти свободу на борту американского парохода. Этой ничем необъяснимой и бесчеловечной выдачей нарушена не только Женевская конвенция, но и традиции американской свободы. Мы надеемся, что беспристрастное расследование установит виновников выдачи человека на смерть и что эти виновники понесут наказание.

С глубоким уважением,

Роман Гуль, редактор «Нового Журнала».

2 декабря 1970 г.

БИБЛИОГРАФИЯ

Л. РЖЕВСКИЙ. *Прочтение творческого слова*. Литературоведческие проблемы и анализы. Нью-Йорк Юниверсити Пресс. 1970.

Книга Л. Д. Ржевского, профессора Нью-Йоркского университета, состоит (за исключением вступительной статьи) из работ, уже раньше напечатанных в разных зарубежных изданиях.

Вступительная статья направлена против утилитарно-социологической тенденции советской критики и литературоведения, восторжествовавшей после Октябрьской революции. Ее истоки восходят, конечно, к позднему критическому периоду В. Белинского и к триаде Чернышевский-Добролюбов-Писарев, о чем Ржевский почти не упоминает. Только Октябрьская революция со всеми вытекающими из нее последствиями могла гальванизировать эту мертворожденную традицию, которой, казалось бы, положили конец сначала русские критики-символисты, а потом и школа формалистов.

Формалистов, и близко к ним примыкающих литераторов, и цитирует Ржевский в своей вступительной статье (Виноградова, с которым он работал, Эйхенбаума, Жирмунского и др.) наряду с классическими русскими писателями. Сам Л. Д. Ржевский — литературовед и писатель, напечатавший за границей ряд и научных книг и повестей и рассказов. Это дает его книге определенный облик. С одной стороны, писательство Ржевского помогает ему в тонком «прочтении творческого слова» других писателей и поэтов, с другой — литературоведческой — создает некоторые трудности для читателя (например, терминологического характера). Несмотря на то, что Ржевский почти всюду оговаривает употребляемые им термины и старается дать их определение, он любит вводить и произвольную терминологию, заимствуя и «полузаимствуя» ее из самых разнообразных источников: у малоизвестных советских литературоведов, которых иногда не называет, из советских журналов и газет, из смежных искусств таких, как музыка и живопись. Слова «запретительность», «взаимопринадлежность», «синхронность», «гомогенность» и такие метафоры, как «ключ», «тональность», «красочность», «палитра», «живописная функция слова» пестрят в тексте. Насколько они необязательны показывает хотя бы замена слова «конструктивность» (так в тексте «Бабеля-стилиста» в «Воздушных путях») словом «сложность» в тексте, напечатанном в сборнике. «Прочтение творческого слова» как «эстетическое раскрытие» полузаим-

ствовано у знаменитого польского философа Романа Ингардена, книги которого на немецком языке и в русском переводе цитирует автор.

У Ржевского своя схема, состоящая из четырех слагаемых или компонентов, как любит говорить автор. Эти четыре компонента следующие: структура, которую автор ограничивает от композиций, образная система (образ трактуется расширительно и визуально, не как троп), речевая ткань и образ автора, частично вытесняющий излюбленный советскими критиками «идейный замысел», в котором, согласно формалистам, литературоведческий анализ вовсе не нуждается. Ржевский не только разбирает и оговаривает все эти компоненты, но и богато иллюстрирует их примерами из русской и советской литературы.

«Анализы» вообще оказываются гораздо интереснее «проблем». Анализ стиля и языка Бабеля и Солженицына произведен автором с позиций эксперта. Его глубокое проникновение в мир произведения и автора сказались особенно на самом значительном исследовании сборника, посвященном пастернаковскому «Доктору Живаго».

Работа о «Докторе Живаго» состоит из 7-ми главок. В первой из них, озаглавленной «Роман 'Доктор Живаго' в общей поэтико-речевой системе прозы Б. Л. Пастернака», намечен план работы автора: установить несходство языка Пастернака-романиста и Пастернака-лирика и показать «как отразился на языке романа декларированный автором ('я не люблю своего стиля до 1940 г.') переход к новым... стилизованным формам». Вторая главка посвящена лексике и фразеологии романа. Автор отмечает и иллюстрирует чрезвычайное ее богатство и преобладание в ней церковнославянских, книжных элементов наряду с народной струей авторского языка, останавливается на столкновении лексики разной стилистической окраски, частом у Пастернака-поэта, и разбирает разговорную лексику и авторские «новообразования» поскольку их удалось проверить. В главке 3-ей Ржевский устанавливает наличие некоторого налета книжно-канцелярских стилей в «Докторе Живаго». Он сравнивает роман с «Войной и миром» Толстого и находит, что у Толстого меньше книжных элементов, чем у Пастернака. Сопоставляя синтаксис обоих произведений Ржевский приходит к заключению, что «ровной логической целеустремленности толстовского изложения противостоит ассоциативно-абстрагирующая манера Пастернака».

Глава 5-ая посвящена описанию «расщепления монологического 'я'». Ржевский расшифровывает «энергию и оригинальность» Пастернака как экспрессию и приводит много примеров этого приема. Функция этих «форм эмоционально-экспрессивного выражения в романе» — в раскрытии «особости» центрального образа романа, «речевая сфера которого временами столь явно сливается с образом повествовательного 'я', и в создании стилей душевной экспрессии. В главке 6-й

Ржевский еще раз устанавливает стилевой дуализм авторской поэтики и старается выяснить творческую природу внереалистического «аута». Он приводит цитату из «Доктора Живаго»: «Жизнь символична потому, что она значительна» и видит поэтическое выражение этой значительности в символе, в иносказании. Примером образа-символа в романе является, например, образ горящей свечи. Этот образ-символ наводит Ржевского на мысль о Блоке, и он пытается показать связующие нити между Пастернаком и Блоком, приводя примеры из прозы Пастернака и поэзии Блока.

В дальнейшем Ржевский останавливается на образе автора, выражение которого видит уже в стилевом дуализме романа. Он находит «авторское самораскрытие» в образе главного героя и главным образом в стихотворной части романа. Историю жизни и гибели героя «Доктора Живаго» Ржевский называет «нехитрой, как песенная мелодия, но сложно и причудливо оркестровой притчей». Роман, в толковании автора, апология человеческой души, призыв к ее верности небу («которая одновременно есть и верность жизни») в подтверждение чего автор приводит высказывания Пастернака в интервью со шведским литературоведом А. Нильсоном: — «Мы должны искать уверенности в самих себе. За то короткое время, которое живем мы на земле, нам нужно уяснить себе свое отношение к существованию, свое место во вселенной. Иначе ведь жизнь немислима. Это, как я понимаю, означает отказ от материалистического мировоззрения XIX века, означает возрождение духовного мира, возрождение нашей внутренней жизни, возрождение религии, — не как церковно-религиозной догмы, но как жизнеощущения».

В заключительной части этой главы исследования приводятся еще параллели между творчеством Пастернака и Рильке: особенно в теме «второго рождения мира, его нового открытия, видения».

Из других статей сборника привлекает внимание небольшое исследование «О творчестве Беллы Ахмадулиной». Статья эта написана человеком, любящим поэзию и глубоко проникающим в ее звук и значение. Ржевский говорит о «единственности» поэтического голоса этой молодой наследницы Ахматовой, рукоположенной всем, что есть лучшего в богатых традициях русской поэзии.

Автор сравнивает Ахмадулину и с другим мастером русского стиха — с Мариной Цветаевой. Он находит разницу в мелодико-ритмической структуре стихов обеих поэтесс. У Цветаевой главное — ритм, а не мелодика, у Ахмадулиной «мелодика чаще всего — структурный фон ее композиций, а напев — форма звучания лирической темы». Однако, Ахмадулина заботится и о ритмах. Пример — «Моя родословная» вся построенная «на пересечении пятистопного ямба вставками из трехсложников и пэонов». Нам кажется, что следовало бы еще отметить параномасию у Ахмадулиной, роднящую ее опять-таки с Цветаевой. Ржевский находит у Ахмадулиной во всем тонкое, творческое и в то

же время почти неощутимое мастерство наряду с редким чувством гармонии и меры.

В рамках этой рецензии я не могу остановиться более подробно на других статьях сборника, в которых автор тонко и интересно анализирует творчество Солженицына и Бабеля со стороны «речевой ткани» и прочитывает тайнопись в романе «Мастер и Маргарита». Необходимо, однако, сказать еще несколько слов о языке и стиле самого автора. Ржевский о трудном пишет легко и убедительно. У него прекрасный язык: остроумный, живой, точный, образный. Автор заботится и о красочности и о действенности языка. Переходы от одной темы к другой всегда легки, обличая в авторе опытного лектора.

В целом отчетная книга — ценная, таких книг у нас немного, ее прочтут не только студенты, но и исследователи и, надо надеяться, тот талантливый Читатель с большой буквы, к которому обращается автор в предисловии. Книга издана с большим вкусом. Обложка работы талантливого художника Сергея Голлербаха. Книга вышла в ознаменование шестидесятилетия профессора Ржевского, благодаря заботам его коллег и учеников по Нью-Йоркскому университету.

Зоя Юрьева

HALF A CENTURY OF RUSSIAN SERIALS (1917-1968); Cumulative Index of Serials, Published Outside the USSR. Part I, 1917-1956, A-M. Compiled by Michael Schatoff. Edited by N. A. Hale. Russian Book Chamber Abroad. New York. 1970.

Ничто так не отражает жизнь русской эмиграции, как периодическая печать. Это и хроника событий. При чем периодика не только отражает жизнь, она сохраняет ее на долгие годы. Живые свидетели уходят. Архивы организаций и частных лиц распыляются, часто пропадают. Воспоминания полны неточностей, а часто и тенденциозны. Периодика же остается, если не единственным, то главным источником для истории русского зарубежья.

За все пятьдесят лет русской эмиграции не было выпущено ни одного библиографического указателя по русской зарубежной периодике. Но вот нашлись люди, М. В. Шатов и Н. А. Хэйл, которые, по своей инициативе и без чьей-либо помощи, проделали эту огромную и неблагодарную работу и проделали ее с любовью и знанием.

«Полвека русской периодики. 1917-1968» — так называется библиографический указатель, первый том которого недавно выпущен Русской Зарубежной Книжной Палатой. Составитель — М. В. Шатов. Редактор — Н. А. Хэйл. Все издание будет состоять из четырех томов. Первые три охватят период с 1917 по 1956 год. В четвертом томе будут приведены издания 1957-1968 гг.

В указателе зарегистрированы альманахи, бюллетени, газеты,

ежегодники, журналы, календари, отчеты, выходившие на русском языке вне СССР, а после Второй мировой войны — вне советского блока держав. Вошла в указатель также периодика, издававшаяся во время Второй мировой войны на территории Советского Союза под немецкой и румынской оккупацией. Всего в первом томе отмечено свыше 1.000 названий разных периодических изданий.

Указатель выпущен на английском языке. Транслитерация названий произведена по правилам Библиотеки Конгресса. Издания расположены в алфавитном порядке или по их названию, или по имени выпускавшей их организации. О каждом издании даются, по мере возможности, следующие сведения: выпускающая организация, издательство или издатель, редактор, место выпуска, дата выхода первого номера, количество выпущенных номеров, способ печати (есть и рукописные, и отпечатанные на пишущей машинке), орфография.

За этим сухим предметным описанием лежат годы и годы напряженной работы. Для выполнения ее нужна была и убежденность в том, что она необходима. В результате получился труд, который станет памятником русской эмиграции и необходимым пособием для изучения ее истории.

Поражает разносторонность изданий. Больше всего, пожалуй, военных — журналов, органов связи, вестников, памяток, бюллетеней, выпускавшихся как крупными объединениями, так и отдельными полками, военными училищами и даже кадетскими корпусами. Обращают на себя внимание 30 номеров «Измайловской Старины», выпущенные в Александрии (Египет) в 1920-х годах А. Я. фон Брецелем и посвященные истории Измайловского полка.

Но немало изданий и по искусству, по сельскому хозяйству, праву, педагогике, экономике, технике и т. д. В 1922 году в Лондоне, например, вышел даже «Механический транспорт», иллюстрированный журнал, посвященный вопросам всех видов механического передвижения. Много изданий по вопросам религиозным, философским и церковным.

Под какими только названиями и где не издавалась русская зарубежная периодика: «Карфагенский летописец» (Тунис), «Южный Крест» (Буэнос-Айрес), «Австралазия» (Сидней). В 20-х годах выходил в Варшаве русский католический вестник под странным для католиков названием «Китеж». Издавались две «Брачные газеты», — одна в 1921 году в Харбине, другая в 1947 году в Нейенбурге (Германия). Существовал в 1946 году в Регенсбурге «Листок розысков», еженедельное приложение к газете «Эхо».

Когда-нибудь на основании данных этого указателя, путем подсчета определенных изданий и сличения периодов жизни эмиграции, будут установлены какие-то этапы ее развития и угасания. Но на основании первого тома, об этом еще рано говорить.

Трудно переоценить значение для нас, русских эмигрантов, этого библиографического указателя. Когда будет писаться история единственного в своем роде государства без территории и без правительства — Зарубежной России — «Полвека русской периодики» лягут краеугольным камнем в фундамент такой истории.

Будем надеяться, что М. В. Шатову и Н. А. Хэйлу удастся выпустить и следующие три тома «Полвека русской периодики», а также осуществить уже подготовленное к печати издание «Полвека русской книги».

Ю. Сречинский

ANNA BALAKIAN. *The Symbolist Movement, A Critical Appraisal*, Random House, New York. 1967, pp. 197.

Книга Анны Балакиан в основном посвящена проблемам символизма в западной литературе. Русского символизма автор почти не касается, хотя есть несколько упоминаний об отдельных русских символистах (Брюсов, Блок) и даже цитаты из них. В книге восемь глав, или, вернее, отдельных статей, посвященных проблемам символизма. То, что автор не останавливается на русском символизме, связано с общей методологией книги и вполне закономерно. Дело в том, что западный символизм настолько отличается от русского, что соединять эти два явления в одной работе было бы методологически не целесообразно и отвлекало бы внимание от характеристики западного символизма, как единства.

Во вступительной главе автор определяет французский символизм с двух различных точек зрения: во-первых, узко хронологически, как направление во французской поэзии 1885-95 гг., связанное с явлением декаданса, вагнерианством и специфической атмосферой конца века; во-вторых, в более хронологически расширенном плане, соединяя символизм с именами Бодлера, Рембо, Верлена и Малларме (что, конечно, вполне естественно и принято в странах английского языка).

В связи с обоими определениями западный символизм в книге Балакиан предстает скорее, как определенное настроение или мироощущение, чем как законченная поэтическая платформа. Однако, само название «символизм» указывает на постоянную тенденцию к наделению вещей и явлений дополнительным значением, к выходу за пределы эмпирической реальности. Как видно из рецензируемой книги, выход за пределы эмпирической реальности для западного символиста практически означал субъективизацию реальности или ее одухотворение (сведенборгианский мистицизм), или, наконец, попытку выйти за пределы реальности при помощи наркотика («Гашиш» Бодлера).

Любопытно, между прочим, что за небольшими исключениями

религиозно-философская линия, столь важная для понимания русского символизма, во французском символизме не играет особой роли. Однако, в этой связи чрезвычайно интересна глава книги, посвященная учению Сведенборга и его влиянию на теорию романтизма, а через нее на западный символизм.

Сведенборг сильнее всего повлиял на французский символизм специфической структурой своего мышления, но конечно, и своим мистическим учением. Глава «Сведенборг и романтизм» при всех своих достоинствах, однако, несколько преувеличивает влияние Сведенборга на романтизм в целом. Связь французского романтизма с учением Сведенборга в общем сомнению не подлежит, что же касается романтизма немецкого, то тут воздействие Сведенборга шло по крайней мере параллельно с воздействием Якова Беме, Майстера Экхарта, Фихте, Шеллинга и других. Если Сведенборг и пользовался известностью среди немецких романтиков (что констатирует и Балакиан), то именно благодаря тому, что они были подготовлены к его воздействию основной линией развития немецкой религиозно-философской мысли. Для французских же романтиков, да и не только романтиков, воздействие Сведенборга было значительнее.

В книге Анны Балакиан французский символизм предстает в виде огромного резервуара разнообразных возможностей, в виде некоей питательной среды, содержащей в себе зародыши самых различных школ — от субъективной линии романтизма до современного нам сюрреализма. Развитие французского символизма, по словам Балакиан, шло в основном по линии словесно-психологического эксперимента. Символизм, как совокупность художественных приемов, в книге Балакиан освещен сравнительно мало. По существу западный символизм энергично отталкивался от романтизма, вернее от тех форм романтизма, которые он застал при своем зарождении.

Для концепции автора характерно подчеркивание международного, внационального характера культуры французского символизма конца века.

Русский читатель, прочитав интересную и ценную книгу Анны Балакиан, сможет еще раз отметить, насколько далек французский символизм от русского и даже по ряду пунктов прямо противоположен ему. Достаточно вспомнить хотя бы о том, что русский символизм принципиально двигался в русле романтизма, французский же отталкивался от него. Известным мостом между русским и французским символизмом может служить символизм немецкий (Гофмансталь, Георге, отчасти Рильке). В книге А. Балакиан немецкому символизму отведено сравнительно небольшое место (латинские страны явно преобладают). Книга представляет значительный интерес, как удачная попытка представить западный символизм в виде художественного единства настроения и видения.

Олег Ильинский

АЛЕКСАНДР ДЫННИК. *А. И. Куприн. Очерк жизни и творчества.*
Published by Russian Language Journal. East Lansing, 1969.

В предисловии к своей книге А. Дынник указывает на то, что сравнительная скудность литературно-критического материала о творчестве А. Куприна вне Советского Союза побудила его «внести свою лепту в дело заполнения существующего пробела». Автор ставит себе задачей представить А. Куприна, человека и писателя, в неискаженном советскими литературоведами виде.

Первое, что бросается в глаза при чтении работы А. Дынника это ее сжатость. На 122 страницах А. Дынник знакомит читателя с жизнью, личностью и творчеством писателя, при чем чувствуется неподдельная любовь автора к Куприну. Очерк разбит на шесть глав. Первые четыре главы посвящены творческому пути Куприна в дореволюционной России, пятая охватывает его жизнь во Франции, жизнь изгнанника, с которой он никогда не мог примириться, и шестая останавливается на нашумевшем в свое время его возвращении в СССР и подводит итоги его творчества, разбирая современное «куприноведение» в Советском Союзе. Очерк изобилует цитатами из книг и статей советских и эмигрантских критиков.

Каков же лейтмотив работы А. Дынника? Я думаю, прежде всего, это полемика с советскими критиками с их односторонней, до тошнотворности и им и нам надоевшей «марксистской» точкой зрения при разборе творчества всякого писателя и в данном случае Куприна. Но, иногда, в «пылу сражения» А. Дынник как будто сам подпадает под влияние своих литературных противников. Бесконечное подчеркивание «реализма» Куприна становится уж очень расплывчатым.

Вот, например, «Поединок» Куприна — трудная тема для зарубежного критика. Невольно воскресает вопрос, не согрешил ли Куприн против того «реализма» или лучше сказать той действительности, которую он описывал? На странице 52-ой А. Дынник пишет о «Поединке»: «Роман этот, принесший Куприну славу большого писателя, дерзко обнажает всю интеллектуальную бедность господ офицеров и всю гнилость тогдашней армейской сердцевины».

Вначале подумалось, что автор просто забыл указать, что это цитата из какого-нибудь А. Волкова или другого советского критика. Но, нет. Продолжая дальше свой разбор «Поединка», А. Дынник подкрепляет его цитатой из Горького, правда, даже более мягкой, чем суждение самого автора. Нет никакого основания не верить Куприну (или оспаривать А. Дынника), что он встречал или знал офицеров типа Сливы. Но, обобщая единичные случаи, Куприн несомненно сгустил краски и на это стоило бы А. Дыннику обратить внимание. Где же тогда правда об «армейской сердцевине» — в раннем «Поединке» или в позднейших «Юнкерах»? Ведь дух последней повести совершенно противоположен духу первой. Не получается ли так, что в «Юнкерах»

отразилась только ностальгия изгнанника? Далекое прошлое в розовых красках? Словно признательность за то, что во время Первой мировой войны был издан приказ Николая II, в котором предписывалось «беречь поручика Куприна и прапорщика Собинова» (цитирую по памяти, С. К.)?

Второй задачей автора, как мне кажется, было стремление дать по возможности полный обзор творчества Куприна. Но тут слишком много места уделяется не совсем удачным произведениям в ущерб таким замечательным вещам, как «Гамбринус», «романтический» (по Д. С. Святополк-Мирскому), «Штабс-капитан Рыбников», очаровательная повесть «Олеся», незабываемые «Листригоны».

Третьей важной задачей была попытка автора объективно осветить причины отъезда Куприна в СССР. Тут от внимания А. Дынника ускользнула интересная статья К. Симонова «Об Иване Алексеевиче Бунине» («Литературная Россия», 22.7.1966), в которой говорится и о Куприне. Известно, что Симонов был послан советским правительством к Бунину в Париж с «заданием» уговорить последнего вернуться. Двадцать шесть лет спустя Симонов так передал свой разговор с Буниным: — «Я не хочу, чтобы меня привезли в Москву, как Куприна (он старательно и ядовито подчеркивал: не приехал, а «привезли»)... Вернулся домой уже рамоли, человеком, ни на что неспособным... Я так возвращаться не хочу... Нет, я не поеду, не поеду на старости лет... Это было бы глупо с моей стороны... Нет, я не Куприн, я этого не сделаю».

Совершенно справедливо А. Дынник считает, что возвращение Куприна не было актом идейного примирения с советским режимом, актом капитуляции. Возвращение было актом старого больного человека, у которого из всех былых мечтаний и желаний осталось одно — умереть на родной земле.

А. Дынник не раз рисует внешний портрет Куприна в молодости и зрелости, полного сил, Куприна-спортсмена, Куприна-буяна, а также дает портрет периода постепенного старения, одряхления последних лет его жизни. Для дополнения общей картины хочется привести цитату ортодоксального советского писателя, Михаила Слонимского (Советский писатель, 1966, стр. 79-80): «Он (Куприн) вернулся. Вернулся больной, старый... А в гробу лежал худенький человек с кротким, умиротворенным лицом, и при взгляде на него вспомнился герой «Гранатового браслета», однолюб и мечтатель».

Среди советских критиков А. Дынник выделяет по стремлению к объективности О. Михайлова и неоднократно приводит высказывания К. Паустовского, который, обладая подлинным литературным чутьем (хотя и не всегда правдивостью) сумел отметить самое существенное в творчестве Куприна.

Заканчивая отзыв о книге А. Дынника, я думаю, будет уместно

применить к ней известное выражение: слов мало, мыслей много. А раз есть мысли, то есть и интерес к книге. С автором можно спорить, не соглашаться с теми или иными его утверждениями, доводами и выборами цитат, но это именно и требуется от хорошей книги.

Оберлин, Охайо.

Сергей Крыжицкий

О НОВОЙ КНИГЕ Н. И. УЛЬЯНОВА*

Прозаик — лишь одна сторона творческого облика Николая Ивановича Ульянова — историка, социолога, культуроведа, автора литературно-критических работ; в смысле характеристики, может быть, и самая важная сторона, потому что отражает многосторонность этого облика сама по себе.

Отражает эту многосторонность и книжка «Под каменным небом», о которой речь: так различны по жанру и темам, так разнообразно-богаты по материалу шесть составляющих ее рассказов.

Два из них — «Мантуанская ночь» и «Сеньор Торо» — собственно, очерки, но очерки большого писательского умения в «Мантуанской ночи» примечательно искусное переплетение реального и привидевшегося; в очерке боя быков — то, что после множества описаний, включая хэмингуею «Фиесту», он так живо читается. Привлекает и образная экспрессия языка: «Бык походил на петергофский фонтан, пущенный в ясный летний день: шумят каскады, переплетаются струи, а у медных львов и грифонов хлещет вода из пасти...»

С большой внутренней силой и художественной смелостью развернута тема насилия над творческим гением в рассказе «Солнце», открывающем сборник. Обстановка дьявольского обмана, искусственно-райской неволи, в которую ввергают молодого ученого, чтобы завладеть его изобретением, очень запоминается; в какой-то мере, по касательной, это — продление темы «шарашки» из солженицынского «В круге первом». Прекрасен по сжатой выразительности конец: «Убейте меня! Убейте!» — молит юноша-изобретатель в ответ на новую попытку мистификации.

Рассказу «Первого призыва» предпослан эпиграф из Зинаиды Гиппиус: «В последней жестокости есть бездонность нежности». Изречение это вдохновляет построенную в психологическом ключе историю об одном чекисте первых послеоктябрьских лет, у которого дичайшие порывы садизма сопровождались иной раз положительными по отношению к жертвам контрастами, — историю, с которой автор творчески удачно справляется.

Хорош рассказ «Последний» — о лесе, оказавшемся последним в

* Н. Ульянов. Под каменным небом. Рассказы. 1970.

своих родных чашах на северо-западе России и убитом из ржавого обреза местным лодырем и самогонщиком; хорош — внятностью образа, живописью пейзажа и интересным историческим опосредствованием повествования.

Наиболее «проходным» оказывается последний из рассказов — «Мистер Ган» с центральным мотивом, повторяющим В. Гюго (каторжник и епископ из «Отверженных») и недостаточной, на наш взгляд, мотивированностью происходящего. Но это — всего шесть последних страничек книги. В целом же она — хороший вклад в нашу эмигрантскую, будто бы уж совсем иссякающую прозу, и читается книга с увлечением.

Л. Ржевский

ПО ПОВОДУ НОВОГО ИЗДАНИЯ «ПРЕСТУПЛЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ» Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО

Среди обширной литературы, появляющейся в связи с приближающимся 150-летием со дня рождения Ф. М. Достоевского, заслуживает упоминания только что вышедшее в Москве новое издание романа «Преступление и наказание», в издательстве «Художественная литература», в серии «Библиотека всемирной литературы».

Новое издание «Преступления и наказания» — это 15-ое издание романа отдельной книгой в России в пореволюционный период. Первое было выпущено Госиздатом в 1923 году в серии «Классики русской литературы». В 1935 году роман был впервые издан с иллюстрациями современника Достоевского П. М. Боклевского. Прекрасные рисунки, сделанные Боклевским еще в 80-х годах, наконец, через полвека, дошли до широкой публики. Иллюстрации Добужинского к «Преступлению и наказанию», вернее, эскизы образов Раскольникова и Сони, сделанные художником в конце 90-х годов прошлого столетия, до сих пор не нашли издателя.

Счастливей сложилась судьба иллюстраций художника Д. А. Шмаринова, много лет работавшего над графическим воплощением образов бессмертного романа. Первые иллюстрации Шмаринова были воспроизведены в издании 1941 года; затем, с дополнениями, — в юбилейном издании Гослитиздата в 1956 году, заслужившем высокую оценку в печати. Следующее издание «Преступления и наказания», в серии «Школьная библиотека», также было иллюстрировано рисунками Шмаринова. И, наконец, два последних издания романа — 1966 года и рецензируемое издание 1970 года — оба также снабжены рисунками Шмаринова.

Новое издание иллюстрировано богаче предшествующего издания 1966 года: в нем 16 иллюстраций, две из которых воспроизведены на

суперобложке, а также превосходная репродукция известного портрета Достоевского кисти В. Г. Перова; история этого портрета рассказана Анной Григорьевной Достоевской в ее Воспоминаниях.

Оба последние издания романа, с первого взгляда почти одинаковые, отличаются не только количеством иллюстраций и качеством их выполнения. Изданию 1966 года предпослано предисловие профессора Московского университета К. И. Тюнькина; издание серии «Библиотеки всемирной литературы» снабжено предисловием известного достоевоведа Георгия Михайловича Фридлендера, а также его послесловием и примечаниями к тексту романа. Эти примечания мало чем отличаются от примечаний К. Н. Полонской к 5-му тому собрания сочинений Достоевского, вышедшего в конце пятидесятых годов к 75-летию со дня смерти писателя. Построчное сравнение показывает, что Фридлендер несколько расширил примечания и добавил несколько новых, подробно комментируя, например, размышление Раскольникова после встречи на бульваре с обезбещенной девочкой: «...такой процент, говорят, должен уходить каждый год...»

В послесловии Фридлендер, так же как и Полонская, восстанавливает историю развития замысла романа и историю его написания. Оба автора приводят выдержки из письма Достоевского Каткову, в котором излагается основная мысль романа как «психологического отчета одного преступления»; прослеживая творческую работу писателя над другими образами романа, оба автора ссылаются на Записные тетради Достоевского. В то время как Полонская обращает больше внимания на идеи, воплощенные в романе, и на связь их с эпохой, Фридлендер — постоянный житель Ленинграда — больше места уделяет фактической стороне, устанавливая соотношение между описанными в романе местами и событиями с реальным Петербургом и фактами, действительно происходившими в шестидесятых годах прошлого столетия. Заканчивают послесловие оба автора ссылкой на современные Достоевскому отклики критиков.

Предисловие Фридлендера несколько короче предисловия Тюнькина к изданию 1966 года. Следует отметить как сходство, так и различие в подходе обоих авторов к роману. Оба говорят о бессмертном произведении Достоевского как о «создании гения, которое будет жить, пока будет человечество» (Тюнькин), как об одном из великих произведений мировой литературы, «ценность которых со временем не умалывается, но возрастает для каждого следующего поколения» (Фридлендер). Оба сравнивают силу изобразительного таланта Достоевского в «Преступлении и наказании» и напряженность его мысли с шекспировской. Заслуживает упоминания, как нечто новое, особое внимание, уделяемое обоими авторами проблеме бунта, тогда как обычно, при анализе образа Раскольникова, критики занимаются больше мотивировками преступления, а также объяснениями психоло-

гического состояния Раскольникова до и после совершения преступления.

Озаглавливая свое предисловие «Бунт Родиона Раскольникова», Тюнькин тем самым связывает героя Достоевского и с будущими поколениями. Сосредоточивая свое внимание на внутренней драме Раскольникова, иступленно ищущего решения измучившего его вопроса — как восстановить справедливость на земле, автор предисловия убедительно вскрывает противоречие, к которому неизбежно приводит юного бунтаря его диалектика. Как справедливо отмечает Тюнькин, бунт Раскольникова вызван его отзывчивостью к чужому страданию, его неприятием зла. Тюнькин объясняет ложность идеи, приведшей Раскольникова к убийству, тем, что разделение мира на угнетателей и угнетаемых, на властителей и подвластных принимается им как нечто неизменное, раз навсегда данное. И если нельзя изменить ни этого порядка, ни природы самого человека, то надо, как пишет Тюнькин, под влиянием «законов бытия буржуазного мира» отделить себя от этого мира и встать над ним.

В предисловии Г. М. Фридлендера новым в его подходе к проблематике «Преступления и наказания» по сравнению с его книгой «Реализм Достоевского» (М.-Л., издательство «Наука», 1964 год) представляется заострение внимания на идее бунта, которую автор трактует несколько иначе, чем Тюнькин. При анализе идеи Раскольникова, Фридлендер выделяет, главным образом, защиту Достоевским достоинства человека, его права на человеческое существование, на протест против всего, что превращает человека в «дрожащую тварь». Фридлендер анализирует причины, приведшие Раскольникова к противопоставлению «обыкновенных», рядовых людей «необыкновенным» и к его трагическому решению, путем убийства, испытать свою способность принадлежать к «необыкновенным». Рассматривая проблему бунта, Фридлендер не считает оправданной любую форму бунта против мира и «посредственности»; бунт Раскольникова он рассматривает как большую форму социального протеста, основанную на «индивидуалистической, анархической по своему общественному содержанию» системе идей. Интересен вывод Фридлендера, гласящий, что протест Раскольникова против мировой несправедливости, выразившийся в убийстве другого человека, превращается в свою противоположность, потому что «его бунт против существующей бесчеловечности сам носит бесчеловечный характер». Этот вывод чрезвычайно близок к выводу, к которому пришел Альбер Камю в своей книге «Человек бунтарь».

Вторая часть предисловия Фридлендера менее интересна. Автор дает краткий обзор биографии Достоевского и его формирования как писателя. В этой части Фридлендер, так же как и Тюнькин, излишне социологизирует замысел Достоевского, объясняя его недове-

рием писателя к революционерам своего времени и стремлением противопоставить революционным идеалам идеал морального очищения отдельной личности.

В предисловии Фридендера заслуживает упоминания краткий, но ценный анализ художественных средств, при помощи которых Достоевский рисует драму Раскольникова и связь его с другими действующими лицами романа. Следует отметить, что и Фридендер и Тюнькин придают большое значение эпилогу, который обычно недооценивался как многими русскими так и зарубежными литературоведами, считавшими его самой слабой частью романа. Это мнение разделяют М. Гус, В. Шкловский, К. Мочульский, Э. Симмонс, Э. Васёлек и др. Здесь оба автора предисловий идут вслед за Л. Гроссманом, отмечавшим, что «эпилог романа полон величия и глубины» (Л. Гроссман, «Достоевский», Москва, издательство «Молодая Гвардия», изд. 2-ое, 1965).

Отмечая ценность нового издания «Преступления и наказания», все же приходится высказать сожаление, что в СССР до сих пор нет издания, равнозначного французскому изданию Галлимара в серии «Библиотека Плеяды», где в одном томе с текстом романа изданы Дневник Раскольникова и Записные тетради Достоевского к этому произведению, или недавно вышедшему изданию Нортон под редакцией Джорджа Гибиан, где даны выдержки из Записных тетрадей писателя, его письма о замысле романа, а также наиболее известные критические статьи, авторы которых, с разных точек зрения, рассматривают гениальное произведение Достоевского.

Н. Натова

А. ОСОРГИНА. *«Пушкин и его творчество»*. ИМКА-Пресс. Париж, 1969.

«Что требуется от того, кто заговорит о Пушкине теперь? Такому смельчаку, если он не ограничится библиографическими справками, все зачтется в вину: каждое повторенное слово, будь оно самое искреннее, падет на его голову обвинением и плагиатом», писал А. Блок в 1906 году, хотя и коротко, но очень одобрительно, рецензируя третье издание книги Д. Мережковского «Вечные спутники. Пушкин».

Итак, перед нами невольно встает вопрос: зачем еще новая книга о Пушкине? В предисловии к очерку «Пушкин и его творчество» А. Осоргина говорит, что очерк написан «для учеников старших классов русских школ и для взрослой молодежи, изучающей Пушкина и не имеющей возможности изучить его более подробно». Этим цель книги разъяснена и «нужность» как-будто оправдана. Среди неизмеримого количества научных трудов, школьных пособий и комментариев о Пушкине, издаваемых в Советской России, есть безусловно

ценные и интересные, где иногда появляется даже что-нибудь «новое» и «неизвестное». Однако, в подавляющем большинстве и Пушкин не избежал марксистско-ленинского толкования. Понятно всех этих «атрибутов» в книге Осоргиной нет и именно тем книга и ценна для малочисленной увы, русской молодежи, не утратившей еще своей русскости. Более того, книгу эту можно дать с пользой в руки и иностранцам, занимающимся русским языком и русской литературой. Перед глазами их предстанет образ правдивого, живого, русского Пушкина, а не какого-нибудь предвестника «великой октябрьской».

Очерк А. Осоргиной разделяется на две части: биография Пушкина (30 страниц) и разбор его главных произведений (107 страниц). Книга снабжена дельными сносками. Сжатая биография дает картину жизни нашего «вечного спутника». Автор говорит и об апатичности Саши в детстве и о его «знакомстве» с Державиным и о выигранном молодым поэтом соревновании с Жуковским и о встрече с императором Николаем I и о «болдинской осени» и о многом другом.

А. Осоргина рассматривает творчество Пушкина в хронологическом порядке и, начиная с «Руслана и Людмилы», охватывает «романтический период» («Байронические поэмы»), задерживается несколько дольше на таких произведениях, как «Евгений Онегин», «Полтава», «Медный всадник» и «Борис Годунов», коротко разбирает «драматические сцены», переходит к прозаическим произведениям, особенно подробно говорит о «Капитанской дочке» и заканчивает очерк разбором лирики Пушкина.

К сожалению, отсутствует хотя бы краткая библиография; многое обойдено молчанием (например, «Граф Нулин», «Домик в Коломне»); ничего не сказано о дивных сказках, среди которых «Сказка о золотом петушке», является по быть может немного экстравагантному мнению покойного литературоведа Д. С. Святополка-Мирского, вершиной пушкинского творчества. Но, несмотря на все это, очерк «Пушкин и его творчество» А. Осоргиной надо приветствовать. Хочется пожелать и дальнейших подобных выпусков школьных пособий о русских писателях XIX и XX веков.

Оберлин, Охайо.

Сергей Крыжицкий

АВТОКЕФАЛИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ГРЕКО-КАФОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ (МИТРОПОЛИИ) АМЕРИКИ. Всеславянское изд-во. Нью Йорк. 1970 (203 стр.). Ц. 2 долл.

Эта, хорошо изданная, книга об «автокефалии» очень полезна всем интересующимся этим вопросом. В особенности, она будет нужна будущим историкам эмиграции и историкам русской православной церкви за рубежом. Книга состоит из перепечатанных документов, в

свое время появившихся, как в русской зарубежной, так и в иностранной печати. Составлена книга объективно: высказывания приводятся и сторонников и противников «автокефалии».

Книга начинается с истории вопроса об отношениях большевистской власти и православной церкви. Тут даются выдержки из «Послания» Св. Патриарха Тихона, как известно, предавшего большевиков анафеме: «Опомнитесь, безумцы, прекратите ваши кровавые расправы. Ведь то, что творите вы, не только жестокое дело: это дело поистине сатанинское... Властью данной нам от Бога запрещаем вам приступать к Тайнам Христовым, анафематствуем вас... Заклинаем и всех вас, верных чад Православной Церкви Христовой, не вступать с таковыми извергами рода человеческого в какое-либо общение: 'Изымите злаго от вас самих'...»

Далее идут документы, освещающие вопрос о том, как была «дарована» Московской Патриархией «автокефалия» и кто вел эти сугубо-тайные переговоры с Никодимом почти семь лет. Первый контакт с Никодимом произошел, оказывается, еще в 1961 году. Американский журнал «Ньюзвик» передает репортаж своего корреспондента о том, что происходило в Нью Дели, в Индии, на Третьей Ассамблее Национального Совета Церквей:

«Желая сгладить отношения, Никодим высказал мысль, что его визит в США мог бы помочь выяснить все вопросы. Эта идея произвела потрясающее впечатление на архиепископа Иоанна Сан-Францисского, делегата Русск. Прав. Церкви. — 'Может-быть', ответил он, 'неофициальная встреча могла бы быть устроена через немного лет, но только вне США'. — 'Почему вне?', спросили советские. Один из помощников архиепископа ответил: — 'Американская пресса убила бы нас!' У советских заблестели глаза: — 'Значит, кто из нас более свободен, вы или мы?'» («Ньюзвик», 11 дек. 1961).

Эти «неофициальные» встречи митр. Никодима и архиеп. Иоанна Сан-Францисского (и других иерархов митрополии) начались с 1963 года, но, действительно, не в Америке, а в Швеции и Швейцарии. Велись они в глубокой (почему бы это?) тайне и от православных прихожан и от православных клириков в США. А закончились в 1970 г. «дарованием автокефалии», согласно духу которой «митрополия» стала «духовной дочерью» Московской Патриархии.

Как оправдание принятия этой «автокефалии» в книге полностью перепечатана статья проф. А. А. Боголепова «Исторический путь американской митрополии». В ней знаток канонического права, А. Боголепов весьма искусно («комар носа не подточит») защищает принятие автокефалии с канонической точки зрения. Правда, одно место его защиты нам не кажется убедительным. Это, когда автор ссылается на исторический факт провозглашения автокефалии Русской Православной Церковью, «вследствие подчиненности Константинопольского

Патриарха турецкой власти» (т. е. султану, Р. Г.). Мы осмеливаемся думать, что власть большевиков-ленинцев гораздо хуже власти турецкого султана, ибо в «программе» турецкого султана не было задачи искоренения всех религий, как таковых. Турецкие султаны не называли веру в Бога «труположством», как называл Ленин. Эту заповедь его исповедует вся КПСС (включая, конечно, и фактического управляющего делами Православной Церкви в СССР т. Куроедова).

Никакой турецкий султан не объявлял, как Ленин, что «всякая мысль о Боге есть чудовищная подлость!» Но тем не менее статья А. А. Боголепова была бы убедительна, если б в другом документе в этой же книге не были приведены высказывания о Московской Патриархии того же самого проф. А. А. Боголепова из его книги «Церковь под властью коммунизма» (Мюнхен, 1958). В этой своей книге А. А. Боголепов пишет, что принятая в Москве система «налагает яркий отпечаток на систему подбора личного состава священнослужителей Церкви и является одним из лучших опровержений ходячего утверждения, что Православная Церковь пользуется свободой внутреннего управления» (стр. 42). Далее Боголепов говорит, что Московская Патриархия неизменно «поддерживает основные политические цели коммунизма» (стр. 78). Стало-быть и искоренение религии тоже? И наконец А. Боголепов, на наш взгляд совершенно правильно, утверждает, что «преодолев раскол живоцерковников и обновленцев позднейшие руководители Патриаршей Церкви не могли найти иного выхода для сохранения ее, как переступив через переходные формулы Патриарха Сергия, принять в основе политические воззрения Живой Церкви» (стр. 79). Очень верно. Только читатель удивлен неувязкой этих взглядов проф. А. Боголепова с его теперешней защитой принятия автокефалии из рук именно вот этих «живоцерковников», «поддерживающих политические цели коммунизма».

Среди других документов в защиту «автокефалии» напечатано и «Послание» архиеп. Иоанна Сан-Францисского, но о нем мы предпочитаем не говорить, до того это «Послание» написано не только уж «не в духовном плане и не в духовном стиле», а просто, надо сказать, в бестактном стиле, с личными выпадами против неугодных автору лиц (А. Л. Толстая, С. С. Белосельский) и с такими выдуманными утверждениями, как, например: «Для Америки очень важен факт, что Экзархат Московской Патриархии прекращает свое существование в США». Откуда же это следует? Неужто только из того, что этот «Экзархат» переименовался в «Управление»? Но ведь в ведении этого «Управления» так и остались все те же патриаршие приходы в США (43!) и все патриаршие приходы в Канаде, которые согласно Томосу, «будут управляться Святейшим Патриархом Московским и всея Руси через посредство одного из его викарных епископов». Слепому ясно, что перемена тут только в названии. И утверждение архиеп. Иоанна

Сан-Францисского мы вынуждены признать действительности не соответствующим. Напротив, с «дарованием автокефалии» позиция Московской Патриархии в США чрезвычайно укрепилась и усилилась. Это «дарование» уже использовано и в международной, и в американской печати, и в международном, и в американском общественном мнении, как доказательство коммунистического «либерализма». А московские епископы уже начали не только сослужить епископам митрополии, но и выступать (в присутствии иерархов митрополии) с проповедями «о миротворческих усилиях нашей дорогой Родины», как уже выступал еп. Макарий. Это как раз то, что нужно ленинцу Куродову и компартии.

Прав был покойный первоиерарх митрополии Феофил, когда с амвона так говорил о московских посланцах: — «...Приехал сюда архиерей. Заявляю вам, дорогие, с этого святого места, что этот посланец пожаловал к нам, чтобы нарушить течение нашей жизни, уничтожить мир, внести раздор и смуту. Предупреждаю вас, что он будет рассказывать вам о благоденствии Церкви в России. Все это — неправда! Это — ложь! Не поддавайтесь обману этих лжецов. Никакого общения, дорогие братья и сестры, с чекистами быть не может!» (НРС, 8 авг. 1947 г.).

Так в 1947 году говорил первоиерарх митрополии Феофил. А вот, что сейчас говорит о политике Москвы по отношению к свободной русской православной церкви за рубежом, мученик, писатель по церковным вопросам, советский гражданин Б. В. Талантов, томящийся теперь не то в мордовских концлагерях, не то во владимирской тюрьме: — «Деятельность Московской Патриархии за границей является сознательным предательством Русской Православной Церкви и христианской веры. Но настанет время разоблачения предательской деятельности Московской Патриархии за границей, час суда над митрополитом Никодимом!» (см. «Вестник РСХД», № 89-90, 1969).

И это говорит настоящий мученик за свою веру, в то время как комфортабельно живущие в полной свободе за Западе, главные деятели по получению автокефалии из рук Никодима (с разрешения Куродова — т. е. партии!) получают за «автокефалию» всяческие награды. Отсылаю к стр. 170 отчетной книги: митрополит Ириней — титул «блаженнейшего», прот. А. Шмеман — сан протопресвитера, прот. И. Мейендорф — наперсный крест с украшениями, свящ. К. Фотиев — сан протоиерея с правом ношения золотого креста с украшениями (этот священник сопровождал митр. Никодима на Аляску). Архиепископ же Иоанн Сан-Францисский получил «право ношения бриллиантового креста на клобуке». Было бы хорошо, если б эти «золотые кресты с украшениями» и «бриллиантовые» были бы — от греха — проданы и вырученные деньги переведены для советских политзаключенных (верующих).

Заканчивая обзор книги «Автокефалия», хочу еще привести цитаты из «приветственного адреса» «Великому Вождю СССР генералиссимусу И. В. Сталину, в день его 70-летия». Подписан этот «незабываемый» по подхалимажу и лести адрес самим патриархом Алексием и 76 (!) архиереями, что достаточно говорит о той степени низкой сервильности, после которой в людях отмирает человеческое. «Нам особенно дорого то, что в деяниях Ваших, направленных к осуществлению общего блага и справедливости, весь мир видит торжество нравственных начал в противовес злобе, жестокости и угнетению, господствующим в отживающей системе общественных отношений... Как и все вообще интересы трудящихся, близки Вам и нужды верующих русских людей». К этой лжи и мерзости — не поднимается рука делать комментарии. «Приветственный адрес» цитирует А. Л. Толстая в своем письме об автокефалии (НПС, 24 дек. 1969), приведенном в книге.

В этой книге перепечатано, конечно, и первое Послание Вселенского Патриарха Афинагора о непризнании им автокефалии. Второе, такого же содержания, Послание опубликовано Вселенским Патриархом уже после выхода этой книги.

Было бы хорошо, если б Всеславянское изд-во выпустило и второй том документов, связанных с автокефалией, напечатанных, как в русских, так и в иностранных изданиях уже после выхода этой полезной во многих отношениях книги.

Роман Гуль

ІГОР КАЧУРОВСЬКИЙ. *Строфіка*. Інститут літератури ім. Михайла Ореста, Мюнхен, 1967, 355 стр.

Автор этой изяшно и любовно изданной книги, первой в украинской и одной из немногих в мировой стиховедческой литературе монографии о строфе, родился в 1918 году на Украине, но его книгам суждено появляться далеко за пределами родины. Так, отражая путь «перемещенного лица», его первый сборник стихов вышел в 1948 г. в Зальцбурге, а второй — уже в Буэнос Айресе в 1956 г. Но Качуровский не только украинский поэт и прозаик (его роман «Дорога незнакомца» и продолжение его — «Дом у обрыва» были изданы в Мюнхене с перерывом в десять лет — в 1956 и 1966 гг.). Его привлекает и преподавательская работа (в 1963-64 гг. он читал курс древней украинской литературы и церковно-славянского языка в Католическом университете Буэнос Айреса, а в 1968 г. прочел курс «Вступление к русской литературе» в другом университете этого же города).

В 1958 г. в столице Аргентины вышла его брошюра «Новелла как жанр», а, закончив «Строфику», он взялся за теоретический труд: «Стилистика», подготовив к печати работу «Славянское язычество» (на испанском языке).

Но этим не исчерпывается литературная работа Качуровского: он не только переводит испанских поэтов на украинский язык, но и составил «Антологию современных украинских поэтов» в русских переводах, частично опубликованную в журнале «Грани» (№ 42, 1959 г.).

Открывается отчетная книга кратким и ясным «Терминологическим справочником», а в конце ее подается библиография основных теоретических материалов, разбитых на три группы — на украинском, русском и испанском языках. Затем следует тщательно разработанный именной указатель и, наконец — краткие резюме на английском, французском, немецком и испанском языках.

Такая структура книги сразу подготавливает к тому, что автор не замкнется в пределах только украинской литературы и что, как говорит он сам в предисловии, «украинский стих в ней подан не изолированно, а на фоне общечеловеческой поэзии — как ее неотъемлемая и неразрывная часть».

В книге собран богатейший иллюстративный материал, опять-таки не только на украинском, но и на русском, белорусском и польском языках. При такой широте подхода книга Игоря Качуровского радует систематичностью и стройностью своего построения и простотой и ясностью изложения.

Этот свой труд И. Качуровский посвятил «памяти учителя и друга» проф. Бориса Исааковича Ярхо,* чьи взгляды положены в основу определения строфы.

Отчетная книга разделяется на четыре части: 1) Общие сведения о строфе, ее признаках и особенностях; 2) Простейшие строфы; 3) Канонизированные строфы; 4) Отдельные вопросы строфики.

В то время, как первые две части дают подробный и систематический разбор отдельных строф, всегда сопутствуемый исчерпывающими иллюстрациями, в третьей содержатся также и весьма интересные наблюдения общего порядка. Так, рассматривая строфы античного, романского и восточного происхождения (формальные признаки которых превратились в литературный канон), достигшие, как это отмечал В. Вейдле, наибольшего расцвета в русской поэзии в десятилетие, предшествовавшее Первой мировой войне, Качуровский подчеркивает, что развитие стихосложения в России не закончилось само по себе, а было прервано Октябрьской революцией. Качуровский говорит:

* Проф. Б. И. Ярхо (1889-1942), специалист по истории и теории литературы, талантливый переводчик. В 1915-21 гг. читал лекции в Московском университете. Позже был редактором издательства «Академия» по отделу средневековой литературы. Арестован во время разгрома издательства, находился в заключении, затем получил «минус восемь».

«Упадок строфики в СССР проявляется в таких фактах:

1. Вышли из употребления канонизированные строфы в русской литературе. В украинской — как исключение — сонету была оставлена жизнь вместе с Максимом Рыльским, но следует упомянуть, что при травле Рыльского ему ставили в вину и то, что он пишет триолеты...

2. Если раньше поэты охотно пользовались формой переводных произведений, то теперь иностранную строфу могут безукоризненно перевести, но никому и в голову не придет пользоваться ею в собственных поэтических произведениях.

3. Снижается стремление авторов изобретать новые строфы.

4. Из нескольких сот видов строф, бывших в общем употреблении, осталось не больше двух-трех десятков.

И все-таки канонизированные строфы не вышли из тайного употребления поэтов внутренней эмиграции, как мы можем утверждать на примере Ивана Елагина, среди ранних поэтических произведений которого мы найдем и сонет, и октаву, и газель, и терцину-акростих. В последнее время, когда появилась возможность передавать за границу подпольные произведения, среди них оказался и сонет» (стр. 114-115).

Чрезвычайно интересны, хотя для многих, несомненно, и спорны, страницы, посвященные разбору причин исчезновения не только канонизированных строф, но и вообще строф в произведениях современной мировой литературы. Игорь Качуровский считает, что в этом повинно прежде всего «расчеловечивание», идущее на Востоке путем прямого уничтожения всего, что есть лучшего в человеке, на Западе же — путем постепенного разложения религиозных, этических и эстетических ценностей. Он указывает, что на смену культу уродливого в искусстве, характерному для Бодлера и «Проклятых», пришел культ уродливого искусства, в связи с чем отменяются и все формальные достижения поэзии (стр. 122).

Третьей причиной, по мнению автора, является отказ от мистического восприятия источника творчества: поэт уже не считает, что его призвал «к священной жертве Аполлон». Свое собственное, гипертрофированное Я становится объектом творчества современных поэтов, уделяющих особенно много внимания области подсознания, в которой меньше всего света. В довершение всего, слово все больше отрывается от значения и нарочито затемняется.

Переходя к непосредственному рассмотрению канонизированных строф, И. Качуровский проявляет блестящую эрудицию, особенно в разделе «Сонет, его история и теория». К сожалению, размеры рецензии не позволяют подробнее остановиться на содержании этой интересной книги, свидетельствующей не только о глубоких специальных знаниях автора, но — в условиях эмиграции — о его поистине героическом труде.

Можно только пожелать, чтобы эта книга дошла не только до зарубежных читателей, но и заполнила пробел в подсоветской поэтике, возникший в результате похода против «формалистов», и все еще продолжающийся, несмотря на появление в последние годы работ Б. Томашевского, Г. Шенгели, Л. Тимофеева и других, в большей или меньшей мере посвященных вопросам стихосложения.

Татьяна Фесенко

НЕВЕРНЫЕ СВЕДЕНИЯ

(Вестник РСХД № 95-96)

«Вестник РСХД» — ценный журнал, который, мне кажется, нужно очень беречь, ибо за рубежом у нас скудна становится русская литература, и в особенности — серьезная, к которой и принадлежит «Вестник». К сожалению, в № 95-96 «Вестника» прозвучала несвойственная вообще ему нота какой-то «агитации». При чем в этой ноте редакция допустила напечатание сведений, действительности не соответствующих.

Так, в редакционной статье Никита Струве, говоря о кончине патриарха Алексия, пишет о нем так, как будто московский патриарх был человеком свободным. Упомянув о «темных страницах патриаршества, о безудержном славословии Сталина, о поддержке злодеяний советского правительства (Венгрия, Чехия)... о жалком молчании перед незаконным преследованием Церкви», Н. Струве вдруг говорит: — «однако, перед смертью патриарх Алексей успел подписать два указа, имеющие большое экклезиологическое и духовное значение: дарование автокефалии бывшей Русской Митрополии Северной Америки и т. д.» И Струве заключает, что «не всегда достойное патриаршество закончилось положительным актом».

Читатель — в некотором недоумении. Ведь Н. Струве — автор ценной, прекрасной книги «Христиане в СССР» (1963 г., на французском языке). В ней он писал: «Церковь снова в подполье, в катакомбах... В своих официальных актах Церковь не пробует больше бороться с гонением. Время мужественных выступлений, время открытого отлучения отступников от Церкви прошло... Современные руководители Церкви — по необходимости, расчету или хитрости — проповедуют подчинение... Церковь сознает себя живущей в Апокалипсисе». Стало быть ни патриарх, ни его ближайшее окружение ни в каких своих актах не свободны: ни в «поддержке злодеяний сов. правительства», ни в обвинении Америки в «бактериологической» войне, ни в даровании автокефалии. Поэтому о каких бы то ни было актах патриарха странно даже говорить. Автор книги «Христиане в СССР» знает лучше других, что это советской действительности не соответствует.

Дальше, защищая принятие митрополией от Москвы автокефалии, Н. Струве пишет, что на принятие автокефалии «особенно ополчились некоторые круги правой русской эмиграции». В наши дни трудно провести красную черту между «правыми» и «левыми». Но Струве заблуждается. В Америке против принятия автокефалии от Москвы высказываются люди самых разных политических взглядов. И наоборот, наиболее страстные сторонники автокефалии принадлежат именно к правым и даже «великосветским» кругам.

Третье неверное сведение. Н. Струве пишет, что в связи с дарованием автокефалии «количество юрисдикций в Америке убавилось на одну единицу». Это совершенно неверно. «Экзархат» переименовался в «Управление», но все патриаршие приходы, собор и все имущество так и осталось в руках Москвы. Те же несоответствующие действительности сведения в №95-96 повторяет и прот. Г. Беннигсен.

Плохо, что на страницах серьезного журнала допущены все эти неверности. Русские, живущие в Америке, разберутся сами, что правда и что нет. Но ведь журнал распространяется и в других странах (и даже проникает в СССР), где своими неверными сведениями он будет вводить читателей в заблуждение.

Недоумение вызывает и статья «Несколько слов о деле московских священников». Подписана она — Аркадьев (без всяких инициалов, что дает возможность предполагать, что это, вероятно, чей-то псевдоним). В этой статье Аркадьев, как будто, тепло говорит об известных священниках о. Н. Эшлимане и о. Г. Якунине, в свое время — в 1966 г. — восставших против неблагополучия во внутрицерковных делах и в отношениях между Церковью и государственными органами. За это, как известно, они были запрещены в служении. Аркадьев дает подробную биографию (и фотографию) обоих священников, что может дать только советский человек. С осуждением автор говорит о гонениях на Церковь во времена Хрущева. Но несколько неожиданно вдруг упрекает обоих священников — в чем? Да, оказывается, в том, что «они не сделали ни одного шага для того, чтобы примириться с Патриархией» — «с их стороны не была сделана попытка к примирению, что было бы, вероятно, единственным выходом». Таким образом получается, что «Вестник» статьей Аркадьева как бы «подталкивает» священников Н. Эшлимана и Г. Якунина на путь «примирения с патриархией». Я думаю, что из Парижа давать такие советы, живущим в Москве — не очень тактично. Уж если о. Н. Эшлиман и о. Г. Якунин в патриархию на примирение не идут, то, вероятно, они лучше знают, почему они туда не идут. Предполагаем, что «примиряться» тут ведь надо не с патриархией, а с чиновниками госбезопасности. Вот и не идут.

Правда, Аркадьев пишет: «что касается патриархии, то, конечно, неправы те, кто пытается представить ее как собрание людей бесчест-

ных и продажных». Конечно, «не судите, да не судимы будете». Но вот факт — уже четыре года как не идут в патриархию эти мужественные, честные священники, предпочитая нищенскую жизнь хождению к Никодиму.

Р. Г.

КНИГИ ДЛЯ ОТЗЫВА

- ИГОРЬ ЧИННОВ. *Партитура. Стихи*. Изд. «Нового Журнала». 1970.
 Др. М. КИТАЕВ. *Как это началось*. Изд. Архива РОА. Нью Йорк. 1970.
 В. ВИНОГРАДОВ. *Анна Ахматова. О символике, о поэзии*. Перепечатка с изд. 1922 и 1925. Изд. В. Финк. Мюнхен. 1970.
 Н. ГОРБАНЕВСКАЯ. *Стихи*. Изд. «Посев», Франкфурт. 1969.
 В. БРЮСОВ. *Мой Пушкин*. Перепечатка с изд. 1929. Изд. В. Финк. Мюнхен. 1970.
 ЛЕФ. *Журнал левого фронта искусств*. Ответ. ред. В. Маяковский. Перепечатка с изд. 1924. Изд. В. Финк. Мюнхен. 1970.
 Отец АЛЕКСЕЙ МЕЧЕВ. *Воспоминания. Письма. Проповеди*. Ред. Н. А. Струве. ИМКА Пресс. Париж. 1970.
 АСЯ. *18 стихов на иврит И. Замора*. Параллельный текст. Изд. Махбарот лесифрут. Израиль. 1969.
 ИОСИФ БРОДСКИЙ. *Остановка в пустыне*. Стихи и поэмы. Изд. имени Чехова. Нью Йорк. 1970.
 БОРИС ПИЛЬНЯК. *Былье*. Рассказы. Перепечатка с изд. 1922 г. Изд. В. Финк. Мюнхен. 1970.
 Р. ПЛЕТНЕВ. *А. И. Солженицын*. Изд. автора. Мюнхен. 1970.
 ЮРИЙ ИВАСК. *Золушка*. Стихи. Изд. «Мосты». Нью Йорк. 1970.
 ЗИНАИДА ШАХОВСКАЯ. *Перед сном*. Предисловие Г. Адамовича. Париж. 1970.
 М. ГЕРШЕНЗОН. *Мечта и мысль И. С. Тургенева*. Brown University Slavic Reprint VIII. Providence. 1970.
 С. ЗЕНЬКОВСКИЙ. *Русское старообрядчество*. Изд. В. Финк. Мюнхен. 1970.
 В. ЗЛОБИН. *Тяжелая душа*. Изд. В. Камкина. Вашингтон. 1970.
 Архимандрит АЛЕКСАНДР (Семенов-Тянь-Шанский). *Пути Христовы*. Проповеди и статьи. ИМКА Пресс. Париж. 1970.
 И. П. АВТОНОМОВ. *Обзор деятельности Сан-Францисского Отдела Русско-Американского Союза защиты и помощи русским вне России*. Сан-Франциско. 1970.
 А. ПОЗОВ. *Основы христианской философии. Часть I. Теория познания*. Мадрид. 1970.
 Н. ПОЗОВ. *Основы христианской философии. Часть II (диалектика)*. Мадрид. 1970.

- АВТОКЕФАЛИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ГРЕКО-КАФОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ (МИТРОПОЛИИ) АМЕРИКИ. Всеславянское изд. Нью Йорк. 1970.
- СОВРЕМЕННОСТЬ. *Журнал русской культуры и национальной мысли.* № 20-21. Торонто. 1970.
- СЕРГЕЙ КОСМАН. *Дневник Пушкина.* История одного преступления. Париж. 1970.
- ЛИТЕРАТУРНЫЕ МАНИФЕСТЫ. *От символизма к октябрю.* Том I. В. Финк. Мюнхен. 1970.
- С. ЗОРИН и Н. АЛЕКСЕЕВ. *Время не ждет. Наша страна находится на поворотном пункте истории.* 1970.
- Л. ДУДИН (Градобоев). *Великий мираж.* Материалы к истории освободительного движения народов России (1941-45). Выпуск 2. Изд. СБОНР. 1970.
- LAST DOOR TO AIYA. *A Selection of the new science fiction from Soviet Union.* Edited and translated by M. Ginsburg. S. G. Phillips. New York. 1970.
- WALTER N. VICKERY. *A. Pushkin.* Twayne Publishers, Inc. New York. 1970.
- GABRIELE SELGE. *Anton Tschechovs Menschenbild.* Fink Verlag. Muenchen. 1970.
- М. BULGAKOV. *The Life of Monsieur Molière.* Translated by M. Ginsburg. Funk and Wagnalls. New York. 1970.
- THE ULTIMATE THRESHOLD. *A Collection of the finest in Soviet Science Fiction.* Translated and edited by M. Ginsburg. Holt, Rinehart and Winston. New York. 1970.
- DIETRICH GERHARDT. *Gogol und Dostoevskij.* Fink Verlag. Muenchen. 1970.
- KATHARINA GEIB. *A. M. Remizov.* Fink Verlag. Muenchen. 1970.
- HILDEGARD SCHNEIDER. *Der fruehe Bal'mont.* Fink Verlag. 1970.

УКАЗАТЕЛЬ
СОДЕРЖАНИЯ 101 КНИГИ
«НОВОГО ЖУРНАЛА»
с 1942 года по 1970 год

ПРОЗА

- Адамович, Г.* — Начало повести, 85. Игла на ковре, 100.
- Алдамов, М.* — Политические рассказы: Фельдмаршал. Грета и танк, 1. Командировка Тамарина, 2. Реквием, 3. Истоки, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Астролог, 16. Повесть о смерти, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Бред, 38, 39, 40, 41, 42, 48.
- Альтшуллер, Г.* — Дело Тверитинова, 34, 44.
- Анатолій, А. (Кузнецов)* — Бабий Яр, 97. Артист миманса, 100.
- Андреев, Г.* — Два Севастьяна, 28. Трудные дороги, 42, 44, 47, 49. День гнева, 51. В дни короткого отпуска, 55.
- Андреевко, М.* — Мыши, 99.
- Бабель, И.* — Еврейка. Их было девять, 95.
- Белинков, А.* — Печальная и трогательная поэма о взаимоотношениях Скорпиона и Жабы, 92.
- Берберова, Н.* — Воскрешение Моцарта, 17. Плач, 20. Мыс бурь, 24, 25, 26, 27. Большой город, 32. Мыслящий тростник, 55. Черная болезнь, 58. Страшный суд, 69.
- Бондаренко, В.* — Исигона, 41.
- Бумаков, М.* — Багровый остров, пьеса, 93. Зойкина квартира, 97, 98.
- Бунин, Ив.* — Руся, 1. В Париже, 1. Натали, 2. Генрих, 3. Таня, 4. Чистый понедельник, 10. Речной простор. Дубки. Пароход "Саратов", 11. Мечь, 12. Галя Ганская, 13. Ловчий, 14. Происхождение моих рассказов, 53. Из литературного наследия И. А. Бунина, 57, 58. Записи, 61. Десятого сентября, 64. Портрет. "Когда я впервые", 66. Модест, Паломница, 67. Ривьера. Тучи, 68. Аля. Паломница, 69. Коренной. Лев, 70. Зимний сон, 71, Русь града взыскующая, 72. Сон

Цифры после названия произведений указывают №№ книг «Нов. Журн.». РЕД.

- Пресвятая Богородицы, 73. Запись, 75. Записи, 76. Лита, 77. Из записной книжки, 79. Записи, 80, 82. Безымянные записки, 84. Записи, 88.
- Варшавский, В.* — Первый бой, 14. Дневник художника, 31. Мечтание, 65.
- Вейдле, В.* — Бессмертная ошибка, 75. Равенна, 83. Урбино, 84. Три адриатических города, 89. Поездка в Аликанте, 99.
- Величковский, А.* — Сон в степи. У пруда. Иволги, 33. В поезде. Ярмарка, 35. Старики, 40. Неудачный день, 86. Таксист, 88.
- Гагарин, Евгений.* — Охота на гусей, 45.
- Газданов, Гайто* — Призрак Александра Вольфа, 16, 17, 18. Шрам, 21. Возвращение Буды, 22, 23. Пилигримы, 33, 34, 35, 36. Судьба Саломеи, 58. Панихида, 59. Из блокнота, 68. Письма Иванова, 73. Пробуждение, 78, 79, 80, 81, 82. Отрывки из романа, 92. Эвелина и ее друзья, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101.
- Гребенщиков, Г.* — В просторах Америки, 4, 5. Страшнее смерти, 6. В гостях у Полуярова, 8.
- Гречанинов, А.* — Лермонтов у спиритов, 31.
- Гузенко, Игорь* — Падение титана, 39.
- Гуль, Роман* — Конь рыжий, 14, 15, 16, 17, 19, 20.
- Р. Гуль и В. Тривас* — Товарищ Иван, пьеса, 92.
- Давыдов, К. Н.* — Тетеревиный ток, 70. Глухари, 71.
- Демин, М.* — Неудачник, 94.
- Евангулов, Г.* — Игра, 47.
- Ершов, Петр* — Нинель, 37, 38, 39.
- Жигалова, О.* — Любовь к Ильюхе, 7. Полустанок Васьково, 10.
- Зайцев, Борис* — Царь Давид, 11. Путешествие Глеба, 12, 13, 14, 15. Жуковский, 17, 19, 20, 21. Дерево жизни, 28, 29, 30. Чехов, 36, 37. Звезда над Булонью, 43. Разговор с Зинаидой, 55. Река времен, 78.
- Замятин, Евг.* — Атилла, 24. Мученики науки, 67. Африканский гость, пьеса, 73.
- Зуров, Леонид* — Ксана. Гуси-лебеди, 43.
- Иванчиков, Мих.* — Правила игры, 44. Заговор, 46. Лорд, 67. Искус, 74, 75. Чемпионат, 96.
- Иваск, Ю.* — Я уеду в Юкатан, 57.
- Ильинская, Н.* — Вовина весна, 56. Диана Вашингтонская, 68.
- Ишутина, Елена* — Нарым, 76, 77, 78.
- Калашников, Н.* — Не мир, но меч!, 1. Скакун, 7.

- Камышников, Л.* — Два портрета, 3.
- Кашин, А.* — Из племени Хан, 52. В стране дракона, 57. Похоть, 87.
- Керн, Христина* — Город А., 76. Патетическая симфония, 76. Сентябрь в Москве, 79. Дом на холме, 80.
- Кодрянская, Н.* — Земля русская, 1. Серафима, 10. Мария Безрадостная, 5.
- Корвин-Пиотровский, Вл.* — Рассказ пожилого человека, 34. Два рассказа: Признание. Измена, 57. Два рассказа, 60. Два рассказа, 62.
- Коряков, Михаил* — Море и тайга, 72.
- Косач, Юрий* — Талисман, 31.
- Костич, Е.* — Исповедь, 83.
- Красуский, Игорь* — Лоси, 29. Берлога, 32. Утренница, 46.
- Кригер, Мария* — Вечер в Сан-Франциско, 22.
- Кротков, Ю.* — Сталин, 86, 87. Святой мальчик. Засекреченная, 89. Рассказы о маршале Берия, 95, 97. Пифагор, 99.
- Кторова, Алла* — Кларка террористка, 63. Лицо Жар-Птицы, 73, 74.
- Кузнецова, Г.* — Попелуй свиданья, 36. Художник, 101.
- Лапикен, П.* — Соловей, 66.
- Луни, Л.* — Восстание вещей, киносценарий, 79. Путешествие на больничной койке, 90.
- Макаев, И.* — В усадьбе, 10.
- Максимов, Сергей* — Фома Погребцов, 62.
- Мани, Мендель* — Смерть “Короля Лира”, 77.
- Марголин, Ю.* — Галя, 33. Non omnis moriar, 35. Книга жизни, 81, 82.
- Мацкевич, Исиф* — Несознательные люди, 75.
- Мережковский, Д.* — Св. Иоанн Креста, 64, 65, 69.
- Набоков, В.* — Ultima Thule, 1. Другие берега, 37, 38.
- Нароков, Н.* — “Могу”, 42.
- Невский, Н.* — В окруженьи, 40.
- Неймирок, А.* — За океан, 27.
- Нижальский, Н.* — Фарт, 59. На Араксе, 61.
- Одоевцева, Ирина* — Год жизни, 35. Когда бушевала буря, 45.
- Осоргин, М.* — Времена, 1, 2. 3. 4. 5. Субботний поезд, 6.
- Пастернак, Борис* — Доктор Живаго. Глава “В дороге”, 54. Безлюбье, 62.
- Петровская, Т.* — Интеллигенция, 36.

- Петров-Скиталец, Е.* — Полет, 61.
Проза из СССР, 80.
Ремизов, Алексей — Магнит, 25. Камертон. Англичанин. Лягушник. Злые слезы, 27. В сырых туманах, 34. Тень ночи, 39. Плачужная канава, 48, 51, 56.
Ржевский, Л. — Человек, которому было все равно, 45. Два варианта, 50. Рябиновые четки, 55. Через пролив, 65. В бинокль, 69. Горячее дыхание, 75. Сольфа Миредо, 93. Монологи и паприка, 100.
Розанов, В. — Мимолетное, 92.
Рубисова, Е. — Мерка масштаба, 5. Белая республика, 8.
Санинян, Сурен — Ксения, 64. Философ, 66. Продажа, 68.
Сапронов, Анатолий — Революция, 66.
Свен, Виктор — Волк. Тим, 76.
Седых, Андрей — Гидра. Керчь, 5.
Солженицын, А. — Правая кисть, 93.
Солсбери, Х. — Дело Северной Пальмиры, 70.
Степун, Ф. — Ревность, 79.
Таубер, Е. — Возвращение, 48. У порога, 53. Сосны молодости, 59. Чужие, 70. Аннушка, 89.
Темирязев, Б. — Рваная эпопея, 59, 60, 61.
Тепер, В. — Вторая память, 23.
Толстая, Александра — Предрассветный туман, 1, 2, 3.
Толстой, А. Н. — Никита Шубин, 18.
Туроверов, А. — Непосланное письмо, 80.
Туроверов, Н. — Конец Суворова, 62.
Ульянов, Н. — Сириус, 43. Педро Иванович, 52. Солнца свет, 55. Сириус, 67. Последний, 78. Первого призыва, 82. Русская сказка, 85. Мантуанская ночь, 87. Сириус, 88, 90, 91, 92, 95. Мейне клейне, 99.
Федорова, Нина — Семья, 2. Мадам Бовари со станции Хинган, 3. Талант, 5. Темная совесть, 32.
Христианович, О. — Там, 2.
Чехонин, М. — Матильда, 27.
Чуковская, Лидия — Софья Петровна, 83, 84.
Шаламов, В. — Колымские рассказы, 85, 86, 89, 91, 96. Житие инженера Кипреева, 97. Надгробное слово, 100. Графит. Утка, 101.
Штейнфельд, П. — Кавказская степь, 63. За дрофами, 66.
Юрасов, С. — Страх, 41.

Яблоновская, Н. — Кролик Сивъ, 18. Чужбина, 72.
Яновский, В. — Портативное бессмертие, 6. Пол-пути, 9. Американский опыт, 12, 13, 14, 15, 18, 19. Болезнь, 44. Челюсть эмигранта, 49, 50. Заложник, 60, 61, 62, 63, 64.

СТИХИ

Адамович, Г. — Отрывок, 59. Из забытой тетради, 80. 86, 94, 96.
Алексеева, Л. — 28, 33, 37, 42, 44, 46, 48, 51, 53, 56, 60, 63, 68, 71, 83, 85, 90, 93, 95, 99, 101.
Алексина, О. — Стихи из СССР, 70, 71, 77.
Андреев, Д. — 101.
Анстей, Ольга — 22, 28, 48, 62, 70, 101.
Антонова, Елена — 7, 13.
Арсеньев, Н. — 20.
Бакунина, Е. — 11.
Балтрушайтис, Ю. — 12, 17.
Белоцветов, Николай — 24.
Берберова, Н. — 34, 46, 59, 67.
Бергер, Яков — 71, 72, 73, 75, 77, 85, 87, 90, 91, 92, 95, 97, 99.
Бернер, Николай — 34, 37, 43.
Биск, А. — 4, 13.
Боброва, Э. — 82.
Богатырев, К. — Из Р. М. Рильке, 96.
Де Босорб, Ю. — Стихи из тюрьмы, 81.
Браиловский, А. — 24, 30, 34, 35, 41.
Британ, П. — 3.
Бродский, И. — 95, 97, 98.
Брюсов, Валерий — 37.
Булич, В. — 70, 71.
Бунин, Ив. — 28, 34, 57, 58, 59, 60, 62, 69, 74, 87, 89, 91, 93, 98.
Васильковская, А. — 33.
Веббер, Н. — 7.
Вейдле, В. — 82, 86.
Величковская, Т. — 67.
Величковский, А. — 30, 34, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 61, 64, 68, 69, 75, 79, 81, 82, 90, 92, 95, 96, 100.
Волин, М. — 70.
Волкова, Мария — 53.
Волошин, Максимилиан — Дом поэта, поэма, 31, 39. Святой Се-
рафим, поэма, 72.

- Вольницева, Л.* — 76.
Габай, И. — 97.
Гершельман, К. — 31.
Гингер, Александр — 46, 47, 57, 80.
Гиппиус, Зинаида — 28, 30, 37, 39, 64, 66, 80.
Глинка, Глеб — 33, 49, 69, 82, 85, 86, 87, 89, 91, 92, 94, 99, 100.
Голохвастов, Г. — Святая могила, 9.
Горская, А. — 24, 42, 47.
Гребнев-Файнберг, Л. — 5.
Гумилев, Н. — 8.
Джанумов, Ю. — 26.
Дороганов, Михаил — 52.
Душорова, Наталия — 47.
Дукельский, Вл. — Из американских поэтов, 81. Из Р. Фроста, 82.
Евангулов, Г. — 52, Кентавр, поэма, 57, 91.
Евсеев, Николай — 20, 51.
Елагин, Иван — 22, 26, 29, 34, 41, 43, 48, 55, 58. Лыдина, 66. 67, 68, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101.
Железнов, М. — 2, 5, 16, 21.
Забезинский, Г. — 35.
Злобин Вл. — 28, 29, 30, 32, 33, 36, 37, 41, 45, 50, 63, 66, 69, 73, 76, 84, 86, 88.
Иванов, Вячеслав — 61. Из “Римского дневника 1944 года”, 69, 89. Из Микель-Анджело, 100. 101.
Иванов, Георгий — 22, 25, 31. Дневник, 33. Дневник, 38. Дневник, 42. Дневник, 44. Дневник, 48, 50. Дневник, 51. Дневник, 54. Посмертный дневник, 55. Посмертный дневник, 56. Посмертный дневник, 58. Посмертный дневник, 59, 61, 63.
Иваск, Ю. — 19. Афон, 73. 82, 89, 92, 96, 100.
Иждина, К. — 7.
Ильин, М. — 18.
Ильинский, Олег — 28, 30, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 60, 64, 66, 70, 74, 79, 83, 88, 92, 94, 96, 99, 100.
Ильяшенко, В. — 17.
Карелин, Ю. — 8.
Кленовский, Д. — 22, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 49, 52, 55, 57, 61, 63, 65. 68, 69, 77, 78, 85, 86, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 98, 99, 100. 101.

- Клюев, Николай* — Плач о Есенине, поэма, 35. Заозерье, поэма, 35.
- Кнорин, Ирина* — 13.
- Корвин-Пиотровский, Вл.* — Бродяга Глюк, поэма, 32, 36, 40, 41, 42. Заклинанья, 44. Золотой песок, поэма, 46. Стихи о России, 49. Поражение, поэма, 53, 55, 58. Калифорнийские стихи, 65. Стихи о звездах, 67, 69, 70, 72, 77, 79.
- Крачковский, Дм.* — 15.
- Кригер, М.* — 17, 20, 24.
- Кроткова, Х.* — 6, 23.
- Крыленко, Елена* — 5.
- Кузнецова, Галина* — 18, 27, 80.
- Кучеров, С.* — 7.
- Лакман, Гизелла* — 14. Из Эмили Дикинсон, 68.
- Легкая, Ираида* — 31, 33, 34, 39, 41, 45.
- Лисицкая, А.* — 14.
- Лифтон, С.* — 57, 58.
- Ляпин, В.* — 56, 62.
- Маковский, С.* — 32, 36, 40, 59.
- Марков, В.* — 23. Гурилевские романсы, 25.
- Матвеева, Е.* — 94.
- Можайская, О.* — 59, 69.
- Моршен, Николай* — 21, 29, 36, 37, 42, 49, 60, 62, 66, 67, 70, 72, 82, 83, 85, 88, 89, 91, 93, 96, 98, 100.
- Набоков, В.* — 2, 3, 7, 10, 15, 46.
- Неизвестный* — Стихи о Камчатке, 76.
- Неймирок, А.* — 26.
- Одарченко, Юрий* — 19, 27, 28, 29, 32, 36, 39, 40, 43, 45, 49.
- Одоевцева, Ирина* — 36, 37, 38, 40, 41, 43, 45, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 60, 61, 63, 64, 65, 70, 76, 78, 80, 90, 93, 95, 97, 100, 101.
- Опалов, Л.* — 2, 4, 6, 8.
- Остроумова Татьяна* — 1, 3, 5, 9, 10.
- Оцуп, Николай* — 32.
- Панин, Г.* — 87.
- Перелешин, В.* — 84, 88, 91.
- Песни-стихи из СССР* — 84.
- Померанцев, К.* — 32, 65, 67, 74, 76, 79, 81, 84.
- Поплавский, Б.* — 101.
- Прегель, София* — 1, 2, 4.
- Присманова, Анна* — 46, 57, 80.

- Раевский, Георгий* — 11, 15, 75.
Раннит, Алексис — 64, 68, 74, 78, 81, 84, 87.
Ростовский, А. — 69.
Рубисова, Е. — 11, 14, 24.
Савинков, Б. В. — 52.
Северянин, Игорь — 44, 73, 83.
Славина, Кира — 2, 13, 44.
Смоленский, Влад. — 16, 19, 23, 29, 30, 40, 57, 64, 67.
Сологуб, Федор — 4.
Софиев, Юрий — 6.
Стихи из СССР. — 69, 71, 80. О царе Никите, 81.
Страннык — 62, 72, 75, 80, 84, 86, 88. Упразднение месяца, поэма, 90, 93, 95, 97, 100.
Страховский, Л. — 24, 57.
Струве, Г. — 7, 11, 16, 18, 20.
Таубер, Е. — 15, 21, 22, 28, 32, 41, 43, 50, 51, 58.
Терапиано, Ю. — 4, 5, 6, 11, 16, 29. Ганийский блогнот, 84.
Тимашева, Татьяна — 10, 13, 17, 20, 27.
Толстая Мария — 1, 2, 4, 6, 36, 39.
Троцкая, Зинаида — 13.
Трубецкой, Ю. — 41, 49, 50, 51, 52, 53, 58.
Туроверов, Александр — 58.
Туроверов, Николай — 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 61, 65, 74, 76, 77, 81, 87, 89, 91.
Ундер, Мария — Переводы Л. Алексеевой и И. Северянина, 73.
Успенская, К. — 4.
Фатъянов, П. — 40.
Фет, А. — 89.
Франкфурт, К. — 1.
Форитетер, М. — 61.
Хаимсон, С. — 13.
Петлин, М. — 1, 3.
Цветаева, Марина — Максимилиану Волошину, 33. 74.
Червинская, Лидия — 28.
Чехонин, М. — 16, 21, 24. Индейские мотивы, 66.
Чиннов, Игорь — 23, 26, 32, 34, 40, 43, 49, 52, 54, 57, 59, 72, 75, 77, 79, 80, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 98, 99, 100.
Шаховская, Зинаида — 8, 94, 96, 98, 100.
Шидловский, Вяч. — 50, 53.

- Шиманская, А.* — 28.
Шишкова, Аяля — 45.
Шувалова, Е. — 15, 18, 21, 28.
Элиот, Т. С. — Поэмы. Перевод Н. Берберовой, 68.
Юрасов, С. — Сегежская ночь, поэма, 27.
Юрлова, Н. — 85.
Яблоковский, Сергей — 11, 13, 18.
Яковлев, Г. — 13, 18.
Яковлева, Л. — 32.
Ян Рубан, А. — 14.
Ясен, Ирина — 11.

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

- Адамович, Г.* — Наследство Блока, 44. Наши поэты. Георгий Иванов, 52. О чем говорил Чехов, 58. Наши поэты. Ирина Одоевцева, 61. Оправдание черниковиков, 76, 81, 90.
Адсон, Артур — Об эстонской прозе, 70.
Алданов, М. — О Бунине, 35.
Александрова, В. — Проблема свободы в советской литературе, 2. Первая военная зима в России, 4. Командиры Красной Армии, 6. Обзор советских журналов за 1943 год, 7. Советская современность в зеркале исторического романа, 8. По советским журналам, 9. Театр во время войны, 10. По советским журналам, 11. И. А. Бунин. К 75-летию, 12. Советская молодежь 40-х гг., 13. Встреча с Европой, 15. Тридцатилетие советской литературы, 17. Белинский и наша современность, 19. “Несогласные граждане”, 21. Советские журналы за 1951 год, 28. Советская литература после XX-го съезда КПСС, 46. К сорокалетию советской литературы, 51. Тургенев в Америке, 56. Прошлое сегодняшними глазами, 84.
Арбатский, Ю. — О Бородине, 68.
Белинков, А. — Ю. Олеша в газете “Гудок”, 100.
Берберова, Н. — Набоков и его “Лолита”, 57. Великий век, 64. Ключи к настоящему, 66. Фон Додерер и его романы, 67. Советская критика сегодня, 85, 86.
Бельий, А. — Предисловие к “Котику Летаеву”, 101.
Берлин, П. — Русская литература и евреи, 71.
Бертенсон, Сергей — На страже искусства старины, 6.
Биншток, Г. — Бальзак как социолог, 23.
Браун, К. — Тайная свобода Осипа Мандельштама, 80.
Булич, Вера — Финские поэты, 78.

- Бурназельский, Н.* — Хартия вольностей, 36.
- Вайнтрауб, В.* — Литература независимой Польши, 32.
- Варшавский, В.* — Незамеченное поколение, 41. Заметки о прочитанном, 74.
- Вейдле, В.* — Последняя любовь Тютчева, 18. Три предсмертья. Стендаль, Гейне, Бодлер, 28. О религиозном корне русского искусства, 33, 35. О ранней прозе Пастернака, 64. Похороны Блока, 65. Ходасевич издали-вблизи, 66. О смысле стихов, 77. Поглядев назад, о Пастернаке, 98. О двух искусствах: вымысла и слова, 100.
- Гавроцкий, В.* — Толстой о Шекспире, 91.
- Газданов, Гайто* — О Чехове, 76. Памяти А. Гингера, 82.
- Галич, Леонид* — Реализм Достоевского, 13.
- Гершельман, К.* — Тема “тайной свободы” у Пушкина, 22.
- Глинка, Глеб* — На путях в небытие. О советской литературе, 35.
- Глэд, Д.* — Возрождение антиутопии в произведениях А. и Б. Стругацких, 98.
- Гольдштейн, Д.* — Переделка писем Достоевского, 65.
- Гобман, М. Л.* — Клевета о Достоевском, 38. Проблема сумасшествия в творчестве Пушкина, 51.
- Гуль, Роман* — Цветаева и ее проза, 37. Георгий Иванов, 42. Победа Пастернака, 55. Об “Оттепели” Эренбурга, 40. А. Солженицын, соцреализм и школа Ремизова, 71. Ценные книги, 73.
- Дениже, Ю.* — Гамлет 1947, 15.
- Добужинский, М.* — О творчестве Фокина и о работе с ним художника, 6. Историческая выставка портретов, 42.
- Домогацкий, Борис* — Н. А. Малько, 66.
- Дынный, А.* — Женские портреты у молодого Куприна, 91.
- Елагин, Ю.* — Мейерхольд и Коммиссаржевская, 37.
- Ершов, П.* — Стилизация и музей на сцене. Символические пьесы Ф. Сологуба и А. Ремизова, 54. “Анатэма” Леонида Андреева, 57. Толстой-драматург, 63. Символическая лирика на сцене, 67.
- Забезинский, Г.* — О Сергее Клычкове, 29.
- Завалишин, Вяч.* — XIX-й съезд партии и “рецидив буржуазного декаданса” в литературе, 33. Артём Веселый, 53. Николай Заболоцкий, 58. Борис Зайцев (к восьмидесятилетию), 63. Гумилев как прозаик и критик, 94.
- Замятин, Евг.* — Москва-Петербург, 72. О сюжете и фабуле, 75. О языке, 77.

- Зензинов, В.* — Иван Алексеевич Бунин, 3. По советским журналам, 8. По советским журналам, 10.
- Зеньковский, В. прот.* — Эстетические воззрения Вл. Соловьева, 47. Л. Толстой как мыслитель, 61.
- Злобин, Вл.* — З. Н. Гиппиус. Ее судьба, 31. Гиппиус и черт, 86.
- Зуров, Леонид* — “Тамань” Лермонтова и “L’Orcos” Ж. Занд, 66. Герб Лермонтова, 79.
- Иванов, Вячеслав* — Мысли о поэзии, 69.
- Иваск, Ю.* — О послевоенной эмигрантской поэзии, 23. “Подлипки” К. Леонтьева, 40. Батюшков, 46. Баратынский, 50. Бодлер и Достоевский, 60. Волшебные звуки, 75. Фет, 84. Случевский, 79. Поэты двадцатого века, 91. Цветаева-Маяковский-Пастернак, 95. Н. Гумилев. Г. Иванов, 98. Бунин, 99.
- Ильинский, О.* — О поэме А. Белого “Первое свидание”, 90.
- Иоани, Архиепископ Сан-Францисский* — О поэме М. Волошина “Святой Серафим”, 72.
- Каннак, Е.* — Неизвестная пьеса Чехова, 44.
- Карлинский, С.* — Вещественность Анненского, 85. Оперная драматургия Равеля, 94
- К-ий, А.* — О Качалове, 41.
- Клубуковский, Ю.* — Трое Толстых, 43.
- Коварская, Вера* — Искусство на островах Океании, 13. Пути живописи в современной России, 15. Искусство у индейцев Северной Америки, 17. Американские нео-примитивы, 20. Американское кустарное искусство, 27.
- Коджак, А.* — Шифр Пушкина, 101.
- Кодрянская, Н.* — Ремизов о самом себе, 52.
- Конский, А.* — Бернгард Беренсон, 34.
- Коряков, Михаил* — Великий перелом, 31. Заметки об американской литературе, 35. Подстриженный Версаль, 40. Литературная Москва, 49. Термометр России, 55. Афиногенов и Пастернак, 56.
- Косач, Юрий* — Украинская литература в эмиграции (1925-1950), 28.
- Кох, Е.* — Марианна Веревкина, 80.
- Кохановский, Г.* — История янтарной комнаты Царскосельского Екатерининского дворца, 33.
- Крутич, В.* — Аполлон Григорьев, 89.
- Кузмиц, Л.* — Елена Ган, забытая писательница, 72.

- Ледницкий, Вацлав* — “Польская поэма” Блока, 2, 3. О прозе Пушкина, 21. Л. Н. Толстой, 63.
- Лосский, Н.* — “Война и мир” Толстого и “Доктор Живаго” Пастернака, 61.
- Луни, Лев* — Последняя статья Льва Лунца, 81.
- Лурье, Артур* — Линии эволюции русской музыки, 9. Вариации о Моцарте, 67. О мелодии, 69. О музыкальной форме, 82. Наш марш, 94.
- МакВэй, Г.* — Советские поэты о С. Есенине (анкета), 100.
- Маковский, С.* — Вячеслав Иванов в России, 30. Вячеслав Иванов в эмиграции, 31. К. Случевский, предтеча символизма, 59.
- Мансветов, Вл.* — О советской художественной прозе, 1.
- Марков, В.* — Мысли о русском футуризме, 38. Моцарт, 44.
- Мацкевич, Иосиф* — О “сказочном” времени, 67.
- Менский, Р.* — Н. А. Клюев, 32.
- Метнер, Н. К.* — Мысли о музыке, 47.
- Мочульский, К.* — Александр Добролюбов, 32. Юность Валерия Брюсова, 54.
- Набоков, В.* — Заметки переводчика, 49.
- Нароков, Н.* — Чехов-общественник, 48. Два Чацких, 53. Оправдание Обломова, 59.
- Натова, Н.* — Провидец нашей современности, 97.
- Небольсин, А.* — “Поэзия пошлости”, 101.
- Одоевцева, Ирина* — О Николае Моршене, 58. О “Ремизове” Натальи Кодрянской, 61.
- Ольховский, А.* — Творческий путь С. Прокофьева, 34.
- Обросимов, Ю.* — Против течения, 61. Памяти поэта (Корвин-Пиотровский), 84. Рифмованные догадки, 88.
- Павин, Геннадий* — Об акrostихе, 87. О русском акrostихе, 88.
- Палмусс, Темира* — Зинаида Гиппиус и Сергей Есенин, 83.
- Первушин, Н.* — Письма А. Ф. Достоевского, 98. Н. Н. Страхов — жертва “достоевщины”, 99.
- Петровская, Тамара* — Об восточной поэзии, 66. “Перепись литературного населения”, 91.
- Плетнев, Ростислав* — “Отец Сергей” и Четьи-Минеи, 40. Преображение мира. Природа в творчестве Достоевского, 43. Об одном чешском поэте, 60. О животных в творчестве М. Ю. Лермонтова, 65. Негош, Пушкин и Мицкевич, 68. О портретном искусстве писателей, 80. Три речи о Пушкине, 83.

- О лирике Тютчева, 85. Время и пространство у Достоевского, 87. О "Мастере и Маргарите", 92.
- Поляков-Литовцев, С.* — Залман Шнеур. К 40-летию литературной деятельности, 4.
- Померанцев, К.* — Добро и зло у Солженицына, 95.
- Раннит, Алексис* — Рильке и славянское искусство, 70. Мария Ундер, 73. О Вячеславе Иванове и его "Свете вечером", 77.
- Ржевский, Л.* — Подлинное и заказанное, 29. Об одном образе в романе "Война и мир", 82. Пилатов грех, 90. Творческое слово у Солженицына, 96. Тайнописное в послеоктябрьской литературе, 98.
- Ростов, В.* — Раковый корпус, 94.
- Роу, В.* — О символике А. Белого, 88.
- Сабанеев, Л.* — Стравинский, 50.
- Сатина, С.* — С. В. Рахманинов, 91.
- Седуро, В.* — Истоки белорусского искусства, 36. Достоевский как создатель полифонического романа. Бахтин о форме романа у Достоевского, 52.
- Слоим, М.* — Роман Пастернака, 52. О Марине Цветаевой, 100.
- Смирнов, И.* — Жан Поль и Гоголь, 101.
- Степун, Федор* — Б. Л. Пастернак, 56.
- Струве, Г.* — Незданные стихи Гумилева, 8. Три судьбы (Блок, Гумилев, Сологуб), 16, 17. Писатель ненужных тем. Творческая судьба Юрия Олеши, 25. Новые варианты шигалевщины, 30.
- Тарасов, Сергей* — Возможный автор "Слова о полку Игореве", 39.
- Татищев, Н.* — Поэт в изгнании. Борис Поплавский, 15.
- Таубер, Ек.* — "Розы или рожь", 64.
- Террас, В.* — "Грифельная Ода" О. Мандельштама, 92. "Фигура фикции" и "фигура факта", 97.
- Трубецкой, Н. С.* — О методах изучения Достоевского, 48. О двух романах Достоевского, 60. Ранний Достоевский, 61. О втором периоде творчества Достоевского, 71. О "Записках из подполья" и "Игроке", 77. Творчество Достоевского перед каторгой, 78.
- Ульянов, Н.* — Об историческом романе, 34. После Бунина, 36. Еще об историческом романе, 37. Застигнутый ночью, 39. По Испании, 40. Арабеск или Апокалипсис, 57. Д. Кленовский, 59. Алданов-эссеист, 62. О сути, 89. На гоголевские темы, 94. Мистицизм Чехова, 98.

- Федотов, Г.* — Христианская трагедия, 23.
- Фесенко, А. и Т.* — Язык войны и послевоенного периода, 36.
- Филиппов, Б.* — Николай Клюев, 19.
- Фогельман, Л.* — Шолом Алейхем, 59.
- Фолеевский, З.* — М. Домбровская и русская литература, 87.
- Цетлин, М.* — Балакирев, 1. Юный Мусоргский, 2. В зените (“Борис Годунов”), 9. Конец Мусоргского, 4. Стасов и “Могучая кучка”. “Замерзание” Балакирева, 5. Глинка, 6. О критике, 53.
- Чернов, Виктор* — Стихия скитальчества у корифеев русской литературы, 4. Два полюса духовного скитальчества (Лев Толстой и Глеб Успенский), 5. А. П. Чехов. К 40-летию смерти, 7. Литературные мытарства Чехова, 10. Чехов и Суворин, 11.
- Чехов, Михаил* — Мысли об искусстве актера, 2. Театр умер! Да здравствует театр!, 101.
- Чехонин, Михаил* — Ворон, 68.
- Чижевский, Д.* — Неизвестный Гоголь, 27. Три книги о Гоголе, 41. Шиллер в России, 45. Выставки русских художников в Европе, 53. О поэзии футуризма, 73. Стихотворения и поэмы К. Случевского, 74. Что такое реализм?, 75. Две родословных Гоголя, 78. О литературной пародии, 79.
- Чиннов, И.* — Поздний Мандельштам, 88.
- Чугунов, Т.* — Кто он?, 86.
- Чуковская, Л.* — Ответственность писателя и безответственность “Литературной Газеты”, 93.
- Шик, А.* — Гоголь в Ницце, 12. Осенняя любовь Дениса Давыдова, 22.
- Шиллев, Е.* — Аполлон Григорьев — критик, 93. “Лагерный язык” по произведениям А. Солженицына, 95.
- Шмеман, А., прот.* — Анна Ахматова, 83.
- Эджертон, В.* — История одной буквы, 89.
- Юрьева, Зоя* — Новолуние. О поэзии Казимира Вежинского, 33. И. Анненский о Гоголе, 45. О творчестве Иосифа Витлина, 47. Ремизов о Гоголе, 51.
- Яблоновский, Сергей* — Качалов и Москвин, 17.
- Яссер, Иосиф* — Мысли об искусстве и творчестве, 5. Прогрессивные тенденции в творчестве Рахманинова, 6.

ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ

- Авьерино, Н.* — Из моего прошлого, 7. А. Г. Рубинштейн, 14. Из

- воспоминаний о С. В. Рахманинове, 18.
- Адамович, Г.* — Мои встречи с Алдановым, 60. Table talk, 64, 66.
- Алексеев, Н.* — В бурные годы, 53, 54, 55, 57.
- Алексинская, Т.* — 1917 год, 90, 91, 92, 94.
- Алтышуллер, И.* — Воспоминания о Толстом, 2. Еще о Чехове, 4.
- Анненков, Юрий.* — Об Александре Блоке, 47. Воспоминания о Ленине, 65. Троцкий, 67. Мейерхольд, 72.
- Аронсон, Г.* — Московские зимы, 10. Англичане в Москве, 11. Эпизоды февральской революции, 14. Записки провинциального журналиста, 61.
- Арсенидзе, Р.* — Из воспоминаний о Сталине, 72.
- Б., В.* — Из встреч и разговоров, 14.
- Бабкин, Б. П.* — И. П. Павлов. Главы из биографии, 9. Политические взгляды И. П. Павлова, 12.
- Бармин, А.* — Академия генерального штаба, 3.
- Баулер, А.* — Воспоминания о М. П. Драгоманове, 8.
- Белинков, А.* — А. Солженицын и больные ракового корпуса, 93.
- Белобородов, А.* — Работа во дворце кн. Ф. Юсупова, 70. В Академии Художеств, 73.
- Бенца, Александр* — Письма, 62.
- Берберова, Н.* — М. О. Петлин, 24. Конец Тургеневской библиотеки, 63. Курсив мой, 87.
- Бергер, Иосиф* — Из тюремных воспоминаний, 74.
- Березов, Родион* — По советской провинции, 33.
- Бертенсон, Сергей* — Из писем М. В. Добужинского, 53. Письма О. Л. Книппер-Чеховой, 57. В. И. Немирович-Данченко в Холливуде, 60.
- Бинсвангер, Л.* — Воспоминания о С. Л. Франке, 81.
- Богданович, А.* — Я гражданин Ленинграда, 21, 22.
- Бочарникова, М.* — Бой в Зимнем дворце, 68.
- Брешковская, Катерина* — 1917-й год, 38. Ранние годы, 60. Как я ходила в народ, 62.
- Букиник, Мих.* — Рассказ о художнике В. Э. Борисове-Мусатове, 9. Мои воспоминания о П. И. Чайковском, 28.
- Бунин, Ив.* — К моему завещанию, 66. Переписка с ребенком, 76.
- Бургина, А.* — Неизданные письма Софьи Ковалевской, 44.
- Бурцев, В. Л.* — Воспоминания, 69.
- Бутенко, В.* — Возвращенка, 21.
- В. В.* — Письма Пастернака к Жаклине де Пруаяр, 80.

- В., Б. И.* — Граница зла, 18.
- Валентинов, Н.* — Встречи с Андреем Белым, 45, 46, 47, 49. Суть большевизма в изображении Ю. Пятакова, 52. Шесть лет в газете ВСНХ, 74, 75. Встречи с М. Горьким, 78. Беседы с Г. В. Плехановым, 79. Ленинец раньше Ленина, 81. Встреча с Б. Савинковым, 85.
- Варецкий, Д.* — Маршал В. К. Блюхер, 27.
- Вендзягольский, К.* — Савинков и Керенский, 65. Савинков, 68, 70, 71, 72.
- Вернадский, Г.* — Братство “Приютино”, 93, 95, 96, 97. Из воспоминаний, 100.
- Винавер, Р. Г.* — Вожди кадетской партии, 10.
- Витов, Н.* — Рассказ латышского крестьянина, бежавшего из СССР, 34.
- Вишницер, М.* — Как я занимался русской историей, 53.
- Вишняк, М.* — Владислав Ходасевич, 7. “Современные Записки”, 20. З. Н. Гиппиус в письмах, 37.
- Воинов, Н.* — Беспризорники, 26, 27, 28, 29, 30, 31.
- Врангель, Л.* — “Русское Богатство” и “Мир Божий”, 69. Воспоминания об А. И. Куприне, 71.
- Вышеславцев, Б.* — Мои дни с К. А. Коровиным, 40.
- Гамин, Н.* — Пик Сталина, 67.
- Гапанович, И.* — Революция на Севере, 89. На юге Китая в годы войны, 94. В революцию — на фронте, 101.
- Гарви, П.* — 1917-й год, 87.
- Гершензон, М. О.* — Письма к В. Ф. Ходасевичу, 60.
- Гершун, Б.* — Воспоминания адвоката, 43.
- Гессен, И. В.* — Из воспоминаний, 5.
- Гиевский, Н.* — Из театральных воспоминаний, 10.
- Гиппиус, Зинаида* — Он и мы. Главы из воспоминаний о Д. С. Мережковском, 23, 24, 25. Серое с красным, 33. Дневник 1933 г. (публик. Т. Пахмусс), 92.
- Горький, Максим* — Письма к В. Ф. Ходасевичу, 29, 30, 31. Письма к Леониду Андрееву, 55. Письмо к американке, 79. Письма к Лунцу, 97.
- Гофман, М. Л.* — Петербургские воспоминания, 43.
- Гречанинов, А.* — С. И. Танеев, 3. Добрыня Никитич, 5.
- Грин, М.* — Письма М. Алданова к И. А. и В. Н. Буниным, 80, 81.
- Гумилева, А.* — Николай Степанович Гумилев, 46.
- Давыдов, А. В.* — Каменка, 23. М. М. Пришвин, 68.

- Дадина, Л.* — Максимилан Волошин в Коктебеле, 39.
Далин, Д. — Дело Кравченко, 83.
Дан, Л. — Бухарин о Сталине, 75. Встречи с В. Н. Фигнер, 98.
Дейкарханова, Тамара — Московский Художественный Театр, 20.
 “Дело” крымских татар, 97.
Дело Солженицына, 94.
Деникина, К. — Страницы из дневника, 20.
Дерюжинский, Г. — В Академии Художеств, 13.
Добужинский, М. — Круг “Мира Искусства”, 3. О Художественном Театре, 5. Встречи с писателями и поэтами, 11. Новгород, 15. Петербург моего детства, 21. Деревня, 26. Из воспоминаний, 52. Служба в министерстве, 71.
Документы по “делу” А. Солженицына, 93.
Дынный, А. — В СССР перед войной с Гитлером, 79.
Евреинов, Н. — О “Кривом Зеркале”, 35.
Елагин, Ю. — “Театр имени Вахтангова”, 26. Жизнь московских актеров, 28.
Ермолов, Ив. — Начало индустриализации Абхазии, 31.
Ершов, В. подполк. — Репатриация, 32. Работа НКВД в госпиталях во время войны, 37.
Жуков, Евг. — Последние дни Дахау, 41.
Зайцев, Бор. — М. О. Цетлин, 14. Давнее, 61. Другая Вера, 92, 95, 96, 98, 99.
Замятин, Евг. — Встречи с Б. М. Кустодиевым, 26.
Зензинов, В. — Февральские дни, 34, 35.
Зубов, В., гр. — Страницы воспоминаний, 61.
Зуров, Леонид — Литературное завещание И. А. Бунина, 66. Воспоминания, 69. Дон Аминадо, 90.
Иванов, В. И. — Письма к В. Ф. Ходасевичу, 62.
Игнатьев, гр. П. Н. — Совет министров в 1915-16 гг., 8, 9.
Извольская, Е. — После разгрома, 2.
Икс — Послание из СССР на Запад, 78, 79.
Ильин, И. С. — Революция, 56. Комуч, 65. Омск. Директория. Колчак, 72, 73. На службе у японцев, 80, 82, 84, 85. Советская армия в Харбине, 96.
Ипатьев, В. — Воспоминания о М. Горьком, 3. Наука в современной России, 5.
Иренин, К. — В Хибинах, 68.
Каннак, Е. — С. Ковалевская и М. Ковалевский, 39.

- Кауфман, Л.* — Мой отец — Шолом Алейхем, 66.
- Керенский, А.* — Накануне Версаля, 11. Моя жизнь в подполье, 84.
- Кленовский, Д.* — Поэты Царскосельской гимназии, 29.
- Кокوشкина, В. и Гуаданини, И.* — Ф. Ф. Кокوشкин, 74.
- Коряков, Михаил* — Костел панны Марии, 16. Панихида, 15. В советском посольстве, 17. Вне закона, 18. 16 октября, 20, 21. Мой ровесник из Калифорнии, 25.
- Кошенова, Т.* — Будни советской женщины, 35.
- Кошко, А.* — О деле Бейлиса, 91.
- Кромиади, К.* — Советские военнопленные в Германии в 1941 году, 32. Последний рейд, 90, 91.
- Кузнецова, Г.* — Грасский дневник, 74, 76.
- Кульман, М.* — Русские подвижницы за рубежом, 87.
- Кускова, Ек.* — Давно минувшее, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 54.
- Левитин, А. и Шавров, В.* — Очерки по истории русской церковной смуты, 85, 86, 87, 88.
- Ледницкий, В.* — Вокруг В. А. Маклакова, 56.
- Либерман, С.* — Народный комиссар Красин, 7.
- Ло Гатто, Этторе* — Воспоминания о Ключеве, 35.
- Луни, Л. и "Сератионовы братья"* (публикация Гари Керна), 82, 83.
- Маклаков, В.* — Канун революции, 14. Ф. И. Родичев и А. Р. Ледницкий, 16.
- Маковский, Сергей* — Николай Гумилев по личным воспоминаниям, 77.
- Манухин, И.* — Воспоминания о 1917-18 гг., 54. Революция, 73. С. Боткин, И. Мечников, М. Горький, 86.
- Манухина, Т.* — Монахиня Мария. К десятилетию со дня кончины, 41.
- Марголин, Ю.* — История одного разочарования, 18.
- Марков, В.* — Et ego in Arcadia, 42.
- Микулич, И.* — Савинков и Опперпут, 75.
- Милоков, П.* — Студенческие годы, 42. Дневник, 66. 67.
- Мильтон, Е.* — Воспоминания о поэте Н. М. Минском, 91.
- Мороз, В.* — Репортаж из заповедника имени Берия, 93.
- Муромцева-Бунина, В. Н.* — Отроческие годы И. А. Бунина, 53. Беседы с памятью, 59, 60, 62, 63, 64. То, что я запомнила о Нобелевской премии, 67.

- Н. Н.* — Дневник разочарованного коммуниста, 64.
Наголовский, А. (А. Н.) — Леонид Красин, 82. Ленин, 88. Троцкий и др., 90.
Неведомская, Вера — Воспоминания о Гумилеве и Ахматовой, 38.
Неизвестный — Находка в тайге, 84.
Нижальский, Н. — “Кавказский пленник”, 60. Рыбий Бог, 62.
Новиков, Вл. — Встреча с советскими подданными во Франции, 12.
Новиков, Вяч. — Мои адвокатские воспоминания, — 55.
Оболенский, В. А. — Под итальянской оккупацией, 18.
Одиных, Б. — Высшая школа в 1918-22 гг., 65.
Одоевцева, Ирина — На берегах Невы, 68, 71, 72, 74, 75.
Орлов, Вл. — Из записок гвардейского политработника, 22, 23.
Ос, Александр — По лесам и лагерям Суоми, 30.
Павлова, Н. — Киев, войной опаленный, 27, 28.
Панина, С. В. — На Петербургской стороне, 48, 49.
Пастернак, Б. и Союз Советских Писателей (стенограмма), 83.
Пастернак, Л. — Из записок, 69, 77.
Петров, В. — Из воспоминаний, 19.
Петров-Скиталец, Е. — Об отце, 63.
Письма Ан-ского, 87, 89.
Письма писателей (Бердяева, Мочульского, Горького, Есенина, Куприна), 95.
Рассытанный набор (письма И. Бунина), 86.
Письма М. Горького к И. Добровейну, 99.
Письма московского писателя Ю. В. Мальцева, 93.
Письма С. В. Рахманинова, 97, 99.
Письмо русского историка об “обновленчестве”, 94.
Письма К. Федина к Е. Замятину (публик. Г. Ермолаева и А. Шейна), 92.
Погорелова, Б. — Валерий Брюсов и его окружение, 33. “Скорпион” и “Весы”, 40.
Поздняков, В. — Сов. агентура в лагерях военнопленных в Германии, 101.
Поздняков, В. и Каров, Д. — “Республика” Зуева, 29.
Показания В. Чернова по делу Азефа в следственной комиссии партии с.-р., 100, 101.
Рахманинова, Н. — С. В. Рахманинов, 100.
Романов, Борис — Павлова и Нижинский, 50.

- Сазонова, Ю.* — Письма Рейнер Мария Рильке, 5. Владимир Соловьев, 10.
- Седых, Андрей* — Бальмонт, 55. М. А. Алданов, 64. Бунин, 65.
- Семенов-Тянь-Шанский, В.* — П. П. Семенов-Тянь-Шанский, 76.
- Степун, Ф.* — Москва накануне войны 1914 года, 26. Москва и Петербург накануне войны 1914 года, 27. Россия накануне войны 1914 года, 36. В русской провинции, 37.
- Страхова-Эрманс, В.* — Воспоминания о Шаляпине, 34.
- Струве, Петр* — М. В. Челноков и Д. Н. Шипов, 22.
- Таубер, Е.* — Годы дружбы с М. Ивановичевым, 96.
- Толстой, М. Л.* — Мои родители, 93, 94, 95.
- Туров, Н.* — Заместитель А. Н. Туполева, 96. Встреча с Абакумовым в тюрьме НКВД, 98. "Парилка", 99. С. Орджоникидзе и замдиректора Краматорского комбината, 101.
- Ульянов, Н.* — Курмасцеп, 100.
- Фесенко, Т.* — Живой как жизнь (письма К. Чуковского), 100.
- Фондан, Б.* — Разговоры с Львом Шестовым, 45.
- Франк, С. Л.* — Письмо к Г. П. Федотову, 28.
- Ходасевич, Владислав* — Письмо к М. Вишняку, 7.
- Цветаева, Марина* — Письма к Роману Гулю, 58. Письма к Г. П. Федотову, 63. Письма к В. Ходасевичу, 89.
- Церетели, И.* — Российское крестьянство и В. М. Чернов в 1917 году, 29. Накануне июльского восстания, 50, 51, 52. Воспоминания о февральской революции, 68, 69.
- Цитрон, И.* — В. Г. Короленко под судом, 56.
- Чернов, Виктор* — "Волга, Волга, мать родная...", 22.
- Чехов, Михаил* — Жизнь и встречи, 7, 8, 9, 10, 11.
- Чуковский, К. И.* — Два письма. (Публ. Г. Струве), 101.
- Шаблэ, Морис* — В доме предварительного заключения НКВД, 16, 17.
- Шавельский, Г. протопресвитер* — Вел. князь Николай Николаевич, 32. Николай II в ставке, 34.
- Шаховская, Зинаида* — Марина Цветаева, 87.
- Шейнис-Чехова, Л.* — Тургеневская библиотека, 94.
- Шнееров, М.* — Воспоминания об Азефе, 46.
- Штетта, К.* — В плену коммунизма, 57. Ежовщина, 58, 59, 60.
- Шуб, Д.* — Из давних лет, 98, 99, 100, 101.
- Эмигранты у Богомолова* (запись речей), 100.
- Ярмолинский, А.* — Есенин в Нью-Йорке, 51.

ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА

- Авксентьев, Н.* — Россия в войне, 1.
Авторханов, А. — Ленин и ЦК в октябрьском перевороте, 100.
ЦК против плана Ленина о восстании, 101.
Адамович, Г. — На полях брошюры А. Д. Сахарова, 96.
Алданов, М. — Убийство Троцкого, 1.
Андреев, Г. — Иные времена, 45.
Анин, Д. — Французская компартия, попутчики и Жан-Поль Сартр, 33. Перспективы и внутренние противоречия большевизма, 36. Проблема “дебольшевизации”, 46. О советском бонапартизме, 51. Франция на распутье, 54. Новая эра, 75. Что принять, что отбросить, 77. Вожди уходят, проблемы остаются, 78. Об особенностях двух революций, 80. Русская революция и либерализм, 81. Советы и международное положение, 82. Юбилейные размышления, 85. К 50-летию Октября, 89. Юбилей “величайшей мистификации”, 91. Пражские уроки, 93. Израиль и арабы, 95
Антисимов, О. — Советское поколение, 22. Коммунизм и послевоенная Европа, 24. Большая стратегия советской внешней политики, 44. От Маркса к Павлову, 52.
Аронсон, Г. — Социализм в наши дни, 17. Советский антисемитизм после войны, 32. Е. Д. Кускова, 37. Из истории фальсификаций в СССР, 55. С. М. Дубнов, как историк, 64. Большевики и меньшевики, 83.
Арсеньев, Николай — Потемкин-Таврический, 18. Князь С. Н. Трубецкой, 29.
Аскольдов, С. А. — Кто виноват?, 72.
Бердяев, Н. — Третий исход, 32. Выдержки из писем к г-же Х., 35, 36. Из записной тетради, 43. Духи русской революции, 79. Из записной тетради Н. А. Бердяева, 85.
Берлин, П. — Руссификация интернационализма, 12. Русские мыслители и евреи, 70. Достоевский и евреи, 83.
Билимович, А. — Объединяющаяся Европа, 69.
Биниток, Г. — О смысле истории, 21.
Боголепов, А. — Государственная Дума, 46.
Бондаренко, В. — Заметки о высшей школе в СССР, 25.
Бурцев, Вл. — Азеф и генерал Герасимов, 63.
Бурьякикин, П. — Филипп — предшественник Распутина, 40.
Вайт, Д. — Военное обучение в школах СССР, 90.

- Вакар, Н.* — Христианская революция?, 3. П. Н. Милоков в изгнании, 6.
- Валентинов, Н.* — Трагедия Г. В. Плеханова, 20. Чернышевский и Ленин, 26, 27. Ранние годы Ленина, 36. Ленин в Симбирске, 37. Выдумки о ранней революционности Ленина, 39. Ранние годы Ленина, 40. Превращение Вл. Ульянова в Ленина, 41. Встреча Ленина с марксизмом, 53. О предках Ленина и его биографиях, 61. От НЭП'а к сталинской коллективизации, 72. О людях революционного подполья, 73. Ленин в Казани и Самаре, 80. О русском мессианизме, 90.
- Варшавский, В.* — Заметки о прочитанном, 68, 70.
- Васильев, С.* — Великая железнодорожная держава, 26. Ответ Ю. Маркову, 31.
- Вейнбаум, М.* — Япония и Соединенные Штаты, 2.
- Вельмин, А.* — Русское население в Польше во время немецкой оккупации, 14.
- Вернадский, Г. В.* — Повесть о Сухане, 59. Из древней истории Евразии: Хунну, 62. Человек и животный мир в истории России, 68. Усть-Цилемские рукописные сборники, 70. Милоков и месторазвитие русского народа, 77. П. Н. Савицкий, 92.
- Верховской, С., проф.* — О Гоголе, 66.
- Вышиняк, М.* — Россия, Европа и мир после войны, 1. Правда антибольшевизма, 2. На родине — на чужбине, 5. Американские затруднения, 6. О "советской цивилизации", 8. Международный билль, 9. Сан-Францисская хартия, 11. Соблазн патриотизма, 13. Из тридцатилетнего далека, 15. Вышинский, 17. Свобода и социализм, 23. Израиль. Из впечатлений, 26. Идейные корни большевизма, 27. Оправдание народничества, 30. О социализме, неосоциализме и неолиберализме, 34. О Вышинском, 39. Право убежища, 41. Пересмотр устава ООН, 42. Об общественном мнении в СССР, 43. Мемуарист, историк, политик, человек в "Воспоминаниях" П. Н. Милокова, 44. Перечитывая Хрущева, 46. Вторжение в Египет, 47. Сорок лет, 48. Через сорок лет, 50. Большевики и Учредительное Собрание, 52. К истории Февральской революции. По поводу книги Оливера Радки, 54. Устой демократии в свете новой французской конституции, 55. Заключительное слово, 57. Ревизия социализма, 58.
- Войтинский, В.* — После победы, 7.

- Волин, С.* — Смоленские документы, 55.
- Вышеславцев, Б.* — Ответ моим критикам, 38.
- Вульф, В.* — Крупская чистит библиотеки, 99.
- Гальперин, А.* — Мир после войны, 2.
- Игумен Геннадий* — Элементы теории познания в антропологии св. Фомы Аквинского, 96. Триадиическая философия И. Говнэ-Вронского, 97. Смысл истории, 99. Метаполитика народов, 101.
- Геннер, Б.* — Маркс и Россия, 32.
- Гинс, Г.* — Мир перестраивается, 3. Россия и Америка, 8. Переволпощение Петербурга, 28. Церковь и война, 43. О возможностях предвидения и будущем России, 63. Временное правительство и большевизм, 88.
- Годин, В.* — Проблема и внутренние противоречия послесталинского большевизма, 41.
- Гольденвейзер, А.* — Три программы американской внешней политики, 6. Президентские выборы, 9. Русский юрист в эмиграции, 84.
- Градобоев, Н.* — Состав Верховного Совета СССР, 30. Некоторые итоги XIX-го съезда, 31. Записки Пеньковского, 84.
- Грегуар, Анри* — Византиноведение в Советской России, 12.
- Григоренко, П.* — Соккрытие исторической правды — преступление перед народом!, 96.
- Гринфельд, Ю.* — Произвол работодателей в СССР, 73. Экономическое соревнование СССР с свободными странами, 78.
- Гуль, Роман* — Двадцать пять лет, 87. Книга Светланы. 88. Светлана и неандерталы, 97. Сотая книга, 100. М. Е. Вейнбаум, 101.
- Гурджиян, Г.* — О советской торговле, 31.
- Давыдов, А.* — Декабристы и крестьянский вопрос, 59.
- Давыдов, К. Н.* — А. О. Ковалевский, 51.
- Далин, Д.* — Коминтерн в войне, 1. Красная армия, 4. Советская сфера безопасности, 6. Как Россия оборонялась, 14. Пять лет советской империи, 23. Пути и зигзаги революции, 32. Американская политика и Россия, 36.
- Дешюв, Б.* — Пораженчество и власовцы, 39. Ленинский Интернационал, 56. Назад к Ленину?, 59. Л. Мартов (Ю. О. Цедербаум), 63.
- Двойченко-Маркова, Е.* — Американское философское общество и Россия, 36, 42.

- Декстер, Ч.* — Вероятное перерождение капитализма по взглядам Б. Ижболдина и Дж. Галбрайта, 101.
- Денике, Ю.* — Можно ли спасти Европу?, 2. Гитлеровская война, 3. Размышления о власти, 5. Революция без термидора, 7. Чем будет Франция?, 9. Защита цивилизации, 12. Новая идеологическая политика, 19. Новые источники и их критика, 24. Как открыть Россию, 27. Социализм и хозяйственная демократия, 34. К истории власовского движения, 35. Два года без Сталина, 40. Проблемы коллективной диктатуры, 45. Два кризиса, 47. К вопросу о советской эволюции, 48. Кризис тоталитаризма, 49. Переворот 29-го июня, 50. Джилас о коммунизме, 51. Политический кризис Франции, 55. Партия без идеологии?, 57. Вместо комментария, 59. К диагнозу современного кризиса, 61. На темы дня, 63. Труд порабощенной мысли, 65. Из европейских впечатлений, 66. За фасадом 22-го съезда, 67. Купеческая семья Тихомировых, 68. Десять лет спустя, 71. Воспоминания И. Г. Церетели, 76.
- Добровольский, А.* — Фиктивные и действительные закономерности, 44.
- Дорошенко, В.* — Жизнь и деятельность М. Драгоманова, 71.
- Зак, А.* — Америка после войны, 9. Действительность и возможности в американо-русских экономических отношениях, 16. Возможна ли депрессия в США?, 18. Атомная политика США, 20. Новые тенденции в американской экономике, 54.
- Закутин, Лев.* — О “третьей экономике”, 75. Бердяев как экзистенциалист, 80. О метафизике и “первой философии”, 83.
- Занкевич, Е. X.* — Владимир Соловьев как публицист, 33.
- Зензинов, В.* — Трифоно-Печенгский монастырь, 1.
- Зеньковский, В. прот.* — Черты утопизма в истории русской мысли, 42. Миросозерцание И. С. Тургенева. К 75-летию со дня смерти, 52. Памяти Гоголя. К 150-летию со дня рождения, 58. Мифология в науке, 66.
- Зеньковский, С.* — Россия и турки, 46.
- Зернов, В.* — Из глубины, 88.
- Иванов, А.* — Наука в Сов. Союзе, 86. Конец “рыночного социализма”, 93. Новое об экономическом значении личного хозяйства при социализме, 95. Биология и идеологическая борьба, 74. О возможностях аграрного НЭП’а, 82. Миграционные процессы в СССР, 100.

- Иванов, В.* — Советский строй и мы. Записки советского интеллигента, 13.
- Иванов, Вячеслав* — О дневниках Т. Л. Сухотиной, 32.
- Иванович, Ст.* — Кризис социалистического сознания, 1. “За что кровь проливали?”, 4.
- Иванцов, Д.* — Агрономы на производстве, 39. Последний удар по колхозам, 43. Назад к сословному строю?, 51. Легенды о советской деревне, 62. О сельскохозяйственных затруднениях в СССР, 68. Сближение кооперативно-колхозной собственности с общенародной, 72.
- Извольская, Елена* — Духовный фронт французского “сопротивления”, 10.
- К., М.* — Россия и ее западные союзники, 7. Послевоенные проблемы, 9.
- Карпович, М.* — П. Н. Милюков как историк, 6. Заключительный период войны, 8. Послевоенные проблемы, 9. После победы, 10. О смысле международного кризиса, 14. Америка, Россия и Европа. (О доктрине Трумана и плане Маршала), 16. Разрушение иллюзий, 18. Наши задачи, 21. Русский империализм или коммунистическая агрессия, 25. Комментарии: 1) По поводу статьи Дж. Кеннана, 2) О подходе к национальным проблемам в России, 26. Комментарии: 1) Споры о народничестве и марксизме, 2) Кто виноват в торжестве большевизма?, 27. Комментарии: 1) Эмиграция и культура, 2) Эмиграция и политика, 28. Комментарии: 1) Цена революции, 2) Две демократии, 29. Комментарии: 1) По поводу американских выборов, 2) Еще о “цене революции”, 31. Комментарии: В поисках “третьего исхода” (о статье Н. Бердяева), 32. Комментарии: 1) После Сталина: в России, 2) После Сталина: на Западе, 33. М. И. Ростовцев и А. А. Васильев, 34. Комментарии: 1) По поводу книги Б. П. Вышеславцева, 2) Несколько мыслей об историческом романе, 35. Комментарии: 1) Философия случая, 2) Философия компромисса, 37. Комментарии: 1) Америка и ее союзники, 2) О сосуществовании, 38. Комментарии: По поводу статьи Б. Двинова, 39. Комментарии: 1) На новом этапе, 2) Об эмигрантской политике, 41. Комментарии: 1) Что же дальше?, 2) Еще об эмиграции, 42. Комментарии: 1905 год — пятьдесят лет спустя, 43. Комментарии:

1) Постскрипtum к статье О. Анисимова, 2) К нашим читателям, 44. Комментарии: 1) О русском мессианизме, 2) Достоевский, Белинский, Шиллер, 45. Комментарии: О воспоминаниях Ф. А. Степуна, 46. Комментарии: М. А. Алданов и история, 47. Комментарии: О Феврале, 48. Комментарии: 1) К спору о Достоевском, 2) О формальном методе в литературоведении, 3) Проблема свободы творчества в советской России, 52. Комментарии: 1) О трудностях западного мира, 2) О трудностях Советского Союза, 3) Перспективы, 4) Два постскриптума, 53. Комментарии: Еще о русском мессианизме, 54. К друзьям и читателям “Нового Журнала”, 57, 58. Два типа русского либерализма, 60.

Кеттан, Д. — Америка и русское будущее, 26.

Керенский, А. — Передышка, 1. О границах и о прочем, 7. О революции 1917 года, 15. Два октября, 17. Как это случилось?, 24.

Константинов, Д., прот. — Подтверждение неопровержимого, 84.

Кочаловский, Д. — Советские вузы и студенчество, 90.

Кошелев, И. — Идея свободы — в русском народе, 81.

Кротков, Ю. — Письмо мистеру Смигу, 86. Д. Д. Т., Инженеры человеческих душ, 88. Самоубийства советских писателей, 91.

Кулишер, Е. — Н. П. Карабчевский, 31.

Курганов, И. — Национальная проблема в России, 25.

Кускова, Ек. — Трагедия Максима Горького, 38.

Кучеров, С. — Правовой режим космического пространства и СССР, 67. Судебная реформа Александра II, 78.

Левицкий, С. — Вл. Соловьев и Достоевский, 41. Н. Н. Страхов. Очерк его философского пути, 54. Толстой и Шопенгауэр, 59. Этюды о скуке, 71. Экзистенциальный диалог, 75. Место Н. О. Лосского в русской философии, 79. Против духоморов и духоморства, 82. О метафизическом легкомыслии, 89. Классические доказательства бытия Божия и современная философия, 91.

Ледницкий, В. — Почему Пушкин не окончил “Египетские ночи”, 90.

Лесной, С. — Культура и “полуинтеллигенция”, 86.

Ловцкий, Г. — Философ библейского откровения, 85.

- Лосский, Н.* — В защиту Влад. Соловьева, 33. Какой идеал противопоставить коммунизму?, 37. Мысли Н. А. Бердяева о значении человека, 44.
- Маклаков, В.* — Перед второй Думой, 12. Еретические мысли, 19, 20.
- Максимович, Е.* — Эпоха Николая II, 98.
- Марголин, Ю.* — Куда идет Израиль, 31. Проблема еврейского национализма, 41. Интеллигенция в лагере, 62. Антифилософ, 99.
- Марков, Ю.* — О советской железнодорожной политике, 30.
- Мацкевич, Посиф* — Польша под Россией и под коммунизмом, 53.
- Мельгунов, С.* — Рыцарь свободы. К 100-летию со дня смерти декабриста Лунина, 13, 14. Осада Зимнего дворца, 17.
- Мережковский, Д.* — Что сделал Паскаль?, 87.
- Милуков, П. Н.* — Положение накануне войны, 6.
- Мишалов, Ю.* — Хозяйственный эксперимент, 89. Мировая революция и коммунизм, 91. Наука и идеология, 94.
- Нароков, Н.* — Старые мехи, 62. Русский язык “там”, 71.
- Некрасов, В.* — В. И. Верпадский, 61. Московские чудаки, 64.
- Нижалский, Н.* — Эволюция Павлова, 65.
- Николаевский, Б.* — Внешняя политика Москвы, 1. Смещение фельдмаршала Браухича, 2. Внешняя политика Москвы, 3. 4. Советско-японское соглашение, 5. Революция в Китае, Япония и Сталин, 6. За вапу и нашу волюность, 7. Революция в Китае, Япония и Сталин, 8. Как Япония пришла к войне, 11, 12. Советская каторга на Колыме, 15. Пораженческое движение 1941-45 гг. и ген. А. А. Власов, 18, 19. Новый поход против деревни в СССР, 24. Поражение Хрущева, 25.
- Новиков, М.* — П. А. Лебедев. К 200-летию юбилею Московского университета, 40. Русские эмигранты в Праге, 49.
- От редакции,* 93. С. Г. Пушкарев, 96.
- Павлов, К.* — Шолохов и КПК, 90. О новом уставе компартии Китая, 96. К проблеме советско-китайских отношений, 98. Политика Москвы и Пекина в Азии, 100.
- Пантелеев, И.* — Письмо о последнем Бердяеве, 22.
- Петров-Скиталец, Е.* — Кронштадтский тезис сегодня, 59.
- Петрунжевич, А.* — “Завещание Петра Великого”. История и авторы этого подлога, 23.
- Первушин, Н.* — Легенда, фреска, икона, 91.

- Пирожкова, В.* — Германия на переломе, 86. Человек в тоталитарном государстве, 87. Германия и “Европа от Урала до Атлантики”, 89. Германия на наклонной плоскости, 100.
- Плетнев, Р.* — Н. Ф. Федоров и Ф. М. Достоевский. Из истории русского утопизма, 50. Новая попытка перевода “Слова о полку Игореве”, 94. Спор о происхождении русского литератур. языка, 98. О циклах русской истории и литературы, 100.
- Поливанов, М.* — Земство и демократия, 67. Русский социализм и русское земство, 58.
- Полторацкий, Н.* — Проф. Н. С. Тимашев о путях России, 84.
- Поляков-Литовцев, С.* — Действительность и перспективы, 1. Мелодии еврейского быта, 9.
- Померанцев, К.* — Во что верит советская молодежь?, 78.
- Пушкарев, С.* — Россия и США, 88. Октябрьский переворот 1917 года без легенд, 89. Николай и Александра, 93. О Победоносцеве и о панславизме, 97. Ленин и США, 100.
- Пушина, Е.* — Женщина-работница в СССР, 51.
- Реймерс, Н. А.* — Логика смысла и логика истины, 69.
- Робинзон, Я.* — Судьба европейских евреев, 4.
- Сатина, С. А.* — Московские Высшие женские курсы, 75. Образование женщин в дореволюционной России, 76.
- Солнцев, К.* — В преддверии орфографической реформы, 22. Граф Д. И. Милютин и его “дневник”, 51. О новом издании Ключевского, 63.
- Соловейчик, С.* — О сепаратистах, 1. Пангерманизм, 3.
- Сорокин, П.* — Причины войны и условия мира, 7.
- Сречинский, Ю.* — Компартия и крестьянство, 89.
- Станка, Владас* — Мрак и свет экзистенциализма, 34. В. С. Войтинский, 61.
- Станкевич, В.* — *Noto gaudens*. Радость, как источник цивилизации, 24.
- Стенун, Ф.* — Родина, отечество и чужбина, 43. Г. П. Федотов, 49. Москва — Третий Рим, 60. Россия между Европой и Азией, 69. Вера и знание в философии С. Л. Франка, 81.
- Тан, Л.* — Запечатленный язык, 23.
- Таубе, М.* — Иоганн Таубе, советник царя Ивана Грозного, 71.
- Тимашев, Н. С.* — Сила и слабость России, 2. Война и религия в Советской России, 5. О целях войны, 6. После Москвы и Тегерана, 7. Перестройка Советского Союза, 8. Мысли о послевоенной России, 10. Противоречия во внешней поли-

- тике СССР, 11. Плановое хозяйство и демократия, 13. Три победителя или один?, 15. Обречена ли Россия?, 17. Население послевоенной России, 19. Пути послевоенной России, 22. Советское право в американском освещении, 26. Окаменение коммунистического строя, 30. На карательном-террористическом фронте, 33. В защиту промышленной культуры, 35. Очернение Сталина, 45. Две идеологии. Мысли о современном положении в России, 53. Реформы в советском уголовном праве, 56. М. М. Карпович, 59. Вместо комментария, 60. Ломка советской школы, 62. Вместо комментария, 63, 64. Сталинский террор и перепись 1959 года, 65. Судьбы России, 66. Три мнения о России, 68. Два юбилея, 69. На правильном ли пути Америка?, 71. Новое об антирелигиозной политике, 73. Три книги о П. А. Сорокине, 74. О сущности советского государства, 76. Московские суды в наши дни, 78. Как я стал социологом, 85. Как возникают войны, 90. Научное наследство П. А. Сорокина, 92.
- Троянов, Т. И.* — Новый уголовный кодекс РСФСР, 64. Коллективный договор в СССР, 73.
- Тыркова-Вильямс, А.* — Ф. И. Родичев, 38. Русский парламентарий, В. А. Махлаков, 52.
- Ульянов, Н.* — Культура и эмиграция, 28. Комплекс Филофея, 45. “Патриотизм требует рассуждения”, 47. Тень Грозного, 74.
- Унбегаун, Б.* — Происхождение русского литературного языка, 100.
- Федотов, Г.* — Новое на старую тему. К современной постановке еврейского вопроса, 1. Новое отечество, 4. Загадка России, 5. Как бороться с фашизмом, 6. Рождение свободы, 8. Россия и свобода, 10. Запад и СССР, 11. Между двух войн, 14. Судьба империй, 16. Народ и власть, 21. Две статьи, 43. Об утопии Данте, 47.
- Фесенко, А. и Т.* — Характерные особенности русского языка последнего десятилетия, 89.
- Фесенко, Татьяна* — Производство ненависти, 29.
- Филипп, В.* — Б. Г. Унбегаун, 94.
- Франк, С.* — Ересь утопизма, 14. Письмо Г. П. Федотову, 28.
- Херасков, Ив.* — Общество благородных, 14. Ленинец середины прошлого века — Эрнест Кэрдура, 17.
- Ц., М.* — Власть и война, 8.
- Чернов, Виктор* — Антисемитизм немецкий и русский, 2. К рус-

- ско-польским отношениям. Разрыв ПСР и ППС накануне первой мировой войны, 28.
- Чижевский, Дм.* — Три книги о русской философии, 30. Баадер и Россия, 35. Речь о Степуне, 75. Новое в истории русской культуры, 82. Эвгемеризм в старославянских литературах, 92.
- Чугунов, Т.* — Всеобщая декларация прав человека и диктатура КПСС, 84.
- Шварц, С.* — Демографическое лицо России, 8. “Большая Волга”, 13. Двадцатый съезд КПСС, 44.
- Шестов, Лев.* — Лютер и церковь, 54.
- Шефтель, М.* — Памяти А. А. Экка, 52.
- Шик, А.* — Первопечатник Федоров, 76.
- Шжман, А., прот.* — Церковь, государство, теократия, 59.
- Шойер, И.* — Социология Н. С. Тимашева, 75.
- Шпилевой, П.* — Добыча радия в Советском Союзе, 54.
- Штаммлер, А.* — Ф. А. Степун, 82.
- Шуб, Д.* — Германский вопрос и немецкие социалисты, 4. Бакунин, Нечаев и Ленин, 55. Ленин и Вильгельм II, 57. Европейский социализм и советский коммунизм, 66. О социализме наших дней, 76. Три биографии Ленина, 77. Социалисты и первая мировая война, 80. Мемуары А. Ф. Керенского, 84. “Купец революции”, 87. Мартов и Ленин, 94.
- Эмиграция и советская власть*, 10, 11.
- Эрге.* — Неправда разума. К годовщине смерти Льва Шестова, 54.
- Юрьевский, Е.* — О “великих стройках” и “преобразовании природы”, 29. О последнем труде Сталина и его источниках, 31. О С. Н. Прокоповиче, 42.
- Ясный, Н.* — Ахиллесова пята колхозной системы, 14. Начало второго послесталинского 10-летия в сельском хозяйстве, 76.

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

- А.* — Второй фронт. Три года войны. Три месяца, 4.
- Александрова, В.* — Под прожектором войны, 5. Художественная проза в эмиграции (Зайцев, Пантелеймонов, Жигалова), 21.
- Арбатский, Юрий* — Humanitas Negroica, 64.
- Аронсон, Г.* — Отражения войны, 1, 4, 6. “Парижский вестник”. Прогитлеровский орган на русском языке, 18.
- В.* — Колыма, 71.

- Белинков, А.* — Посмертная публикация, 99.
- Берберова, Н.* — О дне ареста Н. С. Гумилева (Письмо в редакцию), 85.
- Бергер, И.* — О И. А. Пятницком (Тарсисе), 93. От большевизма к православию, 98.
- Билимович, Александр* — О бюллетене русской зарубежной печати, 65.
- Браиловский, Александр* — Предисловие к поэме М. Волошина “Дом поэта”, 31. О произведениях Н. С. Калашникова, 43.
- Вельмин, А.* — Американская помощь голодающим в Киеве, 59.
- Вишняцер, М.* — Евреи в Советском Союзе, 27.
- Вишняк, М.* — Для истории. 34.
- Восьмидесятилетие Б. К. Зайцева.* (Редакция), 63.
- Глэд, Д.* — Советские граффити, 98.
- Гофман, М. Л.* — По поводу истории академического издания сочинений Пушкина, 39. Новая книга о балете, 40. Существует ли неизданный дневник Пушкина?, 43. По поводу книги “50 лет Пушкинского дома” (1905-1955), 53.
- Гурвич, А.* — О И. Добронейне, 99.
- Давыдов, А.* — “Государственные банкиры”, 37.
- Дыблик, А.* — Советская критика о А. И. Куприне, 96.
- Евреинова, А.* — Записи под чертой, 40.
- Ельницкая, Н.* — Алые паруса, 90.
- Еринов, Петр* — Московские новинки о советском театре, 43.
- Зауер, С.* — М. Михайлов, 85.
- Зензинов, В. М.* — Записи, 81.
- Зернов, Н.* — Православная Индия, 40.
- Иванов, П. К.* — Н. А. Бердяев и В. А. Тернавцев, 60.
- Ивановы Л. и Д.* — Вяч. Иванов в Баку (письмо в редакцию), 70.
- Ижболдин, Б. С.* — Русские историки о татарском иге, 65. К юбилею проф. М. А. Бунятына, 89.
- Из альбома Г. Л. Гиришман,* 71.
- Историк* — О предках Ленина. (Письмо в редакцию), 63.
- К. Х.* — Молодые поэты Советской России, 5.
- Карпович, М.* — Мое знакомство с Осипом Мандельштамом, 49.
- Кашина-Евреинова, А.* — Найденное письмо П. И. Чайковского, 85.
- Керн, Г.* — Исправления к публикации “Лев Лунц и Серапионовы братья”, 84.

- Коварская, Вера* — Выставка в Нью Йорке, 1. Выставки, 2. О течениях американской живописи, 3. Выставки в Нью Йорке, 4. Выставки, 5. Русские успехи на фронте искусства, 6. Художественные заметки, 7. Юбилей и выставки, 8. Художественные заметки, 9. Художники Мира Искусства в Америке, 10. Гибель и реставрация исторических памятников России, 11.
- Кохановская, А.* — П. П. Чистяков, 43.
- Крестинский, В.* — Происходит ли концентрация производства?, 43.
- Крестовская, В.* — О первом томе собрания сочинений О. Мандельштама (письмо в редакцию), 84.
- Лапикен, П.* — Неологизмы Карамзина, 90.
- Лачинов, С.* — Еще о Тарсисе (письмо в редакцию), 85.
- Лурье, Артур* — О Шостаковиче, 4.
- Маковский, С.* — К стихотворениям Максимилиана Волошина, 39.
- Михуловская, З.* — Впечатления с Гарвардской выставки “Слова о полку Игореве”, 29.
- Натова, Н.* — Солженицын — почетный член американской академии, 97. О “Преступлении и наказании”, 101.
- Николаевский, Б.* — Герценоведение в Сов. России, 10.
- Оболяжинов, В.* — В. В. Розанов — преподаватель в бельской прогимназии, 71.
- Обращение советского литератора Ю. Мальцева к У-Тану*, 90.
- От редакции* — К кончине президента Д. Ф. Кеннеди, 74. Ф. А. Степун, 75. Н. С. Тимашев, 75. Oxford Slavonic Papers, 89. А. В. Тыркова, 98.
- Офросимов, Ю.* — “Три сестры” — сегодня, 89.
- Письмо А. И. Солженицына*, 98.
- Р. П-в* — Заметки, 90.
- Редакция* — Московская конференция, 6. К семидесятилетию М. А. Алданова, 46. 80-летие А. М. Ремизова, 49. 80-летие Г. В. Вернадского, 88. К 65-летию Л. Д. Ржевского, 101.
- Ржевский, Л.* — “Крылья”, 95.
- Родичева, А.* — Ф. И. Родичев и П. А. Столыпин, 34.
- Рубисова, Е.* — В Лувре, 10.
- Русин, И.* — Христианство в СССР, 101.
- Страховский, Л.* — Фет и Ахматова, 49.

- Струве, Г.* — Чехов в советской цензуре, 37.
Тарсаидзе, А. — “День рождения” Красной Армии — 28 февраля 1918 года, 23.
Тотомיאни, В. проф. — Журнал “Начало” и провокатор Гурович, 43.
Ульянов, Н. — Ответ проф. З. Фолеевскому, 97, 98.
Фишер, Луи — Письмо в редакцию, 78.
Фолеевский, З. — На полях статьи проф. Н. Ульянова “На тоголевские темы”, 96. Ответ на ответ проф. Н. Ульянова, 98.
Фридберг, М. — Письмо в редакцию — Приемы В. Набокова, 83.
Ц. — За железным занавесом, 4. Война и мир, 5.
Цетлин, М. — Восьмидесятые годы, 14.
Z. — Оставшиеся в Европе, 1. Россия в стане демократий, 3. Юбилей В. Н. Ипатьева, 4. “УНРА”, 8.
Чернов, В. М. — Из детства, 60.
Чижевский, Д. — Письмо в редакцию, 74.
Чугунов, Т. — Эксплуатация рабочих в СССР, 85.
Шмеман, А., прот. — Умер Пастернак, 60.
Шуб, Д. — По поводу письма “Историка” и статьи Н. Валентинова о предках Ленина, 63. Письмо в редакцию, ответ Луи Фишеру, 78.
Щербатов, С. кн. — Флоренция. Лохов, 74.
Юрьева, З. — Об одном стихотворении Ю. Тувима, 96.

ПАМЯТИ УШЕДШИХ

- Авксентьев* — Памяти Н. Д. Авксентьева, 5. (М. Карпович).
 Н. Д. Авксентьев в молодости, 5. (Виктор Чернов). Н. Д. Авксентьев, 33. (М. Вишняк).
Алданов — М. А. Алдапов, 48 (от редакции).
Александрова, Вера, 85. (Роман Гуль).
Алексинская, Т. И., 94. (Г. А.).
Альтшуллер, И. Н., 6. (С. Панина).
Бальмонт — К. Д. Бальмонт, 5. (М. Цетлин).
Барятинский — Кн. В. В. Барятинский, 1 (от редакции).
Бахметев — Памяти Б. А. Бахметева, 26 (от редакции).
Белинков, А. В., 99. (В. Ляпунов).
Белоцветов — Н. Н. Белоцветов, 24. (Ю. Иваск).
Бердяев — Н. А. Бердяев — мыслитель, 19. (Г. Федотов).
Бернацкий — Памяти М. В. Бернацкого, 17. (Б. С. Ижболдин).

- Бертенсон, С. Л.*, 68. (К. Аренский).
Билибин — И. Я. Билибин, 11. (Вера Коварская).
Биншток — Памяти Г. О. Бинштока, 40. (Евг. Кулишер).
Брамсон — Л. М. Брамсон, 1 (от редакции).
Булгаков — От. Сергей Булгаков, 9. (Н. С. Тимашев).
Бурцев — В. Л. Бурцев, 4. (В. Зензинов).
Васильев, С. А., 68. (Э. Рейнольдс Халгуд).
Вольский, Н. В., 78 (Р. Г.).
Вернадский — В. И. Вернадский, 10. (Н. Рашевский).
Вышеславцев — Б. П. Вышеславцев как философ, 40. (Прот. В. Зеньковский).
Гарви-Бронштейн — П. А. Гарви-Бронштейн, 8. (Б. Н-ский).
Гершельман — Памяти К. К. Гершельмана, 31. (Ю. Иваск).
Гессен — Памяти И. В. Гессена, 6. (М. Карпович).
Гессен — С. И. Гессен как философ, 25. (Прот. В. Зеньковский).
 Памяти С. И. Гессена, 25. (Ф. Степун).
Грузенберг — О. О. Грузенберг, 1 (от редакции).
Далин, Д. Ю., 67. (Р. Г.).
Дан — Ф. И. Дан, 15. (С. Шварц).
Демидов — И. П. Демидов, 16. (Н. Вакар).
Денике, Ю. П., 78 (Р. Г.).
Деникин — Генерал Деникин, 17. (М. Карпович).
Джатаридзе, Д. А., 98. (Р. Гуль).
Добужинский — М. В. Добужинский как писатель, 53. (В. Александрова).
Ефремов, Н. Е., 69 (Р. Г.).
Жекулина — Памяти А. В. Жекулиной, 24. (С. В. Панина).
Зензинов — В. М. Зензинов, 36. (С. А. Васильев). Памяти друга, 36. (М. Вишняк). Из воспоминаний о В. М. Зензинове, 36. (Н. Калашников).
Зеньковский, о. В. В., 70 (проф. С. Верховской).
Зилоти — Памяти А. И. Зилоти, 12. (Н. Авверино).
Иванов — Г. В. Иванов, 54 (от редакции).
Игнатьев — Памяти графа П. Н. Игнатьева, 11. (М. Карпович).
Калишевич — Н. В. Калишевич, 1 (от редакции).
Карпович — М. М. Карпович. Памяти друга, 58. (Г. Вернадский).
 М. М. Карпович — политик, 58. (М. Вишняк), М. М. Карпович — человек и редактор, 58. (Роман Гуль). М. М. Карпович. Памяти учителя, 58. (Фируз Каземзаде). М. М. Карпович, 58. (А. Керенский).

- Кефали* — М. С. Кефали, 6 (от редакции).
Кноринг — Ирина Кноринг, 6. (Г. Федотов).
Коварский, П. Н., 69. (Р. Г.).
Корвин-Пиотровский, В. Л., 83. (Роман Гуль).
Кравченко, В. А., 83. (Роман Гуль).
Кулишер — Памяти проф. А. М. Кулишера, 2 (проф. Г. Гурвич).
Кульман, Г. Г., 70. (М. Зернова).
Кульман — Проф. Н. К. Кульман, 1 (от редакции).
Кускова — Е. Д. Кускова, 56. (М. Карпович).
Лазерсон — Памяти М. Я. Лазерсона, 28. (М. Вишняк).
Ледницкий — В. А. Ледницкий, 89. (И. Шведе).
Лозинский — Г. Л. Лозинский, 4. (А. А. Васильев).
Мазон — Андре Мазон, 90. (Б. Унбегаун).
Маклаков — Памяти В. А. Маклакова, 50. (М. Новиков).
Малевин — Ф. А. Малевин, 1 (от редакции).
Мельгунов — С. П. Мельгунов, 48 (от редакции). Встречи с С. П. Мельгуновым, 48. (Н. С. Тимашев).
Мережковский — Д. С. Мережковский, 2. (М. А.).
Милюков — П. Н. Милюков, 5. (А. Керенский). Памяти П. Н. Милюкова, 5. (М. Алданов).
Нароков, Н. В., 98 (Р. Гуль).
Нестеров — М. В. Нестеров, 5. (В. Коварская).
Николаевский, В. П., 83. (Роман Гуль).
Нольде — Б. Э. Нольде, 19. (М. Вишняк).
Осоргин — М. А. Осоргин. Памяти друга, 4. (Г. Гурвич).
Офросимов — Ю. В. Офросимов, 89. (Р. Гуль).
Панина — С. В. Панина, 48 (от редакции).
Пастернак — Л. О. Пастернак, 11. (В. Коварская).
Пастухов — В. Л. Пастухов, 90. (Ю. Иваск).
Поляков-Литовцев — Памяти С. Л. Полякова-Литовцева, 11. (А. Седых).
Португейс — Памяти С. О. Португейса (Ст. Иванович), 8. (Б. Николаевский).
Рахманинов — С. В. Рахманинов, 5. (М. Алданов).
Руднев — В. В. Руднев, 1 (от редакции).
Рузвельт — Франклин Д. Рузвельт, 10 (от редакции).
Станка — Владас Станка, 94. (Р. Гуль).
Струве — П. Б. Струве как экономист, 9. (Б. С. Ижболдин). П. Б. Струве, 10. (Б. Николаевский).
Сумский-Каплун — С. Г. Сумский-Каплун, 1 (от редакции).

- Тер-Погосьян* — М. М. Тер-Погосьян, 92. (Г. Газданов).
Тэффи — Н. А. Тэффи, 6. (М. Цетлин).
Тимашев — Н. С. Тимашев, 99. (Р. Гуль).
Тимашева — Памяти Т. Н. Тимашевой, 27 (от редакции).
Толстой — А. Н. Толстой, 10. (М. Цетлин).
Федоров — Памяти М. М. Федорова, 24. (М. Мабо-Азовский).
Федотов — Г. П. Федотов, 27. (М. Карпович).
Фигнер — В. Н. Фигнер, 3. (М. А.).
Фондаминский — И. И. Фондаминский в эмиграции, 18. (Г. Федотов). Памяти И. И. Фондаминского-Бунакова, 18. (В. Зензинов).
Церетели — И. Г. Церетели, 57. (Ю. Д.).
Цетлин — Памяти М. О. Цетлина, 11. (М. Алданов).
Челищев — Памяти В. Н. Челищева, 31. (Г. Струве).
Чичибабин — Академик А. Е. Чичибабин, 12. (Н. В. П.).
Штейн — С. П. Штейн, 25. (Г. Федотов).
Эльяшев — Памяти Л. Е. Эльяшева, 13 (от редакции).
Юрнев — Памяти П. П. Юрнева, 12. (В. Оболенский).

БИБЛИОГРАФИЯ

- “*Автокефалия*” — 101 (Роман Гуль).
Г. Адамович — Одиночество и свобода. Статьи, 43. (Георгий Иванов). В. А. Маклаков, 59. (А. Гольденвейзер). Единство, 89. (Р. Гуль).
А. Алдан. — Армия обреченных, 96. (В. Завалишин).
М. Алданов — Истоки, 24. (М. Карпович). Живи, как хочешь, 33. (Ю. Сазонова). Самоубийство, 56. (М. Карпович).
Лидия Алексеева — Лесное солнце. Стихи, 39. (Г. Забежинский). В пути, 63. (Ю. Офросимов). Прозрачный след, 81. (О. Анстей).
С. Аллилуева — Б. Л. Пастернаку, 88. (Р. Гуль).
Г. Альтшуллер — Царь и доктор, 25. (М. Карпович).
Вадим Андреев — Стихи, 25. (Ю. Иваск).
Г. Андреев — Горькие воды. Очерки и рассказы, 48. (В. Александрова).
Юрий Антенков — Дневник моих встреч. Том I, 84. (Вяч. Завалишин). Дневник моих встреч. Том II, 85 (Вяч. Завалишин).
Б. Аренский. — Письма в Холливуд, 99. (В. Завалишин).
Н. Арсеньев — Преображение мира и жизни, 57. (Р. Плетнев).
Г. Аронсон — Россия накануне революции, 69. (Д. Шуб).

- Проф. А. З. Архимович* — Растениеводство СССР, 67. (А. Билимович).
- Анна Ахматова* — Избранные стихотворения, 32. (Б. Филиппов).
Реквием, 77. (Роман Гуль). Сочинения, том I, 82. (В. Завалишин).
- А. Бабореко* — И. А. Бунин. Материалы для биографии, 91. (С. Крыжицкий).
- Василь Барка* — Жовтий князь, 75. (Т. Фесенко).
- М. Бахтин* — Проблемы поэтики Достоевского, 81. (Д. Чижевский).
- А. Безансон* — Закланый царевич, 91. (Е. Каннак).
- Н. Белавина* — Синий мир, 65. (Л. Алексеева).
- А. Белый* — Луг зеленый, 96. (О. Ильинский).
- Александр Бенуа* — Жизнь художника, 45. (Е. Климов). А. Бенуа размышляет, 94. (Е. Климов).
- С. В. Бенэ* — Дьявол и Даниель Вебстер и друг. рассказы, 58. (З. Юрвеа).
- Н. Берберова* — Облегчение участи, 23. (Эрг).
- Яков Бергер* — Весна в Ч..., 84. (Ю. Терапиано). Ксантиппа вечности, 92. (Ю. Иваск).
- Н. Бердяев* — Русская идея (Основные проблемы русской мысли 19 века и начала 20 века), 17. (М. Карпович). Самопознание, 23. (Архималдрит Киприан).
- Р. Березов* — Далекое и близкое, 34. (Роман Гуль).
- Сергей Бертенсон* — Вокруг искусства, 49. (Роман Гуль).
- Раиса Блох* — Михаил Горлин. Избранные стихотворения, 57. (Е. Каннак).
- Воспоминания генерала А. П. Богаевского*. 1918 год, 75 (Б. Прянишников).
- Леонид Богданов* — Телеграмма из Москвы, 53. (Н. Б.).
- А. А. Боголепов* — Русская лирика от Жуковского до Бунина, 31. (Б. Филиппов).
- Эдуард Бок* — Как Эдуард Бок стал американцем, 37. (М. Г.).
- Александр Браиловский* — Из классиков. Переводы, 7. (М. Цетлин). Дорогою свободной. Стихи, 44. (В. Эфер).
- Иосиф Бродский* — Стихотворения и поэмы, 79. (Юрий Иваск).
- Михаил Булаков* — Сборник рассказов, 30. (В. Завалишин).
Драмы и комедии, 87. (Р. Гуль). Мастер и Маргарита, 90. (В. Завалишин). Собачье сердце, 91. (Е. Каннак).
- Прот. Сергей Булаков* — Православие, 82. (Прот. А. Шмеман).

- Иван Бунин* — Темные аллеи, 15. (В. Александрова). Жизнь Арсеньева, 30. (Ю. Сазонова). Весной в Иудее и Митина любовь, 33. (Ю. Сазонова).
- Б. Бурсов* — Мастерство Чернышевского-критика, 51. (В. Завалишин).
- Н. Валентинов* — Встречи с Лениным, 36. (Ю. Денике).
- Владимир Варшавский* — Семь лет, 24. (Ю. Иваск). Незамеченное поколение, 44. (Ю. Денике).
- А. Васильковская* — Узелок. Стихи, 53. (Л. Алексеева).
- В. Вейдле* — Вечерний день, 30. (Архимандрит Киприан). Задача России, 49. (М. Карпович). Рим, 88. (А. Небольсин). Безымянная страна, 96. (Р. Гуль).
- М. Вейнбаум* — На разные темы, 48. (М. Карпович).
- Г. Вернадский* — История России. Т. V, 99. (С. Зеньковский). *Вестник Института по Изучению Истории и Культуры СССР*, 34. (З.).
- Вестник Русского Христианского Студенческого Движения*, 33. (А. Ш.). *Вестник РСХД*, № 95-96 — 101 (Р. Г.).
- Г. Винокур* — Маяковский — новатор языка, 92. (О. Анстей).
- Ген.-лейт. В. К. Витковский* — В борьбе за Россию, 74. (В. Прянишников).
- М. Вишняк* — Дань прошлому, 39. (М. Карпович). "Современные Записки". Воспоминания редактора, 50. (Роман Гуль).
- Л. Владимиров* — Россия без прикрас и умолчаний, 98. (Т. Петровская).
- Воздушные пути* — Альманах под ред. Р. Н. Гринберга, 58. (В. Варшавский), 65. (В. Варшавский), 79. (В. Варшавский).
- Н. Воронович* — Всевидящее око, 27. (Р. Г.). Русско-японская война, 27. (Р. Г.)
- Баронесса Л. Врагелъ* — Семья Раевских, 46. (М. Гофман).
- В. П. Вышеславцев* — Вечное в русской философии, 43 (прот. В. Зеньковский).
- Евгений Галарин* — Звезда в ночи, 21. (В. Зензинов).
- Проф. А. А. Гаккель* — О православной иконописи, 50. (В. Завалишин).
- Александр Галин* — Израиль. Еврейское государство, 55. (Роман Гуль).
- П. А. Гарви* — Профессиональные союзы в первые годы революции 1917-1921, 54. (Д. Шуб).

- Владимир Гессен* — Герои и предатели, 27. (Р. Г.).
- Александр Гингер* — Весть. 4-я книга стихов, 50. (Ю. Трубецкой).
- Василий Гиппиус* — Гоголь, 74. (Зоя Юрьева).
- Глеб Глинка* — На перевале, 39. (Г. Аронсон). В тени, 92. (Ю. Иваск).
- Артур Дж. Гольдберг* — АФТ-КПП: Рабочее единство, 69, (М. К.).
- А. А. Гольденвейзер* — В защиту права, 33. (Н. С. Тимашев).
- Я. Н. Горбов* — Все отношения, 80. (Юрий Иваск).
- Н. А. Горчаков* — История советского театра, 47. (Ю. Елагин).
- Н. Градобоев* — Десталинизация, 71. (М. Н.).
- А. Т. Гречанинов* — Моя жизнь, 27. (В. Пастухов).
- О. Грузенберг* — Очерки и речи, 10. (В. Зензинов).
- Ирина Гуаданини* — Письма, 71. (Е. Таубер).
- Роман Гуль* — Конь Рыжий, 34. (Георгий Иванов). Скиф в Европе. Бакуни и Николай I, 52. (Д. Анин). Азеф. Исторический роман, 58. (Ек. Таубер).
- Р. Гуль и В. Тривас* — Товарищ Иван, пьеса, 95. (Н. Ульянов).
- Неизданный Гумилев* — Под ред. Г. Струве, 31. (Б. Филиппов).
- Н. Гумилев* — Романтические цветы, 78. (И. А.) (Анненский). Собрание сочинений. Т. I и II, Публ. Г. Струве, 84. (Ирина Одсецева). Собрание сочинений, 87. (В. Завалишин).
- Иван Гундулич* — Слезы блудного сына, 81. (Ю. Офросимов). Слезы блудного сына, 81. (Д. Чижевский).
- С. И. Гусев-Оренбургский* — Глухой приход, 33. (В. Завалишин).
- А. Даллес* — Шпионаж в художественной литературе, 98. (М. П.).
- Двухсотлетие Московского Университета (1755-1955)*, 48. (В. Г.).
- Ю. Джанумов* — Стихи, 87. (И. Чиннов).
- Дневник Нины Костериной*, 97. (Вяч. Завалишин).
- Л. М. Добровольский* — Запрещенная книга в России, 76. (Д. Чижевский).
- А. С. Долинин* — Последние романы Достоевского, 81. (Д. Чижевский).
- С. М. Дубнов* — Книга жизни. Воспоминания и размышления, 50. (А. Гольденвейзер).
- В. Дудинцев* — Не хлебом единым, 48. (Роман Гуль). Новогодняя сказка, 59. (Роман Гуль).
- Владимир Дукельский* — Послания, 73. (Юрий Иваск).

- А. Дынник — А. И. Куприн, 101 (С. Крыжицкий).
- Н. Н. Евреинев — История русского театра с древнейших времен, 41. (А. К.).
- “Еврейский мир”, 9. (Г. Аронсон).
- Иван Елагин — По дороге оттуда. Стихи, 23. (Е. Райч). По дороге оттуда. Стихи, 36. (Роман Гуль). Отсветы ночные, 74. (Юрий Иваск). Косой полет, 88. (Г. Глинка).
- Ю. Елагин — Укрощение искусств, 30. (Б. Филиппов). Темный гений. Книга о В. Э. Мейерхольде, 44. (Н. Ульянов).
- В. В. Ельяшевич — История права поземельной собственности в России, 22, 29. (А. Петрункевич).
- С. П. Жаба — Русские мыслители о России и человечестве, 44. (В. Варшавский).
- Владимир Жабинский — Просветы, 53. (В. Завалишин).
- Николай Заблоцкий — Стихотворения, 82. (В. Завалишин).
- Борис Зайцев — Юность, 24. (В. Александрова). Жуковский, 28. (Н. Б.). Дерево жизни, 34. (П. Ершов). Чехов, 39. (П. Ершов). Тихие зори, 67. (Ек. Таубер). Далекое, 83. (Р. Плетнев). Река времен, 94. (Е. Таубер). Река времен, 95. (А. Шиляева).
- Е. Замятин — Лица, 42. (Г. Струве). Повести и рассказы, 73. (Вяч. Завалишин).
- Записки беларускага інстытуту навукі і мастацтва, 31. (В. Днепровский).
- Записки русской академической группы в США. Т. I, 90. (С. Пушкарев), т. II, 97. (Т. Сорокина), т. III, 100. (С. Пушкарев).
- В. Зензинов — Встреча с Россией, 10. (Д. Федотов-Уайт). Пережитое, 35. (М. Алданов).
- Прот. В. Зеньковский — История русской философии, 22. (С. Франк).
- Гр. В. П. Зубов — Страдные годы России, 96. (Р. Гуль).
- Леонид Зуров — Марьянка. Рассказы, 54. (В. Варшавский).
- Вячеслав Иванов — Свет вечерний, 75. (Ф. Степун).
- Георгий Иванов — Петербургские зимы, 32. (Роман Гуль).
- Р. В. Иванов-Разумник — Тюрьмы и ссылки, 33. (Б. Филиппов).
- Ю. Иваск — Хвала, 88. (Г. Адамович).
- А. А. Игнатъев — Пятьдесят лет в строю, 5. (Б. Н-ский).
- Е. А. Извольская — Американские святые и подвижники, 60. (Роман Гуль).
- Из истории ВЧК, 1917-21 г., 57. (М. Вишняк).

- Галина Издебская* — Встречи. Рассказы, 5. (Х. Кроткова).
- Олег Ильинский* — Стихи, 65. (Л. Алексеева).
- Еп. Иоанн Сан-Францисский* — Время веры, 39. (Глеб Глинка).
Листья древа, 85. (Прот. Д. Константинов).
- О. Йорк* — Река времен, 96. (В. Завалишин).
- В. Н. Ипатьев* — Жизнь одного химика, 13. (Б. Н-ский).
- История русского искусства*, под ред. И. Грабаря, 99. (Е. Климов).
- В. Каверин* — Открытая книга, 40 (Петр Ершов). Здравствуй, брат. Писать очень трудно, 85. (Г. Керн).
- О. Кайданова* — Очерки по истории народного образования в России и СССР, 9. (Г. Вернадский).
- С. Каменский* — Век минувший. Воспоминания, 54. (Вяч. Новиков).
- М. Кантор* — Стихи, 92. (Г. Адамович).
- Карлик фаворита* — История жизни И. А. Якубовского, 92. (Ю. Иваск).
- Т. Карсавина* — Воспоминания, 22. (Б. Бабкин).
- А. В. Карташев* — Воссоздание Святой Руси, 46. (М. Поливанов). Вселенские соборы, 76. (А. Боголепов).
- Игор Качуровский* — Строфика, 101. (Т. Фесенко).
- Анна Кашина-Евреинова* — Н. Н. Евреинов в мировом театре XX века, 76. (Р. Гуль).
- Д. Кленовский* — След жизни, 24. (Ю. Иваск). Навстречу небу, 31. (Н. Б.). Неуловимый спутник, 4-я книга стихов, 47. (Г. Струве). Стихи, 98. (О. Ильинский).
- Николай Клюев* — Плач о Есенине, 37. (С. Петров). Полное собрание сочинений, 38. (Роман Гуль). Сочинения. I-II тт., 99. (Ю. Иваск).
- Книга о русском еврействе*, 60. (Д. Шуб).
- Л. А. Коварская* — Родные писатели, 2. (М. Ц.). Русские писатели, 41. (Роман Гуль).
- Наталия Кодрянская* — Сказки, 27. (Е. Рубисова). Глобусный человечек, 46. (Н. Ульянов). Золотой дар, 80. (Ирина Одоевцева).
- А. Кокорев* — Хрестоматия по русской литературе XVIII в., 85. (Я. Гурский).
- Д. В. Коштантинков* — Я сражался в Красной Армии, 31. (Б. Ольшанский).
- Вл. Корвин-Пиотровский* — Воздушный змей, 25. (Ю. Иваск).

- Михаил Коряков* — Освобождение души, 30. (Б. Филиппов).
- С. Косман* — Маяковский, 96. (Р. Гуль).
- Н. Н. Краснов* — Незабываемое (1945-56), 53. (Роман Гуль).
- Д. В. Криптон* — Осада Ленинграда, 31. (Б. Ольшанский).
- Х. Кроткова* — Белым по черному, 31. (Ю. Иваск).
- Акад. А. Н. Крылов* — Мои воспоминания, 7. (Д. Федотов-Уайт).
- А. Кторова* — Лицо Жар-птицы, 99. (В. Завалишин).
- И. Курганов* — Нации СССР и русский вопрос, 65. (Н. Тимашев). Семья в СССР, 1917-67 гг., 89. (А. Иванов).
- Ю. Лавріненко* — Розстріляне Відродження, 59. (О. Анстей).
- Ант. Ладинский* — Роза и чума. Стихи, 25. (Ю. Иваск).
- Гизелла Лазман* — Пленные слова. Стихи, 32. (Д. Кленовский).
- С. Левицкий* — Трагедия свободы, 57. (Н. Лосский). Очерки по истории русской философской и общественной мысли, 99. (Игумен Геннадий).
- И. Легкая* — Попутный ветер, 94. (С. Карлинский).
- Л. Д. Леонидов* — Рампа и жизнь, 43. (Ю. Сазонова).
- К. Леонтьев* — Моя литературная судьба, 92. (Ю. Иваск).
- С. И. Либерман* — Дела и люди, 9. (М. Цетлин).
- Н. Лосский* — Воспоминания, 98. (Игумен Геннадий).
- А. Лясковский* — Мартиролог русских писателей, 51. (К. Солнцев).
- Прот. С. Ляшевский* — История христианства в земле русской, 94. (Р. П.).
- Д. А. Магула* — "Fata Morgana", 74. (Роман Гуль).
- В. А. Маклаков* — Первая Государственная Дума. Воспоминания современника, 12. (М. Карпович). Вторая Государственная Дума. Воспоминания современника, 15. (М. Карпович). Речи. Судебные, думские и публичные лекции, 1904-1926, 24. (М. Карпович).
- С. Маковский* — Круг и тень, 25. (Ю. Иваск). На пути земном, 35. (Ю. Иваск). Портреты современников, 44. (М. Добужинский).
- Сергей Максимов* — Денис Бушуев, 23. (Мих. Коряков). Тайга, 30. (В. Завалишин). Бунт Дениса Бушуева, 45. (М. Коряков).
- С. Малахов* — Летчики. Пьеса, 30. (Ю. Елагин).
- Осип Мандельштам* — Собрание сочинений, 43. (Георгий Иванов). Собрание сочинений. Том I., 82. (Юрий Иваск). Собрание сочинений. Том II, 88. (Ю. Иваск).

- Юрий Манделштам* — Годы (1937-1941), 25. (Ю. Иваск).
Манифесты и программы русских футуристов, 96. (Ю. Иваск).
Арнольд Марголин — Основы государственного устройства США, 39. (А. Гольденвейзер).
Ю. Марголин — Путешествие в страну зе-ка, 31. (М. Вишняк).
 Еврейская повесть, 66. (Г. Аронсон).
В. Марков — Приглушенные голоса, 31. (Б. Филиппов). Гурилевские романсы, 61. (Ю. О.).
Марковцы в боях и походах за Россию. 1917-1918. Составил В. Е. Павлов, 73. (Б.).
В. Марченко — Основные черты хозяйства послесталинской эпохи, 67. (Д. Н. Иванцов).
Новелла Матвеева — Душа вещей, 90. (Ю. Иваск).
С. П. Мельгунов — Легенда о сепаратном мире, 51. (Н. С. Тимашев). Мартовские дни 1917 г., 67. (Н. С. Тимашев). Воспоминания и дневники, 76. (Н. С. Тимашев).
О. Можайская — Разлука и верность, 74. (Е. Таубер).
Н. Моршен — Двоегочие, 88. (С. Карлинский).
 “Мосты”, 59. (Вяч. Завалишин). № 10, 71. (Р. Г-ль).
К. Мочульский — Достоевский, жизнь и творчество, 22. (Н. Лосский). Андрей Белый, 42. (Д. Чижевский).
В. Н. Муромцева-Бунина — Жизнь Бунина, 56. (Роман Гуль).
Н. Нароков — Мнимые величины, 33. (Роман Гуль).
Борис Нарциссов — Подъем. Стихи, 99. (Ю. Иваск).
Жан Невесель — Папа Иоанн 23-й, 95. (Е. Извольская).
М. М. Новиков — Полстолетие научной деятельности, 51. (Р. Плетнев). От Москвы до Нью Йорка. Моя жизнь в науке и политике, 32. (М. Вишняк).
В. Одоевский — Русские ночи, 94. (О. Ильинский).
Прина Одоевцева — Оставь надежду навсегда, 39. (С. Юрасов).
 Десять лет, 67. (Вяч. Завалишин). На берегах Невы, 92. (Р. Гуль).
В. Окуджава — Будь здоров, школяр, 80. (Р. Гуль).
В. Ольшанский — Мы приходим с Востока, 44. (Роман Гуль).
Л. Т. Оситова — Явное рабство и тайная свобода, 64. (Вяч. Завалишин).
А. Осоргина — Пушкин и его творчество, 101. (С. Крыжицкий).
Мих. Осоргин — В тихом местечке Франции, 15. (М. К.). Письма о незначительном, 38. (Ю. Сазонова).
Николай Оцуп — Дневник в стихах, 27. (Ю. Иваск). Жизнь и

- смерть. Современники. Литературные очерки, 66. (Н. Ульянов).
- Очерки по истории Первого Московского ордена Ленина медицинского института имени И. М. Сеченова*, 65. (Юрий Арбатский).
- Памяти Разманинова* — Сборник, 14. (М. Карпович).
- В. Павлова* — Тредьяковский и Волинский, 94. (Я. Б.).
- В. Паптелеймонов* — Последняя книга, 33. (Вяч. Завалишин).
- О. И. Пантюхов*. — О днях былых, 99. (Р. Полчанинов).
- “*Парнас дыбом*”, 75. (А. Поплюйко).
- Борис Пастернак* — Собрание сочинений, 67. (Роман Гуль).
- В. Переленин* — Южный Дом, 92. (Ю. Иваск).
- Клавдия Пестрово* — Цветы на подоконнике, 81. (Л. Алексеева).
- К. Пигарев* — Жизнь и творчество Тютчева, 76. (Р. Плетнев).
- П. Пирогов* — За курс!, 34. (Б. Ольшанский).
- А. В. Платонов*, 97. (А. Киселев).
- С. Н. Плаутин* — Слово о полку Игореве. Исправленный и не-исправленный тексты, 55. (Н. Ульянов).
- А. Позов* — Метафизика Пушкина, 98. (Игумен Геннадий).
- С. Поляков-Литовцев* — Мессия без народа, 5. (Х. Кроткова).
- Поэты-лирики древней Элады и Рима*, 84. (Юрий Иваск).
- Православная мысль* — Труды Православного Богословского И-та в Париже, 36. (Прот. А. Шмеман).
- София Прегель* — Встреча. 5-я кн. стихов, 55. (Ю. Трубецкой).
- С. Н. Прокопович* — Сборник статей, 48. (Н. С. Тимашев).
- С. Г. Пушкарев* — Россия в 19 веке, 52. (Сергей Зеньковский).
- А. С. Пушкин* — Сочинения. В одном томе, 8. (М. Цетлин).
- Э. Райс* — Под глухими небесами, 89. (А. Небольсин).
- А. Ремизов* — Пляшущий демон, 24. (К. Солнцев). Подстриженными глазами, 27. (Н. Берберова). В розовом блеске, 31. (Н. Б.).
- А. Ренников* — Минувшие дни, 39. (Мих. Коряков).
- Л. Ржевский* — Между двух звезд, 34. (Роман Гуль). Двое на камне, 62. (Вяч. Завалишин). Показавшему нам свет, 65. (Роман Гуль). Прочтение творческого слова, 101. (З. Юрьева).
- Елена Рубисова* — Нью Йорк, 58. (И. Одоевцева).
- Русские поэты XIX века*, 81. (Д. Чижевский).
- Русский литературный архив* под ред. М. Карповича и Дм. Чижевского, 48. (Г. Струве).

- Русский фольклор Сибири*, 95. (К. Яукш-Орловский).
- Н. Рутыч* — КПСС у власти, 66. (Б. Прянишников).
- В. А. Рязановский* — Обзор русской культуры. Исторический очерк, 23. (М. Карпович).
- Ю. Сазонова* — История русской литературы. Древний период, 44. (Р. Плетнев).
- С. Сатина* — Образование женщин в дореволюцион. России, 87. (Р. Гуль).
- Сборник памяти С. Л. Франка*, 42. (Ф. Степун).
- Андрей Седых* — Дорога через океан, 3. (М. Ц.). Звездочеты с Босфора, 19. (Г. Аронсон). Только о людях, 41. (Роман Гуль). Далекое и близкое, 69. (Вяч. Завалишин). Замело тебя снегом, Россия, 76. (Р. Гуль). Земля обетованная, 84. (Ю. Марголин). Иерусалим, имя радостное, 95. (И. Левитан).
- Г. Селегень* — Прехитрая вязь, 95. (Т. Фесенко).
- Н. Семенов* — Советский суд и карательная политика, 31. (Н. С. Тимашев).
- Н. Н. Сергиевский* — Гипспанская затея, 1. (Н.).
- Елена Скрябина* — В блокаде, 79. (Р. Плетнев).
- Александр Слоимский* — Техника комического у Гоголя, 74. (Зоя Юрьева).
- Владим. Смоленский* — Собрание стихотворений, 53. (Г. Струве).
- Федор Степун* — Встречи, 74. (Юрий Иваск).
- Странник* — Странствия, 59. (В. З.). Упразднение месяца, 95. (Р. Плетнев).
- Г. Струве* — Русский европеец, 32. (Ю. Иваск). Русская литература в изгнании, 46. (М. Карпович). Утлое жилье, 83. (Г.).
- П. Б. Струве* — Социальная и экономическая история России с древнейших времен до нашего, 33. (М. Карпович).
- В. Сумбатов* — Стихотворения, 52. (Ю. Трубецкой).
- Л. Сухотин* — Мои работы по истории опричнины, 20.
- Е. В. Тарле* — Крымская война, 17. (Д. Федотов-Уайт).
- Тарсис и эмиграция*, 85. (К. Вершинин).
- Екатерина Таубер* — Плечо с плечом. Стихи, 42. (Г. Забежинский).
- Б. С. Тельпуховский* — Великая отечественная война Советского Союза 1941-45 гг., 59. (Б. Прянишников).
- Ю. Терапиано* — Странствие земное, 27. (Ю. Иваск). Встречи,

32. (Роман Гуль). Избранные стихи, 76. (Ирина Одоевцева). Паруса, 82. (Ирина Одоевцева). Маздеизм, 92. (Ирина Одоевцева).
- Н. А. Тэффи* — Земная радуга, 30. (М. Алданов).
- Абрам Терц* — Мысли врасплох, 84. (Роман Гуль).
- На темы общие и русские* (Сборник статей в честь проф. Н. С. Тимашева), 80. (Роман Гуль).
- С. П. Тимошенко* — Воспоминания, 70. (Н. Тимашев).
- Александра Толстая* — Отец, 40. (А. Тыркова-Вильямс). Пророблески во тьме, 84. (Б. Бровцын).
- Л. Н. Толстой* — Христианство и церковь, 62. (Роман Гуль).
- Третий час* — Вып. 1-й. 1946, 14. (Г. Федотов).
- Кн. Евгений Трубецкой* — Умозрение в красках, 82. (Прот. А. Шмеман).
- Кн. Ольга Трубецкая* — Князь С. Н. Трубецкой, 34. (Н. Р.).
- Тувим по-русски*, 87. (Зоя Юрьева).
- Николай Туроверов* — Стихи, 85. (Сотник).
- И. Тхоржевский* — Русская литература, 18. (Г. Струве).
- А. Тыркова-Вильямс* — Жизнь Пушкина, 23. (М. Карпович).
На путях к свободе, 31. (Ю. Денике).
- У истоков русского книгопечатания*, 62. (К. Солнцев).
- Н. И. Ульянов* — Атосса, 32. (Н. Б-ва). Происхождение украинского сепаратизма, 88. (С. Зеньковский). Диптих, 92. (А. Небольсин). Под каменным небом, 101. (Л. Ржевский).
- Нина Федорова* — Семья, 33. (З. Юрьева).
- Г. П. Федотов* — Христианин в революции, 51. (Прот. А. Шмеман). Лицо России, 94. (Ю. Иваск).
- Андрей и Татьяна Фесенко* — Русский язык при советах, 43. (П. Ершов).
- Татьяна Фесенко* — Повесть кривых лет, 74. (Вяч. Завалишин).
- С. Л. Франк* — Этюды о Пушкине, 55. (М. Карпович). Душа человека, 81. (Л. Закутин). Из истории русской философской мысли конца 19 и начала 20 века, 82. (Л. Закутин).
- Н. Хохлов* — Право на совесть, 55. (Б. Прянишников).
- Марина Цветаева* — Лебединый стан. Стихи 1917-1921 гг., 53. (Роман Гуль). Избранные произведения, 84. (С. Карлинский).
- М. Цетлин* — Пятеро и другие, 8. (М. Алданов).
- Алла Цивчинская* — Незабвенное, немеркнувшее, 76. (Татьяна Фесенко).

- В. М. Чернов* — Перед бурей. Воспоминания, 35. (Ю. Денике).
Игорь Чиннов — Монолог. Стихи, 25. (Ю. Иваск). Линии, 65.
 (Роман Гуль). Метафоры, 96. (Г. Адамович).
От. Георгий Шавельский — Воспоминания последнего прото-
 пресвитера русской армии и флота, 40. (М. Карпович).
М. Шатов — Материалы и документы ОДНР в годы 2-й мировой
 войны. В. Осокин, А. А. Власов, 87. (Р. Гуль).
С. Шварц — Евреи в Советском Союзе, 87. (Д. Анип).
Александр Шик — Денис Давыдов, 25. (Н. Б.).
А. Шиманская — Новолунье. 2-я книга стихов, 41. (Ек. Таубер).
Аллаида Шиманская — Я вам прочту, 74. (Ирина Одоевцева).
Прот. А. Шмеман — Исторический путь православия, 40. (Глеб
 Глинка).
Анатолий Штейгер — Дважды два четыре, 25. (А. Шик).
Д. Шуб — Политические деятели России, 99. (А. Гольденвейзер).
Е. Щербаков — Свет и камень, 27. (Ю. Иваск).
Кн. Сергей Щербатов — Художник в ушедшей России, 45. (Ро-
 ман Гуль).
Экономический бюллетень № 9-10 — Экономические причины
 войны, 2. (Х.).
Георгий Эристов — Сонеты, 50. (Ю. Трубешкой).
В. Эрлих — Гоголь, 99. (А. Небольсин).
С. Юрасов — Враг народа, 30. (Роман Гуль).
В. С. Яновский — Портативное бессмертие, 33. (Ю. Иваск). Че-
 люсть эмигранта, 54. (Ф. Степун).
Ирина Яссен — Лазурное око. Стихи, 25. (Ю. Иваск).

КНИГИ НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ

- Abramovitch, Raphael R.* — The Soviet Revolution, 73.
 (Д. С. Анип).
Ahmatova, A. — Requiem. Mary Under, 90.
 (Т. Петровская).
Akhminov, G. E. — Puissance dans l'ombre ou le fossoyeur du
 communisme, 32. (Д. С. Анип).
Alexandrova, Vera — A History of Soviet Literature, 1917-1962,
 75. (П. Ершов).
*Die Altrussischen Hagiographischen Erzählungen ueber die Hei-
 ligen Boris und Gleb*, 89. (Р. Плетнев).
Armand, Louis — Plaidoyer pour l'avenir, 77. (В. В.).

- Art Treasures of Russia*, 90. (Н. Ильинская).
De Ascarate, P. — League of Nations and National Minorities, 12.
 (М. Вишняк).
Babkin, B. P. — Secretary Mechanism of the Digestive Glands, 10
 (С. А. Комаров).
Bailey, Geoffrey — The Conspirators, 62. (В. Прянишников).
Balakian, A. — The Symbolist movement, 101.
 (О. Ильинский).
Barbour, Ph. — Dimitri, 89. (В. Ижболдин).
Barmine, Alexander — One Who Survived, 12. (М. К.).
Baron, Samuel H. — Plekhanov. The Father of Russian Marxism,
 76. (Д. Шуб).
Bauer, Raymond A., Inkeles, Alex & Kluckhohn, Clyde — How
 the Soviet System Works, 49. (О. Анисимов).
Baykov, Alexander — The Development of the Soviet Economic
 System, 14. (Н. С. Тимашев).
De Beauvoir, Simone — Les Mandarins, 41. (П. Фатьянов).
Berberova, N. — The Italics Are Mine. Translated by Philippe
 Radley, 99. (Р. Гуль).
Berchin, Michel & Ben-Horin, Elishu — The Red Army, 5.
 (Д. Д.).
Берлин, Густав — Особый мир, 28. (М. Коряков).
Bernanos, George — La liberté, pour quoi faire?, 34.
 (М. Коряков).
Bertensson, Sergei & Leyda Jay — Sergei Rachmaninoff, 46.
 (Ю. Елагин).
Besharov, J. — Imagery of the Igor's Tale, 47. (Ю. Иваск).
Birdsall, Paul — Versailles Twenty Years After, 1. (М. В.).
Bloch-Lainé, F. — Pour une réforme de l'entreprise, 78.
 (В. В.).
Bogolepoff, Prof. A. — Toward an American Orthodox Church, 78.
 (М. Поливанов).
Burnham, James — The Struggle for World, 16.
 (С. Соловейчик).
Byrnes, James F. — Speaking Frankly, 17. (Ю. П. Деник).
Byzantion — International Journal of Byzantine Studies. Vol.
 XV, 3. (Я. А. Бромберг).
Carr, Edward Hallet — The Soviet Impact on the Western World,
 16. (М. Вишняк).
Chamberlin, W. H. — The Russian Enigma, 7.
 (М. Карпович).

- Chekhov, Michael* — To the Actor, 33. (Варвара Булгакова).
- Childs, John L. & Counts, George S.* — America, Russia and the Post-War World, 5. (Д. Шуб).
- Cizevsky, Dmitri* — Outline of Comparative Slavic Literatures, 40. (Рене Веллек).
- Cole, G. D. H.* — History of Socialist Thought, 53. (Д. Шуб).
- Counts, George S.* — America, Russia and the Post-War World, 5. (Д. Шуб).
- Counts, George S. & Lodge, Nucia P.* — I Want to Be Like Stalin, 17. (Н. С. Тимашев).
- Croisé, Jacques* — Sortie de Secours, 39. (В. К.).
- Curtin, Jeremiah* — Memories, 7. (Д. Федотов-Уайт).
- Dallin, David J. & Nikolaevsky, Boris I.* — Forced Labor in Soviet Russia, 16. (В. Зензинов).
- Dallin, David* — "The Big Three", the United States, Britain and Russia, 11. (А. А. Гер).
- The Real Soviet Russia, 10. (Д. Федотов-Уайт).
- Russia and Postwar Europe, 7. (М. Карпович).
- Soviet Russia's Foreign Policy, 1939-1942, 4. (Ю. П. Денике).
- Soviet Espionage, 55. (И. Шпилевой).
- Daniels, Robert Vincent* — The Conscience of the Revolution, 64. (Д. Шуб).
- Dean, V. M.* — Russia: Menace or Promise, 16. (Н. С. Тимашев).
- Debreczeny, P.* — N. Gogol and His Contemporary Critics, 90. (Г. Мотолянец).
- Djilas, M.* — Conversations with Stalin, 71. (Б. Прянишников).
- O Dostoevskom: Stat'i*, 87. (А. Небольсин).
- Eastman, Max* — Reflexion on the Failure of Socialism, 41. (М. Вишняк).
- Erlich, Victor* — The Double Image, 77. (Юрий Иваск).
- Gogol, 99. (А. Небольсин).
- Eska, Karl* — The Five Seasons, 38. (Мих. Коряков).
- Fanger, D.* — Dostoyevsky and Romantic Realism, 85. (А. Небольсин).
- The Fatal Eggs and Other Soviet Satire.* Edited and translated by Mirra Ginsburg, 79. (Вяч. Завалишин).
- Fedorova, Nina* — The Children, 3. (В. Зензинов).

- Ivan Fedorov's Primer of 1574*, 45. (К. Солнцев).
- Fedotoff-White, D.* — *The Growth of the Red Army*, 7. (Д. Далин).
- Fedotoff, George P.* — *The Russian Religious Mind. Kievan Christianity*, 16. (М. Карпович).
- Finletter, Thomas K.* — *Can Representative Government do the Job?*, 11. (М. Вишняк).
- Fisher, George* — *Russian Liberalism: From Gentry to Intelligentsia*, 51. (М. Карпович).
- Fisher, G.* — *The New Sociology in the USSR*, 78. (Б.)
- Fisher, John* — *Why They Behave Like Russians*, 16. (Н. С. Тимашев).
- Fisher, Raymond H.* — *Russian Fur Trade*, 10. (М. Карпович).
- Флеру-Одарченко, П.* — *Azelle*, 31. (Н. Б.).
- Florovsky, G. V.*, 88. (Т. Бирд).
- Foerster, F. W.* — *Europe and the German Question*, 1. (Д. Шуб).
- Friedberg, Maurice* — *Russian Classics in Soviet Jackets*, 78. (Зоя Юрьева).
- Gafenco, G.* — *Préliminaires de la guerre à l'Est* 12, (Н. С. Тимашев).
- Le Geste de Prince Igor* — *Texte établi, traduit et commenté sous la direction d'Henri Grégoire, Roman Jakobson, Marc Szeftel*, 20. (Г. Федотов).
- Gordey, M.* — *Visa pour Moscou*, 29. (М. Вишняк).
- Gordon, Mania* — *Workers Before and After Lenin*, 3. (Д. Шуб).
- Gorlin, Michel et Bloch-Gorlina, Raissa* — *Etudes Littéraires et Historiques*, 52. (Е. Каннак).
- Gourfinkel, N.* — *Dostoevsky, notre contemporain*, 67. (Е. Каннак).
- Gray, Camilla* — *The Great Experiment: Russian Art 1863-1922*, 71. (Вяч. Завалишин).
- Griffith, Thomas* — *The Waist-High Culture*, 56. (М. Вишняк).
- Grinioff, Vladimir* — *Tale of a Whistling Shrimp*, 51. (В. К.).
- Guenter, Johannes v.* — *Ein Leben in Ostwind*, 99. (В. Сечкарев).
- Guins, George C.* — *Communism on the Decline*, 50. (Н. С. Тимашев).

- Soviet Law and Soviet Society, 38. (Н. С. Тимашев).
Gurvitch, Georges — Sociology of Law, 3. (Проф. М. Лазерсон).
Gustafson, Richard F. — The Imagination of the Spring, 88. (Ю. Иваск).
Half a Century of Russian Serials (1917-1968), 101. (Ю. Сречинский).
Hamilton, G. H. — The Art and Architecture of Russia, 43. (Вера Коварская).
Harper, Sammuell N. — The Russia I Believe In, Memories, 11. (Д. Федотов-Уайт).
Hecht, David — Russian Radicals Look to America, 1825-1894, 19. (М. Лазерсон).
Hindley, L. — Die Neologismen A. Belyis, 89. (Ю. Иваск).
Hlasko Marek — Smentarze. Nastepny do raju, 53. (Зоя Юрьева).
Hönig, Anton — A. Belyjs Romane, 83. (В. Сечкарев).
How to Tell Progress from Reaction, 11. (Н. С. Тимашев).
Hymnologie starochorvatska, 94. (Р. П.).
Il contributo russo alle avanguardie plastiche, 80. (Д. Чижевский).
Ingold, F. — Schwarz auf Schnee, 88. (Ю. Иваск).
Inkeles, A. & Bauer, R. A. — The Soviet Citizen. Daily Life in a Totalitarian Society, 58. (Н. С. Тимашев).
Ipatieff, Wladimir N. — Meeting Chicago Section, 1. (Л.).
Ischboldin, Boris — Economic Synthesis, 62. (Д. Викор).
 Essays on Tatar History, 74. (Н. С. Тимашев).
 Genetic Economics, 89. (Н. С. Тимашев).
Iswolsky, Helene — Light Before Dusk. A Russian Catholic in France, 3. (Ю. Денике).
 Soul of Russia, 7. (Н. С. Тимашев).
Jackson, Robert L. — Dostoyevsky's Quest for Form, 85. (А. Небольсин).
Johnson, Hewlett Dr. V. R. — Soviet Russia Since the War, 18. (Н. С. Тимашев).
Journal of Legal and Political Sociology, 7. (А. А. Г-ер).
Kalashnikoff, Nicolas — Jumper. The Life of a Siberian Horse, 10. (Елена Извольская).
Karlinsky, S. — М. Cvetaeva, 88. (Хью Маклейн).
 М. Cvetaeva, 88. (Н. Берберова).

- Karpovich, M. & Vernadsky, George* — A History of Russia, 7.
(Я. А. Бромберг).
- Karsavina, Tamara* — The Theatre Street, 22. (Б. П. Бабкин).
- Kautsky, Karl* — Social Democracy Versus Communism, 15.
(М. Вишняк).
- Kelly, Marie Nöelle* — 1. Mirror to Russia; 2. Picture Book of
Russia, 33. (Вера Коварская).
- The Kilgour Collection of Russian Literature* (1750-1920), 58.
(К. Солнцев).
- Kindersley, Richard* — A Study of "Legal Marxism" in Russia, 71.
(Д. Шуб).
- Religious and Anti-religious Thought in Russia* by G. Kleine, 96.
(А. Небольсин).
- Koelle, H.* — Farbe, Licht und Klang in der malenden Poesie Der-
zavins, 89. (О. Ильинский).
- Kostka, Edmund* — Schiller in Russian Literature, 85.
(С. Крыжицкий).
- Kravchenko, Victor* — I Chose Freedom, 14. (В. Зензинов).
- Kucherov, S.* — Courts, Lawyers and Trials Under the Last Three
Tzars, 37. (Б. Гершун).
- Labriskie, Edward H.* — American-Russian Rivalry in the Far
East, 13. (М. Флоринский).
- Lanzeff, George V.* — Siberia in Seventeenth Century, 10.
(М. Карпович).
- Laserson, Max M.* — The Development of Soviet Foreign Policy
in Europe, 1917-1942, 5. (Д. Д.).
Russian and the Western World, 14. (Н. С. Тимашев).
- Laski, Harold J.* — Faith, Reason and Civilisation, 9.
(М. Вишняк).
- The American Democracy: A Commentary and an Inter-
pretation, 19. (А. И. Зак).
- Reflection on the Revolution of Our Time, 7.
(М. Вишняк).
- Lauterpacht, H.* — An International Bill of the Rights of Man, 12.
(М. Вишняк).
- Lee, C. Nicholas* — The Novels of Mark Aleksandrovic Aldanov,
99. (Р. Ричардсон).
- Lednicki, Waclaw* — Life and Culture of Poland as Reflected in
Polish Literature, 9. (М. Карпович).
- Пamiętniki, 87. (И. Шведе).

- Leontovitsch, Victor* — Geschichte des Liberalismus in Russland, 51. (М. Карпович).
- Lermolo, Elisabeth* — Face of a Victim, 41. (Мих. Коряков).
- Leskov, N.* — Adopt. by Babette Deutsch and Avrahm Yarmolinsky. Steel Flea, 8. (Вера К.)
- Levine, Isaac Don* — The Mind of an Assassin, 60. (В. В.).
I Rediscover Russia, 77. (Н. Верберова).
- Liddell Hart, B. H.* — The Red Army, 52. (Б. Прянишников).
- Lieb, Franz* — Valentin Weigels Kommentar zur Schoepfungsgeschichte, 80. (Д. Чижевский).
- Lindstrom, T.* — A Concise History or Russian Literature, 89. (С. Крыжицкий).
- “Lituanus”, 66. (Вяч. Завалишин).
- Loth, David* — Woodrow Wilson. The Fifteenth Point, 1. (М. В.).
- Lyons, Eugene* — Our Secret Allies: The Peoples of Russia, 38. (М. Карпович).
Worker’s Paradise Lost, 90. (Л. Земельс).
- Mackiewicz, J.* — Der Weg ins Niergendwo, 69. (Ф. Степун).
Zwycięstwo Prowokacji, 71. (К. Вендзягольский).
- Lewa wolna!, 84. (М. Павликовский).
- Mahler, Elza* — Altrussische Volkslieder aus dem Pecoryland, 28. (Игорь Чиннов).
- Margolin, Arnold D.* — A Political Diary: Russia, the Ukraine and America, 14. (А. А. Гер).
- Maritain, Raissa* — Marc Chagall, 7. (Вера К.).
- Markov, Vladimir* — The Longer Poems of Velimir Khlebnikov, 81. (Ю. Иваск).
Russian Futurism, 96. (Ю. Иваск).
- Maurach, Reinhart* — Handbuch der Sowietverfassung, 44. (А. Гольденвейзер).
- Mehnert, Klaus* — Stalin versus Marx, 32. (М. Коряков).
- Michie, Allan A.* — Retreat to Victory, 3. (Ю. Денике).
- Adam Mickiewicz in World Literature*, 51. (Зоя Юрьева).
- Miliukov, Paul* — Outlines of Russian Culture (Parts I-III), 1. (А.).
- Mochulsky, K.* — Dostoevsky, 94. (А. Небольсин).
- De Monzie, Anatole* — Ci-devant, 1. (У.).
- Moore, Harriet L.* — Soviet Eastern Policy, 13. (М. Т. Флоринский).

- Morgenthau, Jr., Henry* — Germany — Our Problem, 13.
(С. Соловейчик).
- Nabokov, Vladimir* — Nicolai Gogol, 9. (Г. Федотов).
The Real Life of Sebastian Knight, 2. (Мария Толстая).
- National Socialism*. Basic principles, their application by the Nazi Party and Foreign Organization, etc, 5. (Д. Шуб).
- Nicolaevsky, Boris* — Power and the Soviet Elite, 83.
(Д. Шуб).
- Nolde, Boris* — La formation de l'Empire russe: études, notes et documents, 33. (М. Карпович).
- Nureev, Rudolph* — Autobiography, 76. (В. Завалишин).
- Oras, Ants* — Acht estnische Dichter, 81. (Ю. Иваск).
Estonian Literature in Exile, 94. (Т. Петровская).
- Orlov, Alexander* — The Secret History of Stalin's Crimes, 37.
(В. Р.).
- Parry, A.* — The New Class Divided, 84. (А. Иванов).
- Pasternak, Boris* — Essai d'Autobiographie, 54. (Е. Каннак).
- Pavek, William J.* — 200.000.000 Slaves Need a New Alphabet, 11.
(Н. Вакар).
- Pedrotti, L.* — J. Sękowski, 88. (П. Дебрецени).
- The Penguin Book of Russian Verse*, 68. (Вяч. Завалишин).
- Pinson, Copper S.* — Essays on Anti-semitism, 3. (Д. Шуб).
- Pipes, Richard* — The Formation of the Soviet Union — Communism and Nationalism, 1917-1924, 43.
(Сергей Зеньковский).
- Proffer, Carl R.* — The Simile and Gogol's Dead Souls, 99.
(В. Сечкарев).
- Prokopowicz, S. N.* — Russlands Volkswirtschaft unter den Sowjets, 14.
(Н. С. Тимашев).
- Puchkine, A.* — Eugène Oneguine. Traduction de Michel Bayat, 51.
(М. Г.).
- Pushkin, Alexander* — Eugene Onegin, translated from Russian with a Commentary by V. Nabokov, 77.
(Морис Фридберг).
- Radkey, Oliver Henry* — The Election to the Russian Constituent Assembly of 1917, 24. (М. Вишняк).
- Raeff, Marc* — Michel Speransky. Statesman of Russia, 51.
(М. Карпович).
- Rannit, Aleksis* — Verse an Wiiralt und an das Geklaerte Gleichnis, 65.
(Артур Адсон).

- Rauch, Georg von* — A History of Soviet Russia, 55. (Сергей Зеньковский).
- Reeve, F. D.* — Alexander Blok, 71. (Зоя Юрьева).
- Reswick, William* — I Dreamt Revolution, 32. (М. Вишняк).
- De Reynold, Gonzague* — Le Monde Russe, 28. (Глеб Струве).
- Rice, Tamara Talbot* — Russian Art, a Survey of the Development, Architecture, Painting, Sculpture and Peasant Arts from X Century, 24. (Вера К-ая).
- Roberts, S.* — Essays in Russian Literature, 96. (А. Небольсин).
- Rouët de Journal, M. J.* — S. J. Monachisme et Monastères Russes, 32. (А. Борман).
- Rounds, Frank Jr.* — A Window on Red Square, 34. (В. К.).
- Roy, Jules* — Le Voyage en Chine, 82. (В. В-ий).
- Rowe, William* — Dostoevsky, 95. (А. Небольсин).
- Russian Epic Studies.* Edited by Roman Jakobson and Ernest J. Simmons, 27. (Д. Оболенский).
- Russian Ikons.* Introduction by Philipp Schweinfurth, 38. (Вера Коварская).
- Russian Jewry (1860-1917).* Translated from Russian by Mirra Ginsburg, 84. (И. Левитан).
- Russian Jewry (1917-1967).* Edited by G. Aronson, J. Frumkin, A. Goldenweiser, J. Lewitan, 99. (Я. Б.).
- The Russian Provisional Government (1917),* 71. (Д. Шуб).
- Russische Heiligenlegenden,* 34. (Прот. А. Шмеман).
- Russo-Polish Relations.* An Historical Survey, 10. (М. К.).
- Salisbury, Harrison* — Russia on the Way, 16. (Н. С. Тимашев).
- The 900 Days. The Siege of Leningrad, 98. (Б. Прянишников).
- Princesse Schakovskoy, Zinaïda* — Ma Russie habillée en URSS (Retour au pays natal), 53. (Вера Коварская).
- La folle Clio, 88. (К. Померанцев).
- Schapiro, Leonard* — The Communist Party of the Soviet Union, 62. (Д. Шуб).
- Schatten, F.* — Communism in Africa. 88. (С. Волин).
- Schechtman, Joseph B.* — European Population Transfers 1939-1945, 18. (М. Вишняк).
- Schirer, William L.* — Berlin Diary, 2. (Н.).
- Schmidt, Alexander* — Valerij Brjusovs Beitrag zur Literaturtheorie, 76. (Д. Чижевский).

- Schuman, Frederick L.* — Soviet Politics at Home and Abroad, 13.
(М. Т. Флоринский).
- Schwarz, E.* — The Dragon. Translated by Elizabeth Reynolds
Hargood, 75. (В. Завалишин).
- Scott, John* — Duel for Europe, 4. (Ю. Денике).
- Shane, A.* — The Life and Works of E. Zamjatin, 96.
(Р. Ричардсон).
- Shore, Maurice J.* — Soviet Education: Its Psychology and Phi-
losophy, 17. (Н. С. Тимашев).
- Shub, Boris & Quint, Bernard* — Since Stalin: A Photo History
Of Our Time, 27. (Р. Г.).
- Shub, David* — Lenin, 19. (М. Карпович).
- The Slavonic Year Book*, 1941, 3. (М. К.).
- Slonim, Marc* — Modern Russian Literature. From Chekhov to
the Present, 34. (Ю. Маклейн).
- Slonimski, Antoni* — Nowe Wiersze, 59. (Зоя Юрьева).
- Soloviev, V.* — Lectures on Godmanhood, 10.
(Н. С. Тимашев).
- Sorokin, Pitirim* — Russia and the United States, 8.
(М. Карпович).
- The Crisis of Our Age, 3. (Николай Вакар).
- Stanislavski's Production of the Sea-Gull*. Publ. by Theatre Arts
Books, 30. (Р. Прайзинг).
- Stanislavski's Legacy* by Elizabeth Reynolds Hargood, 58.
(В. Булгакова).
- Stanislavski, C.* — An Actor's Handbook. Edited and translated
by E. Reynolds Hargood, 71. (Роман Гуль).
- Creating a Role. Translated by E. Reynolds Hargood, 71.
(Роман Гуль).
- Steinberg, I. N.* — In the Workshop of the Revolution, 36.
(М. Вишняк).
- Steininger, A.* — Literatur und Politik in der Sowietunion, 87.
(Т. Фесенко).
- Stepun, Fedor* — Vergangenes und Unvergaengliches: Aus meinem
Leben, 22. (М. Вишняк).
- Der Bolschewismus und die Christliche Existenz, 59.
(В. Франк).
- Mystische Weltanschauung. Fuenf Gestalten des russischen Symbo-
lismus, 79. (Юрий Иваск).
- Stern, B. J. & Smith* — Understanding the Russians, 16.
(Н. С. Тимашев).

- Stevens, Leslie C.* — Russian Assignment, 36. (М. Карпович).
- Strohm, John* — Just Tell the Truth, 16. (Н. С. Тимашев).
- Struve, Gleb* — Soviet Russian Literature, 38. (Ю. Маклейн).
- Struve, N.* — Les Chrétiens en URSS, 76. (А. Шмеман).
- Thayer, Charles W.* — Hands Across the Caviar, 32. (В. К.).
- Through the Glass of Soviet Literature*, ed. by E. J. Simmons, 34. (Д. Анип).
- Timasheff, Nicholas S.* — The Great Retreat. The Growth and Decline of Communism in Russia, 14. (С. Соловейчик).
- Religion in Soviet Russia, 5 (Елена Извольская).
- The Sociology of Luigi Sturzo, 73. (Питирим Сорокин).
- Tschebotarioff, G.* — Russia, My Native Land, 78. (Н. С. Тимашев).
- Tschizewskij, D.* — Russische Literaturgeschichte des 19 Jahrhunderts, 89. (С. Зеньковский).
- Orbis Scriptus* — D. Tschizewskij zum 70 Geburtstag, 89. (В. Унбегаун).
- Tolstoy, Leo* — War and Peace. Publ. Simon and Schuster, 3. (А.)
- Treviranus, G. R.* — Revolution in Russia, 11. (М. Вишняк).
- Troyat, Henri* — The Mountain, 35. (Вера Коварская).
- Turgenev in English*, 68. (В. З-н).
- Unofficial Art in Soviet Union*, 96. (В. Коварская).
- Sir Vansittart, Robert* — Black Record; German Past & Present, 2. (С. Соловейчик).
- Vernadsky, George & Karpovich, Michael* — A History of Russia, 7. (Я. А. Бромберг).
- Vernadsky, George* — Mongols and Russia, 36. (Ник. Андреев).
- Viereck, Peter* — Metapolitics. From Romantics to Hitler, 2. (М. Карпович).
- Vishniak, Mark* — The Legal Status of Stateless, 11. An International Convention Against Anti-semitism, 15. (Н. С. Тимашев).
- Voinov, Nicolas* — The Waif, 41. (Роман Гуль).
- Voyce, Arthur* — The Moscow Kremlin, 40. (Вера Коварская).
- The Art and Architecture of Medieval Russia*, 89. (В. Вейдле).
- Walicki, Andrzej* — Osobowość a historia, 65. (Ричард Пайпс).
- Walter, Gerard* — Lenine, 25. (Н. Валентинов).
- Webb, Sidney & Beatrice* — Truth About Soviet Russia, 4. (М. Карпович).

- Weidlé, W.* — Russie absente et présente, 28. (Глеб Струве).
The Western Frontier of Russia, 10. (М. К.).
Wolfe, B. — The Bridge and the Abyss, 91. (Г. Ермолаев).
Wollman, S. — Slovo o pluku Igorové, 94. (Р. П.).
Wouk, Herman — The Caine Mutiny, 34. (В. Петров).
Wytrzens, Guenter — Pjotr Andreevic Vjazemskij, 71.
 (Юрий Иваск).
Zamyatin, V. — The Dragon, 87. (Г. Керн).
Zavalishin, Vyacheslav — Early Soviet Writers, 55.
 (Петр Ершов).
Zernov, N. — Orthodox Encounter, 69. (Н. С. Тимашев).
Zernov, Nicolas — The Russian Religious Renaissance of the
 Twentieth Century, 76. (В. Варшавский).
Yakhontoff, Victor A. — USSR Foreign Policy, 13.
 (М. Т. Флоринский).
Yarmolinsky, Abraham — Literature Under Communism, 64.
 (Вяч. Завалишин).
The Poetry of Yevgeny Yevtushenko. Translated from Russian by
 George Reavey, 82. (Ф. Р. Рив).

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

- М. Н. Антова* — О К. Д. Бальмонте, 57.
Г. Аронсон — По поводу статей Б. И. Николаевского о власовском движении, 21.
М. Вишняк — Проблема организации мира. Ответ А. В. Гальперину, 2.
Д. Далин — По поводу статьи Н. С. Тимашева, 21.
Ю. Денике — Необходимые исправления. К статье В. Маркова о Моцарте, 46.
Георгий Иванов — Ответ г.г. Струве и Филиппову, 45.
Елена Извольская — О "Третьем часе", 15.
И. С. Ильин — Ответ А. Тырковой-Вильямс, 57.
В. М. Марков — Ответ на письмо в редакцию Ю. П. Денике, 48.
Влад. Налбандов — По поводу заметки Б. С. Ижболдина, 19.
Б. Николаевский — Ответ Г. Я. Аронсону, 21.
Р. Плетнев — О методах изучения Достоевского. Ответ на статью кн. Н. Трубецкого, 51.
Приветствия к выходу 100-й книги "Н. Ж.", 100, 101.
А. Родичева — Письмо в редакцию, 38.

- Н. С. Тимашев* — Ответ Д. Ю. Далину, 21.
А. Тыркова-Вильямс — По поводу статьи И. Ильина “Революция”, 57.
Б. Филиппов и Г. Струве — О рецензии Георгия Иванова на “Собрание сочинений” Осипа Мандельштама, 45.
Е. Юрьевский — О советской “бюрократии”, 11.

Этот указатель содержания «Нового Журнала», изданный отдельной брошюрой, можно заказывать в редакции. Цена — 2 д. 50 ц. (с пересылкой).

Н О В Ы Й Ж У Р Н А Л

под редакцией
РОМАНА ГУЛЯ



ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТЫЙ ГОД ИЗДАНИЯ



В 1971 году выйдут ЧЕТЫРЕ КНИГИ



Подписная цена на 1971 год 15 долларов
(за 4 книги)

Цена одной книги — 4 доллара
Во Франции — 15 франков



ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В КОНТОРУ
«НОВОГО ЖУРНАЛА»

THE NEW REVIEW, 2700 BROADWAY
NEW YORK, N.Y. 10025

Телефон редакции и конторы: МО 6-1692

Прием по делам редакции и конторы — ежедневно,
кроме праздников и суббот, от 5-ти до 6-ти час. дня
